

СЕРГЕЙ
СПАСКИЙ



ПАРАД
ОСУЖДЕННЫХ

стихи проза воспоминания

БИБЛИОТЕКА АВАНГАРДА

XLVI



Salamandra P.V.V.

Сергей
СПАССКИЙ

ПАРАД ОСУЖДЕННЫХ

Стихи, проза,
воспоминания

Salamandra P.V.V.

Спасский С. Д.

Парад осужденных: Стихи, проза, воспоминания. Сост., подг. текстов и прим. А. Шермана. — Б. м.: Salamandra P.V.V., 2023. — 268 с., илл. — (Библиотека авангарда. Вып. XLVI).

Поэта, прозаика и переводчика С. Д. Спасского (1898-1956), примыкавшего в свое время к футуристам и экспрессионистам, нередко числят среди «полузабытых» авторов. В немалой степени это связано с тем, что его яркие ранние стихотворения и особенно проза практически не переиздавались по сей день. В настоящую книгу вошла удивительная «двухголосая повесть» с пророческим заглавием «Парад осужденных» (1931), в которой под собственными именами или прозрачными псевдонимами выведены многие московские авангардисты конца 1910-х гг., чьи портреты даны на фоне захваченных анархистами особняков и литературных кафе эпохи. В поэтической части книги полностью воспроизведены три первых сборника Спасского, «Как снег» (1917), «Рупор над миром» (1920) и «Земное время» (1926). Включены избранные стихотворения из периодики, альманахов и коллективных сборников, а также книга воспоминаний «Маяковский и его спутники» (1940) и дополнительные материалы.

© Author, estate, 2023

© A. Sherman, состав, подг. текстов, прим., 2023

© Salamandra P.V.V., оформление, 2023



**ПАРАД
ОСУЖДЕННЫХ**

KAK CHET

(1917)

СЕРГѢЙ СПАССКІЙ

КАК
СНѢГ

ПРЕДИСЛОВІЕ
КОНСТАНТИНА
БОЛЬШАКОВА

изданіе журнала „МЛЕЧНЫЙ ПУТЬ“
Москва
1917

Так хочется помнить

СЕРГЕЙ СПАСКИЙ

прошлым и впереди в будущем
и в восторге

Так хочется всегда

КАК почувствовать
неувядающий

блестящий огонь СНЕГ

Мирному дуге

Арсению

...Да есть печальная улада

В том что любовь пройдет как снег

О развѣ развѣ клясться надо

В старинной вѣрности навѣк

Сергей Спасский

ПРЕДИСЛОВІЕ

КОНСТАНТИНА

БОЛЬШАКОВА

1918 август — Москва

Издание журнала „МЛЕЧНЫЙ ПУТЬ“

Москва

1917

...Да есть печальная услада
В том что любовь пройдет как снег
О разве разве клясться надо
В старинной верности навек

Ал. Блок

ПРЕДИСЛОВИЕ

Хорошо что это *как снег* хорошо что есть эпиграф из Блока и хорошо что автор не побоялся сравнить свою юность свои стихи с любовью...

...О разве разве клясться надо

В старинной верности навек

Пусть так конечно так И это не легкомыслие это не модничанье не минутный восторг и дань сегодняшним кумирам Это юность прелестная звонкая на все откликающаяся юность

И оттого что это юность, это не будет ненужным не будет худшим чем то лучшее что еще напишет автор — ведь это же снежное пройдет *как снег*...

А сейчас? Разве не повторит каждая новая любовь все ошибки старой разве не каждый год приходит одна и та же весна на землю но разве хуже оне оттого разве менее нужны и не только ведь тем для кого приходят

Пусть так Пусть со страниц этой книжечки взглянет на читателя ни одно уже знакомое лицо Что из того Стихи выше и значительно выше среднего уровня положенного для начинающих Немногое но есть в них и свое а то не свое не списано а по юношески по своему перепето А главное они юны по настоящему юны страшно юны И это уже достоинство Это то что стоит нашей рекомендации что стоит быть прочтенным

Константин Большаков

Как в осени бульвар проржавленный тоскою
Листами блеклых слов осыпется душа
И лишь глаза вести изломанной Тверскою
Плакатами печаль настойчиво душа

И будто бы не я когда седым угаром
Вклубится вечер в острых крыш края
Процеживаю женщин по бульварам
Сквозь тусклые зрачки
И будто бы не я

А где-то есть И позабыть легко ли
Как отблеск вечеров в мерцающем пруде
Какие-то глаза расцветшие от боли
Какие-то слова
И разве знаю где

И только говорю как листья опадали
В бульварах осенью сквозь робкий хруст песка
И в медальоне слов уснула навсегда-ли
Полуулыбкой губ усталая тоска

МАРТ

Может не тобой а мартом выкинут
Этот крик расплескавшийся в слепыя лужи
И деревья хрупко и робко никнут
Оттого что кусок неба стал им трепетно нужен
Оттого что солнце разрезанное трубами
Как огромное плоское сердце бьется
Будто кто-то вздрогнул и сказал вдруг Аминь
На площади похожей на дно колодца
 Не знаю
 Я простой и глупый
 И разве ник
Когда-нибудь перед веснами танцовавшими прежде
А сейчас я хочу что б какой-то праздник
 Прошелся по городу в кричащей одежде
И я должен знать в этот первый год теперь
 Когда в улицы капли неба влиты
Кто мою душу разбрызгал в оттепель
 Март или ты

МАЙ

К. Большакову.

Как облаками распушилось печалью
 Стеклянное небо Молю не сломай
И дни захлебнулись Примчали Примчали мы
Поцелуями листьев расцветший май

И за шелестящим асфальтовым хрупотом
За куполами поднявшими медь
Солнце большой и радостный круг о том
Что девушкам в улыбках сладко пропеть

И вот не знаю весна весна ли то
И вот глаза ли узнали май
А небо над нами так полно так налито
И стонет под взглядом
 Молю не сломай

В. Маяковскому.

По гаснущим окнам пройтись и надо ли
Улыбками в вечер шептать если
Не так как прежде закаты попадали
В разрезы улиц и фонари развесили
Если каждый бульвар о новом вспыхнет
Шелестом листьев где распластана грусть
И вчера были звезды

А сегодня их нет

И по клавишам плит не сыграть наизусть
А диски трамваев будто монеты
Которыми платишь за душу мне
И это кричишь и тоскуешь во мне ты
В расплесканном взглядами дрожащем огне
И вечно со мной

На дачах ли в поле ли

И в глыбах гор небоскребов уступ
Оттого что кружева копоты пролили
В сердце сирены фабричных труб
Мне имя твое как женщины имя
И разве уйти с булыжных дорог
И только шептать фонарями твоими
На плачущих улицах плачущих строк

ОСЕНЬ

Под серым лицом слезящейся осени
В сердце пустом как покинутая дача
Остатки слов что в подарок бросили
Будто бы задана в детстве задача
Складывать и вычитать

Зажгли бы зажгли бы они

Звезды на которых никогда не смотрел
И душой спотыкаюсь о дней выбоины
В ранах дождем упдающих стрел
Медленно медленно

Капали капли

Тела деревьев безжалостно раздев уже
И улыбку лета не спрятать в шкаф ли
Как прозрачное платье прозрачнойшей из девушек

ЗИМА

Нис Гольдман

Мохнатые звездочки сыпали без устали
Поцеловали в улыбку и растаяли
И это зима

И от робкого хруста ли
Душа у меня не совсем простая ли
Разве грустить

Разве нельзя без этого
Когда только в сверкающих вуалях будут дни
И в объятьях города в меха разодетаго
Легко забыть что и сегодня будни
И улицы перечитывать как в странном рассказе
И сердце веришь вдруг ты
Что это не купола а у неба в вазе
Пересыпанные сахаром фрукты
Поцеловали Растаяли Только между домами
Спотыкаясь о сугробов грудь
Вечер проходит будто к ласковой маме
На мягких руках у зимы уснуть

Озера дней

И вот раскинут парус
Ладьей души прорезан острый путь
И лишь домам швырнуть на ярус ярус
И фонарям сквозь вечера вздохнуть
О захлебнись

И будто в первый раз ник
Мой взгляд на губ разодранный кумач
С какой тоской в твоих улыбок праздник
Я брошу сердца прыгающий мяч
О не приди И пусть А все ж а все ж нам
Не развести зрачков

И все больней
Мою печаль сжимать гранитным ножнам
Тяжелых стен И вот озера дней
И вот доплыть И криками какими
Плесну тебе в лицо О взглядов не разсыпь
Ведь это только ты Ведь это только имя
В озерах дней разбрызганная зыбь

В. Б.

Как будто вздрогнув ночь к недвижимым в небо трубам
Тяжелый вздох шагов неслышно пронесла
И взмахами ресниц о нет не буду грубым
И взмах ресниц как будто взмах весла
И дням не разомкнуть скрестившиеся руки
Проспектов стиснувших прибой ревущих мук
Когда бровей так ломки полукруги
Для пальцев гладящих и изнемогших вдруг
А сердце вскрикнуло

Оденьте же оденьте
Мне в платице улыбок каждый взлет
И будто в кинемо тоска по длинной ленте
Бегущих дней гримасы разольет
И лишь теперь О нет не буду грубым
И эта ночь так хрупко пронесла
Скользкий вздох шагов к недвижимым трубам
И взмах ресниц как будто взмах весла

Прошелестела
 Как парк
 Как в парке этом
Безсильно поникли листья ресниц
 Это дни прилегли паркетом
Под стаями шагов будто стаями птиц
 Это звали глаза мои
Мы вечер любовью как шелками застелим
 Ведь и ты такие же самые
Взлеты сердца кладешь в руки неделям
 Ведь и ты
 Так зачем же нужен
Этот календарь закутанный в будни
Этот каждый закат что домами сужен
Когда идут умирать сквозь толпу дни
 Улыбнись
 И тоски нет
Будто праздник крылья флагов распустит
Будто оркестр по кафэ раскинет
 Заплетенное вальсом кружево грусти
 Только нет
 Только шелест как листья в парке
Только слишком тихо
 И глаза одни
И один несу положив на руки
Сквозь любовь мертвые дни

БАЛЛАДА

Как фонари закинуть руки
Не в силах а облаков прибой
Все вечера зажаты в круге
Минут нашептанных тобой
Шаги одеты полумглой
И вырос будто тополь топот
И сердца трепетной струной
Твой взгляд в тоске упорной добыт

И может быть такой смешной
Бровей раскрыв как крылья дуги
Я только раз пройду страной
У счастья взятой на поруки
А после Пусть сомкнутся туги
Дома вокруг души как обод
И как зимой грустить о юге
Твой взгляд в тоске упорной добыт

Но вечерами робки звуки
И рот так строго робок твой
И дни не выгнутся как луки
Лучей червонной тетивой
И не могу И вот открой
Ресниц мне снится хрупкий шепот
И через слов спокойный строй
Твой взгляд в тоске упорной добыт

И будто бы над крыш резьбой
Трубы вцепился в небо хобот
О посмотри Ведь это мной
Твой взгляд в тоске упорной добыт

Вот еще
 О как тихо упасть им
Глазам в глаза
 Это грусть или нет
Это за выстроенным ночью счастьем
Фонарями в душе выжжется след
 Только фонари
 А слова те
 Какими сердце закутали
Уснуть будто в маленькой детской кровати
 А слова умрут ли
Разве знаю
 Завтра выцветшие грустью
Может взгляды прошепчут шелести Нет
 Когда тяжелое солнце от истока к устью
Медленно день сквозь город протянет
И дугами трамваев небо расколется
Повисшее на крышах без сил
Может забуду твое лицо
Забуду что кого-то как-то любил
 А сейчас глаза
 Упасть или
 Будто листья разсыпь
 О скорей
Может за выстроенным ночью счастьем
По душе только след фонарей

В сердце положишь слова ты
Грусть Возьми и распой сам
И небу не снять заката
Схватившаго город поясом
Не любишь

И ни слова

И хрупко
Шаг на плитах в последний раз твой
Даже рот телефонной трубки
Не зажать целующим Здравствуй
И молчат вечера

Ведь не о чем
Вставить в крыши куски созвездий
Ведь фонарям как певчим
Не вспыхнуть что где-то есть ты

И ленивых дней вороша ком
Как забыть

Улыбнулась и нет
Милая Шаг за шагом
Душа шурша погрустит тебе вслед

Поэтъ Сергѣй Спасскій

выпускаетъ въ свѣтъ

новую книгу стиховъ:

„РУПОРЪ НАДЪ МІРОМЪ“:

Оставшіеся экземпляры первой книги

„Какъ Снѣгъ“ съ предисловіемъ

К. Большакова продаются въ луч-

шихъ магазинахъ.

РУПОР НАД МИРОМ

(1920)

Сергей Спасский.

РУПОР НАД МИРОМ.

ИЗДАНИЕ
Пензенского Студенция
Центропечати
1920 г.

ПРОЛОГ.

Как ветер с разбегу парус полощет,
И хромая черпает воду борт,
Под тянутым небом за площадью площадь
На выплесках дней. И вот уже город,
И вот уже люди не смыты ли с палуб,
Не смыты ли с улиц. О крепче! Держитесь!
Сирены ударят кинжалами жалоб,
Где солнце — закованный в золото витязь?
И вот уже я неумыт, непричесан,
В гирлянды бульваров закутан, пойму ли,
Как странно роиться серебрянным осам
В раскрытого неба мерцающий улей.
И вижу, швырнув поезда точно ядра,
Бойницы вокзалов нацелив на вечер,
Гремя городов проплывает эскадра,
Заправив закатов горящие печи.
И может быть близко и пристань, и сходни.
Сейчас уже бросят с размаху с борта
И даже Архангел с угрозою поднял
Сверкающий рупор. И держит у рта.

ГЛАВА ПЕРВАЯ.

В СЕРЕБРЯНЫХ МАРШАХ.

Захотел,
Ладьею солнце насквозь
Разгребая небо, громоздя облака
И вот, будто сердце в тоске напряглось,
Задрожали земли бока.

Захотел на ласковом ладане в соборах,
К струям аллилуй голову склоня,
Пусть горячо расцветает порох
Золотыми маками огня.
И вдруг взметнулись: Да. Самим нам,
Сгрудив за полком полк,
Ложится прибоями гимна
В прогретый июлем небесный полог,

Будто на бал, будто любимой
Заглянуть в хрустальные залы глаз.
Будто прозрачной молитвой вымой
Душу в расшитый звездами час.

И если смерть, ведь Господь поможет там
В колыбели полей лечь и уснуть.
И даже не вспомнишь о близком, о прожитом,
Рекою смерти уплывая в весну.
Не страшно. Глаза горячей и старше.
Взлетать улыбкам с распахнувшихся губ.
И плаваются звонкие марши
Раскаленными горлами труб.

Ходим. Флаги прохлопали
Тяжелыми крыльями вслед нам.
Уходим. По утру. По полю.
К запенившимся победам.

Солнце. Труби спереди
В рупор червонный, звонче.
И под напором смерти
Смелые, песни не кончим.

Сердцем взлетать, будто лебедям
Серебряными крылами.
Мы встретимся, встретимся в небе там
Мы на небе вместе с вами.

Уходили. Много. Все они
Протрамбовывать воздух ударами пушек.
Между золотыми посевами
У Тебя в садах проростут их души.

Захотел и смотришь в соборах,
На ризы ладана строго склоняя лик,
Как разметался огнями порох
И маки сыпались в небо и таяли.

Еще. Кубок осени вылит.
Дни, будто в латы, закованы в льды.
Еще пробиты на вылет
Плотно ряды на ряды.
Еще. Другие в пожар уже
Обуглить сердца несли и несли.
И только вскипают марши
И звонко стынут вдали.

Сердцам взлетать, будто лебедям
Серебряными крылами.
Мы знаем. Мы встретимся в небе там.
На небе. Мы вместе. Мы с вами.

ГЛАВА ВТОРАЯ.

ЭТИ СЕКУНДЫ.

Утро. Слышим,
Где не поднять железного крыла
Крышам, — так вот по этим крышам
Рассвета серебряные колокола.
Ну и потом, седые локоны
Туч распустив, пожаром дыша,
Небо упрямо положит в окна
Солнце горячий шар.
В стеклянных бокалах вынут из ночи
Допенится газ. И вот
Плотно залег и сгребает рабочих
Опять задышавший завод.
Из заводов сна выплыть, умыться,
Глазам друзей распахнуться около

Только мохнатые снежные птицы
Ласково падают в стекла.
Напрягая улыбок звонкие арфы,
По кафэ хрустальным вальсом звеня,
Душу уютно укутать в шарфы
Застелившего улицы дня.
Но разве солгу. Гулким звоном
Колокол сердца. А грусть остра,
О том, что пробившим просторы вагонам
На запад скрипя сдвигать буфера.
И будто вьюга мехами выдула
Косматых пожаров золотое платье.
И кто-то пулю высек из дула.
И кто-то грудью бежал поймать ее.
Прочел в газете... Тише. Не надо
Навылет простреленных слов.
Видите: медленно к руслам заката
День, как корабль, пронесло.
Разметав трамваи, город, — он болен
В язвах огней, в бреду, —
Только шатаясь кресты колоколен
По налитому ночью небу бредут.
И сквозь золотые сады созвездий
Сердце, как звонкий конь на бегу
Тише. Не надо. Зайду к невесте
Уснуть губами на кубке губ.
И в комнате наглухо запечатан,
Лампадки улыбок всю ночь напролет.
Но разве забуду, что боль горяча там
И пуль упрут и упорен лет.
Разве крыльями слов сотру я
Ржавчину едкой тоски.
И эти секунды бьются, как струи
Закипевшей слезами и кровью реки.
И не уйти по кафэ, по квартирам.
Я видел. В небо зубцами крыл
Огромным факелом встал над миром
На меч склонившийся Азраил.

ГЛАВА ТРЕТЬЯ.

КОСТРАМИ ДНЕЙ.

Дальше. Кострами дней
 Душу обжечь.
 Сердце, как меч.
Слова, будто коней
 Гнать по окрестам дорог
 В мыле, в крови.
С неба склоняется Бог.
 Благослови.
И вот день. Помню.
Взмахнул песен крылом.
Казалось, тоски каменоломню
Сердце разбило, как звонкий лом.
Казалось, город дрожит от угара сам,
В небо вложив домов глубоко лбы,
Когда вздували парус за парусом
Оснащенные красными флагами толпы.
Шагами маршей звончей и выше.
Кружить карусели улыбок. О чем?
Это же солнце сквозь крыши
Бьет золотым кипящим ключем.
Небо раскрыто настезь. Можем.
Ударим в сердца дрожащий бубен.
Сегодня, точно клинок из ножен,
Мы вырвем праздник из ржавых буден.
 А там, —
Траурными флагами дни нависли,
 Похоронной процессией пройдут часы.
 А там, —
Высоко на тугом коромысле
 Чашу смерти опустили весы.
А там. Вздучись
 Вздохмаченных туч покровы.
Кто он? Эхом вдоль улиц
 Пророкотали подковы.

Всадник. Глазами изорвана
Сумрака бахрома.
Даже от страха в стороны
Шарахнулись дома.
Крылья. Был или не был?
Молний ломанный луч.
Тише. Только по небу
Космы взлохмаченных туч.
И вот кому-то, особенно жесток,
Город стиснул руки улиц.
И вынес, шатаясь, на перекресток
В барабане браунинга ждущие пули.
И будто бичем ударил по ночи,
Разбил на осколки стонов мглу.
И окна звенели криком о помощи
И кто-то мешком залег на углу.
А когда, пробивая утро гудом,
Трамваи дуги в солнце полощут,
Ревела и билась сплошным самосудом,
Напирая грудью на небо площадь.
И будто, пьянея угаром свадеб,
Ветер треплет кумачевые платки,
Полыхали поля огнями усадеб
Разломанные на куски.
Еще поворот. Глубже и круче
Все дает земля и ленты орбит.
Может быть смерть запряжет и приручит
Сердце узлами слова — убит
Может быть в днях, как в ухабах дорог,
Трудно уснем в крови.
С неба склоняется Бог
Благослови.

ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ.

Что мы?
Разве знать нам маленьким, простым?
Только стихов кружевные томы,

Только слов ускользающий дым.
Строка за строкой грустней и проще,
Гибкий хрустальный мост, —
Будто растут шелестящие рощи
Под робкие говоры звезд.
Вот и сегодня, шаги пряча
В ласковый шелест ковра,
Грустить о любимой, о лете, о даче
И душа, как ручей, звонка и добра.
Стою у окна. А там сквозь нити
Проводов, оботкавших закат
Голосами в гирляндах каких-то событий
Доплеснуть и отхлынуть назад.
И звезды опять задыхаясь проплачьте,
Осыпьте небо тревожно и щедро.
И сердце. Ведь это же флаг на мачте
Дрожит под напорами ветра.
А мы, что мы? Печалям нашим,
Как ладьям облаков проплывать по утрам.
Может только ступенями ляжем
У входа в какой-то храм.
Прошли. В ладонях тоски погибли.
Взгорбилась, рухнула дней волна
Лишь на страницах серебряных библий
У тебя записаны наши имена.
Так нужно. Лампадка души померкла.
Тишиною налит сердце сосуд.
Может скоро небо треснет, как зеркало,
Под стонами трубы, зовущей на суд.
И станет ясно, зачем в тревоге
Держала земля, раздувая бока,
Зачем изступленно вставали пророки,
Мечи предсказаний вонзая в века.
И синим, засеянным звездами полем,
Уведешь в золотые, святые края.
И вот усталые, слабые молим:
Господи. Да будет воля твоя.

Октябрь 1917 – Январь 1918. Москва – Самара.

ЗЕМНОЕ ВРЕМЯ

Стихи

(1926)

Легли поля густее и лиловей.
Стремится ветер с травами шепчась.
Но тесно мне. И я грущу о слове
Всей кровью в этот золотистый час.
Под буйно расплеснувшимся закатом,
Перед тобой, собирающей цветы,
Я сумрачным стою и виноватым
В кругу непроходимой немоты.
Волнуются зеленые знамена
Встревоженных берез. И за холмом
Вот, вот затонет солнце утомленно
Тяжелым и багряным кораблем.
И звезды ясно выступают. —

Воскресни,
Мой хмурый дух. Послушай, наяву
Земля кипит и дышит.

Я живу.
— Нет, этот вечер не умрет без песни.

1923

Еще горячей и золотопенной
День льется брагой в жадные глаза,
Но я неуловимой переменной
Уже насквозь захвачен.

И нельзя

Не видеть эти легкие приметы
— Небес кристальных усмиренный склон,
Случайный лист, что между пышных веток
Ржавеющим багрянцем озарен
И пахнувшие холодком закаты...
Привет тебе, осенняя пора.
Знать, скоро вдосталь будем мы богаты
От зимнего крутого серебра.
О, ровное и звучное дыханье
Земных времен.

Ну, что ж, не в первый раз

На пашнях дум внимательною данью
Пытливый стих мой вызреет для вас.
И в этот день, что так иссиня-светел
Над разогретою землей плывет,
Я знанием взволнован.

— Я заметил

Опять земли неслышный поворот.

1923

НОЯБРЬ

Я никогда не понимал острей
Стеклянный блеск янтарных фонарей
Над мокрой, лакированной панелью,
Когда в пространстве хмуром и сыром
Развернуто угрюмым ноябрем
Дождя мерцающее рукоделье.
Над головою облачная тьма.
И тягостные вздыбились дома,
Вжимаясь в ночь хребтами.

И нередко,
Обдав белесым мертвенным лучем,
Вдруг прострекочет трепетно (о чем?)
Автомобиля быстрая каретка.
Да за углом ударится в гранит
Рассыпчатая оторопь копыт,
Да чей-то шаг по мраку шорхнет глуше.
И глохнет ночь.

Как странно все. И кто,
Ужель я сам, закутанный в пальто,
Здесь осторожно огибаю лужи.
О, тесная исхоженная явь.
Мир каменный.

Но замолчи, оставь,
Душа, свой страх. Ведь я же знал заранее,
Что я умру. И вот моя пора
Теперь брести, читая номера
Немых домов в прохладном смертном стане.

1923

ПОД ПЕРВЫЙ СНЕГ

И вновь скользя неуследимо,
Легчайший замедляя лет,
Распластывайся, никни мимо,
О, снеговой водоворот.
И после, тяжелея влажно,
На побурелые дома
Налипни таять...

Мне не страшно.

Я даже радуюсь.

— Зима. —

Не потому ли, что в недобрый,
В угрюмый день, все ж будут мне
Вот этих крыш крутые ребра
Мерцать в скрипучей белизне,
И где разметаны бульвары
И сухоруко, и серо,
Метель в котлах ночей заварит
Клокочущее серебро.
Не потому ль?

А может просто

Стиху просторному равны
И скованный морозом воздух,
И буйная лазурь весны.

1921

ДЕКАБРЬ

Все спит. Все отдано. Все сжато.
Лед слишком скользок под ногой.
И снег, разлегшийся горбато,
Блестит сухой и голубой.
И ветру вскинуть на-последок
Снежинки легче и пестрей
Меж круто вывернутых веток,
Меж неподвижных фонарей.
И кто я. Занятой прохожий.
Но почему, откуда он
Непобедимый, непохожий,
Заполонивший душу звон.
И по серебряным бульварам
Перебегая, на ходу
Так ясно вижу я не даром
Внезапно вставшую звезду.
И в небе зыбком, белорунном
Сейчас, вот-вот услышу сам
— Вдруг бурно вострепнуться струнам
И взволноваться голосам.
Да. Да. Все изменись. Все снова...
Бей сердца тяжкое крыло.
Огнем и музыкою слово
В дрожащий разум протекло.
И под невыносимой вестью
Сминается, лохматясь, тьма...
Легли огромные созвездья
На молчаливые дома.
И измененной, непохожей
Землей бреду, смущен и тих,
Случайный занятой прохожий
Меж узких улиц городских.

1922

БАЛЕРИНА

Словно взветренное пламя,
Словно тонкая стрела,
Ты взовьешься перед нами,
Окрыленна и светла.
Телом сильным и послушным
Расскажи судьбу свою
В этом шелковом и душном,
Нарисованном раю,
Где торгуются корсары,
Где небесный парус синь,
Где в смятении сбились пары
Мореходов и рабынь.
Пусть мелькнет клинок кинжала,
Вся любовь твоя пока —
Только струи покрывала,
Быстрый поворот носка.
И взбегает у подмосток
Скрипок трепетный прибой.
И мерцает пестрый воздух
Под взволнованной рукой.
Гнись. И снова выпрямь туго
Стебель вздрогнувшей ноги.
Поджидающего друга
Осторожно беги,
Будто птица небо чертит. —
И тебя под струнный спор
Проведет к прозрачной смерти
Палочкою дирижер.
И задернут тяжелой тканью
Твой игрушечный мирок.
Но растут рукоплесканья,
Но дрожат воспоминанья
В легких переборах строк.

1923

ПОЭТ

Бегучие звякают счеты.
Поскрипывает карандаш.
О, мареву этой работы
По капле всю душу отдашь.
И бьет «Ундервуд» за стеною.
Так вот и трудна, и груба
Внезапная перед тобою
Спокойно раскрылась судьба.
Ее ли ты видел?
Она ли,
Как парус на синем пруду,
В налитые золотом дали
Клонила крыло на ходу.
О, сердце, в тревоге не дергай.
Ну, что же, пускай посидит
За лаковой ровной конторкой
Строитель, поэт, следопыт.
В нахмуренном мире, и здесь он
За пасмурным мороком дел
Безумным предчувствием песен
До самых висков холодел.
И губы ссыхались в тревоге,
Как-будто на буйном ветру,
И рвались неровные строки,
Едва прикасаясь к перу.
Поэзия, так за решеткой,
На каторге и на войне
Тяжелой и звучной походкой
Ты все-таки сходишь ко мне.
И блещет такая свобода,
Такая звенит синева,
От крови летучего хода
Встают, задыхаясь, слова.
Упорствуй же, мерный и долгий
Часы оплетающий труд.
Бегучими счетами щелкай,
В сухой колотись «Ундервуд».

О, как я настойчиво строю
И в тусклом обличьи раба.
И дышет горячей зарею
Над крепнущим сердцем судьба.

1923

Довольно. Довольно.

Ты был золотист и наряден,
Мой ласковый полдень, мой пламенный сон.

Почему
В отвеянный воздух, в глазницы разорванных впадин
Я видел не раз эту твердую, гулкую тьму?
И снова потом —

и леса, и озера, и птицы.
Но разве обманешь угрюмую зоркость тоски.
И я уже знал, что пойду в рукопашную биться,
Что сам на себя отовсюду надвину полки.
И враг одолеет.

И громы прокатят колеса.
И молния когти метнет в зашатавшийся бор.
И дождь разроняет звенящие крупные слезы
В изрубленный бурей и скомканный ветром простор.
Как сердце хрипит, обожженное ржавой стрелой,
Я воздух глотаю. И пальцы скользят по траве.
Ужели я встану. Ужели я снова построю.
— Смертельный свинец приливает к моей голове.
А возле враги разбивают ликующий лагерь.
Танцуют костры. И железом ворчит тишина.
И фавны им служат.

А в облак косматые флаги
Свой кованный кубок холодная клонит луна.

1924

И ночь не та. И путь не тот.
И час совсем другой.
Луна пронзила небосвод
Серебряной дугой.
О, этот дом мне не знаком.
И тесен улиц скрест.
Но я войду в утрюмый дом,
В распахнутый под'езд.
И люстры хлынут ровный свет
В янтаревый паркет.
И в рюмки впаяно темно
Багряное вино.
И вот, захлебываясь, он
С клавиатуры бьет
Неровно рвущийся трезвон,
Хромающий фокс-трот.
И пролетят вперед, назад,
Прерывисто дыша,
И напряженно угловат
Вибрирующий шаг.
И ночь не та. И все равно.
И я совсем другой.
Луна изогнута в окно
Серебряной дугой.
Под звуки, брошенные вскачь
Под струнный перебой
Мертвей, душа моя, не плачь,
Не смейся над собой.
Но, ослепленная, умри,
Когда в седую тишь
Ударит колокол зари
Среди квадратных крыш.

1924

РАССВЕТ

Метался день. Копыта били камень.
Трамвай бряцал железом и стеклом.
И билась ночь под гнутыми смычками
В цветном кафе над залитым столом.
И — отошла. Отвеялась.

Довольно.

Ни обольщений, ни обиды — нет.
Иду домой.

Все — просто. Все — не больно.

В просторном небе яснится рассвет.
Он просквозит молочно-синим паром.
И, легких листьев распустив волну,
Как хорошо отчаливать бульварам
В его внимательную вышину.
Да, счастье — вот.

Ему нельзя быть ближе.

Его язык прозрачен и знаком.
Оно молчаньем высветляет крыши,
И на лицо ложится ветерком.

1924

Горячей струной напрягается кровь у виска.
И крошится глиною в пальцах неловкое слово.
Не знаю, не помню, не ждал я тебя, не искал,
Но вот ты живая.

Ты тихо проходишь в столовой.
И двери открыла. С высокой прозрачной свечей
Вошла. Угловатые тени метнулись по полу.
И в теле моем распластался огромный покой.
Он морем рокошет. Он крыльями бьет, словно голубь.
Нет, так не бывает. Ночь льется в окно.

И резьба
Упругих созвездий изогнута золотом в крышах.
Ты — девушка просто, не ангел, не смерть, не судьба,
Ты этим прогретым, отстоенным воздухом дышишь.
Ты к зеркалу даже сейчас подойдешь. И слегка
Проворными по волосам пробежишь ты руками.
Но крошится слово. Но мечется кровь у виска.
Но в сердце раскрылась горячая зоркая память.
И стены отхлынут. И музыкаю налиты,
Расплещутся мысли звенящим и пламенным садом...
— Как жить, я не знаю.

Но смерть не страшнее, чем ты,
Походку ее я запомнил там, в комнате, рядом.

1925

ЛЕНИНГРАД

Как парус, натянут покой.
Послушай, что может быть проще.
— Вот мост разогнулся крутой,
Вот мачт тонкоствольная роща.
Ведь это мы видим всегда,
Ведь это наощупь узнаем, —
Здесь дышет в каналах вода,
А здесь разбегаться трамваям.
Но солнца горячая медь
— То колоколом, то трубою, —
Сегодня в тревоге греметь
Ты будешь над ржавой Невою,
Чтоб медленно вниз уходя
За черную молнию шпица,
В багряные брызги дождя
По набережным разбиться.
И будут баркасы качать
К бортам приливающий вечер.
И ветер крепчать сгоряча
Волнам белогорбым навстречу.
Прохожий, опомнись, взгляни,
Под тухнущими небесами
Дворцы —
Уплывают они,
Пошатываясь корпусами.
Ты руку кладешь на гранит,
Но вечер, как занавес, задран.
И хлынувшим мраком размыт
Весь город — сплошная эскадра.
И ты не спасешься, о, нет,
Еще исступленней и зорче
Он правит на диком коне
Чугунный, помешанный кормчий.
Но это же сам ты
Бока
Сжимаешь коню
— И стальная
Твоя протянулась рука,

Столетия, как звезды, сшибая.
И он или ты — все равно,
Но рушится полночь от скача,
И море кругом взметено
Копытом тупым и горячим.
Так рвись.

Ведь ответится тьма.
И снова спокойней и строже
Рассвет распределит дома
И площади накрепко сложит.
И ты, занятой пешеход,
Все ж помни в тоске бесполезной
Хоть ветра упругий полет,
Хоть дребезг уздечки железной.

1924

БЕЛЫЕ НОЧИ

Они, как дым, как плащ голубоватый.
Зыбка их ткань.
Плывут дома над водами. Так надо.
Такая рань.
Откуда он, распластанный в просторе
Прохладный свет.
Я утонул. Мне в этом тусклом море
Спасенья нет.
Здесь даже ты не сохраняешь веса,
Гранит. И весь
Из памяти, из тишины белесой
Ты сваян здесь.
И, — дар земли приветственный и краткий,
Здесь даже вы,
Под блеклым сном прилегшие на грядки
Цветы — мертвы.
И чем дышать. И как теперь бороться,
Когда вокруг
Вся жизнь на дне просторного колодца
Лишь — тень, лишь — звук.
— Бескрылое пустое колыханье
Немых ветров.
Нет, к этому слепому умиранью
Я не готов.
Нет, знаю я, тоска рукой горячей
Ведет меня,
Как поводырь, уверенный и зрячий
На берег дня.

1925

Бахромой зубчатой сосны
Плотно по небу легли.
Тонкий окрик паровозный
Воздух режет издали.
Рельсы звонки и нагреты.
Насыпи откос высок.
Серебрясь, велосипеды
Шиной мягко мнут песок.
Ветер стелется лениво.
И за вздутою листвою
Рябь искристого залива
Сизо меркнет предо мной,
Словно в чаше сероватой
Гладко налитый металл.
И неясного Кронштадта
Круглый купол сонно встал.
Это было там, на даче,
Это мы с тобою шли
В листьев трепете горячем,
В жарком запахе земли.
Так прими ж в упругом споре
Строк — рожденные опять —
Берег низкий, рельсы, моря
Плоско пролитую гладь.
И в изрезанном так зыбко
Тенями сквозными дне
Смуглую твою улыбку,
Обращенную ко мне.

1925

КРЫМ

Округлая, душиста и тепла
Из золотисто-синего стекла
Гладь воздуха.

И облака полны
Святящейся и спящей тишины.
И солнцем равномерно залиты
Гор серовато-ржавые хребты
И под отвесно-гладкою скалой
Ряд плоских крыш, задернутых листвою.

Сойди дорогой каменистой вниз.
Свой темный стан сгибает кипарис.
Вокруг сухим плетнем обведена
Кудрявых лоз ленивая стена.
И в жестких листьях, кругл и твердоват
Прохладной кистью виснет виноград.

Но это все без жалости забудь.
Лег круто спуск. Протоптан к морю путь.
Вот в берегов обветренных края
Его густая блещет чешуя.
И, от лучей мерцают веера
Искристого, тугого серебра,
Да волны набухают, волоча
По камню складки пенного плаща.

О, гулкое просторов торжество.
В своей крови ты сбереги его,
Чтоб в зимний вечер пламенным шатром
Вдруг этот день проплыл в уме твоём
И, проведя рукою по глазам,
Растерянный, ты б не поверил сам
Разливам волн под сводами лучей
И — улыбнулся б памяти своей.

1925

ОДА

Горбатый и черный орел на штандарте,
Резные границы на выцветшей карте
В чернильных разливах лиловых морей.
Железом бряцающий слог манифеста
И стройный парад у крутого под'езда,
Закованных в камень дворцовых дверей.

Не эту Россию в груди проношу я,
Но память о ней наплывает бушуя,
Метелью взвивается в вихре крутом.
Она, словно тень, залегла за плечами,
Оглянешься, — вот она спит за годами,
Как за полосатым шлагбаумным столбом.

И там за недавнею треснувшей бездной
Весь бред этот хмурый, заштатный, уездный
Из дерева вытесанных городков,
Разлегшихся в тяжком трактирном угаре
Под кляузной одурью канцелярий,
Под крики торговки у драных лотков.

Где поп, расстегнувши зеленую рясу,
Пьет чай, приходя от обедни,
Где плясы
Гармоник разымчивы и горячи,
Где круглая церковь белеет убого,
И тусклы кирпичные стены острога,
И вяло свисают шары с каланчи.

Дома кособокие в хриплых крылечках
Опущены удочки в тихую речку.
Мычанье коровы, бредущей домой.
Дорога пылится и рыхлятся пашни,
И ветер дохнет бесприютной, всегдашней,
Пропахшей полями российской тоской.

От этой тоски никуда не укрыться,
Ни в сыростью выеденной столице,

Ни в плавленном звоне московских церквей,
Тоска, от которой лишь тройка да сани,
Да клетот гитар, да вино, да цыгане,
И дикие искры из смуглых очей.

Но все же, бобрами закутавши плечи,
Куда ему деться. Он едет далече,
Покая, — о, даже и этого нет.
Он слезет за речкой у зимнего леса,
Отмерен барьер.

И под пулю Дантеса
Он станет, живой, беспокойный поэт.

А где-то в Москве, повернув от Арбата,
Как птица, худой, пожелтелый, горбатый,
Вернется домой.

— «Что-то холодно мне.

Печь вытопи.» —
И, колотясь от тревоги,
Смотреть будет Гоголь, как плавятся строки
И весело вьется бумага в огне.

И в белую ночь настороженный Невский
Охрипший, простуженный Достоевский
Обходит.

Над шпирцем белесо легка,
Мгла сизые саваны тускло простерла.
И зябко, и сладко ложится у горла
Припадка удушливая рука.

Да, все мы прошли эти гиблые были.
Мы эту Россию войною дробили
Под хмурые марши шрапнелей и труб.
Тот бред, как Распутин, смеялся из мрака.
Но выстрел...

— «В чем дело?»

— «Убита собака».

И в прорубь забит человеческий труп.

И рваная вот на плечах гимнастерка.
И дуло винтовки прохладно и зорко.

И степи, оскалась, окоп перервет.
И каждая площадь — ненастье и лагерь.
И ночью — пожаров горячие флаги.
И бьет у собора сухой пулемет.

Тиф бродит волною звенящею в теле.
Как холодно в старой защитной шинели.
Ружье за плечами и пальцы в крови.
Но злобой клянемся и голодом нашим,
Мы смертью не даром тебя перепашем, —
Россия, из сердца родись и живи.

Поэту не даром ночами не спится.
Он видит тебя. И огромная птица,
Пернатое слово воркует в груди.
Оно над тобою в тревоге упругой
Клокочет крылами. —
И песня порукой,
Что зори с тобою и свет впереди.

1925

СТИХОТВОРЕНИЯ ИЗ ПЕРИОДИКИ,
АЛЬМАНАХОВ И КОЛЛЕКТИВНЫХ
СБОРНИКОВ

1.

По руслам встреч и будто два крыла,
Я словно лебедь взмывшийся к закатам.
И скрипки глаз и дней колокола
Куют весну серебряным набатом.
Хрустален март! О солнце не пролей
Янтарный кубок золотого меда.
И вот сердца как двое кораблей
По руслам встреч размерно пенят воды.

2.

Ни о чем не вспомню. Так лучше. Так тише.
Спрячу шаги в шорох ковра.
Эти дни будто кто-то веер колышет
В улицах из серебра.
Медленно, медленно. Заката флаги
Тихими крыльями повиснут по высям.
И сладко улыбки, как цветы из бумаги,
Класть в страницы неотосланных писем.

Серебряный узор тяжелых звезд привинчен
На заколоченный домами горизонт.
И этот робкий рот и улыбнулся Винчи
Опять безкровными губами Диссиоконд.
И там где разлеглись по скату шеи косы,
И где плывут в зрачках стеклянных льдин куски.

Как хорошо сжимая кончик папиросы,
Остановить глаза и знать что нет тоски.
И знать что как всегда манерным точным жестом,
На сумерках густых прочерчен мой поклон.
О, никаким весной подаренным невестам,
Не распахать давно закрытый павильон.
И даже ты судьбою брошенная карта,
Какой-то банк сорвать в последний раз.
Не можешь удержать улыбкой Леонардо,
Скользящую ладью моих хрустальных глаз.

КАФЭ ПОЭТОВ

*С любовью друзьям поэтам
Д. Бурлюку В. Каменскому
В. Маяковскому*

Как неуклюжая шкатулка
Тугой работы кустаря
Тьму размываешь переулками
Ручьем лучей из фонаря

И только набухают флаги
Растрепанные вечеров
Мы здесь уверенные маги
Грохочем кандалами слов

И каждый — золотая чаша
И каждый — напряженный лук
И сердце ткёт стальную пряжу
Всегда недремлющий паук

Вплотную душ лады причальте
Острей врезайте якоря
Пока трепещут на асфальте
Ручьи лучей из фонаря

АВТОПОРТРЕТ

Плыть в зеркалах, склонить в стеклянный пруд,
Как будто чашечки из шелка сшитых лилий.
И вот глаза. И вот, грустя, умрут.
Сквозь кружево ресниц грустили и любили.

Старинных мастеров нарисовал овал
Под топот сердца, как копыта конниц —
Портьеры вечеров. И вечер целовал
Тебя, всегда чужой, но милый незнакомец.

И только ты И будто бы родник,
И будто день, когда идет на убыль.
И в зеркалах я вздрогну и на миг
Кладу на кубок губ накрашенные губы.

Г. В.

Рассвет серебрянными крыльями
Над зарослями жарких роз.
И никнет волнами ковыльими
Гряда распавшихся волос.

Пока домов тупыми спинами
Шла ночь, бульвары теребя,
Любимая, какими винами
Я медленно поил тебя.

Страсть. Прялке сердца вечно прясть ее
Под говор напряженных труб.
Так встань, принявшая причастие
Разгоряченной чаши губ.

Пусть день в проспекты сыпет топоты,
Торжественно в ярме часов
Неси у глаз больные ободы
И в сердце звон моих зрачков.

ВЕСНЕ

Г. В.

О, снизойди на низовья
В прозолотившийся зной
Синей текучей любовью,
Синей хмельною волной.
Звездами выжми в глаза нам
Желтоволосые дни;
Ликом своим несказанным,
Ликом медовым взгляни.
Странники, шедшие слепо
В тяжком бугристом краю,
Все мы колосьями хлеба
В высь проростаем твою.
Будь же горячей и ярой
В радуги сердце одень,
Каждому ласково даруй
Солнцем клокочущий день.

Г. ВЛАДЫЧИНОЙ.

I.

Деревья снов ветвисты и тесны.
Ладони дней сплелись нерасторжимы.
Я расплетаю волосы весны,
Чеканю кубками серебряные зимы.
И сердца наливающийся плод
Душистых дум сберет густые соки.
И знать — благословен и день забот —
И сквозь тоску пробитые дороги.
И вот дрожу — упругая струна
В уверенном золотозвонном кличе.
И в душу мне ты смотришь, Беатриче,
Как в прорубь растворенного окна.

1918.

II.

Сны — космы сумеречных грив
И ждать. Душа закоченела.
Слова, как руки, заломив,
Несу глаза, улыбку, тело.
Протрубит солнце. Знаю. Да.
Грот ночи непробудно черен.
В душе распластаны года,
Томятся всходы звездных зерен.
И просто: — говорю. Живу.
Какая жадная тревога,
Что вот навстречу, наяву
Глазами дум увижу Бога.

1918.

МОСКОВСКАЯ ФАНТАЗИЯ.

Пустая чаша высока.
Дома по золоту выстраивая,
Был многопарусен закат.
Края тревожно догорают его.
Но уж с окраин, из за угла,
Косматыми стадами выступив,
Грудится, тяжелеет мгла,
Неслышно замышляет приступы
И там где город, будет бор.
И в глубях сумрака и гутора
Дыши на площадях простор
Полуразрушенного хутора.
И заживай меж взрытых плит
Невероятиями давними
Дремучий, козлоногий быт
Бородками, рогами, фавнами.
Поэт, запоминай, слегка
Взвеваясь, невозможно около
Какого марева рука
Тебе виски морозом трогала.
И ветерковым холодком
Вздохнули волосы, приподняты.
И что припоминал, о ком
В ночь оступаясь за сегодня ты
И лишь за облаковый мыс
Глаза взойдя, невдруг увидели
Звезды стекающие вниз
По куполу Христа Спасителя.

1921.

ПАМЯТИ А. БЛОКА.

В стремительные времена, в иные
Блистанья дней душа, как рог поет.
Вот —

табуном зарницы золотые
Немой перебегают небосвод.
Что я могу?

Лишь этот бред всегдашний
Нахлынувший, как ветер, на меня —
Россия, бурей вспаханная пашня,
Где зреют зерна грома и огня.

И грудь, как гроб. В ней костенеет Слово
И на узлах разорванных дорог
Крылатой конницей виденья Соловьева
Ворвались в мрак —

Но закликает Блок
Летучей музыкой вз'яренные стихии.
И сердцу вновь таинственно ясна
Светящаяся женственность, София,
Прозрачная и звучная весна.

1921.

ЗИМА

Проплыть восторгом не поздно,
И теперь сердцу. Вот
Светоносной музыкой звездной,
Сквозь мороз звучит небосвод.

И вокруг щедрый кто-то,
Под отточенный лунный диск,
Эти блески ринул без счета
Эти зыби искристых брызг.

Стынь, простор, вкованный в стужи,
Клубитесь вьюг турбины; —
Вот я душу несу все ту же,
Те же крылья и те же сны.

И в ответ им совсем иные,
Но ясны, чисты и тверды,
Прорастут в окне ледяные,
Кристаллические сады.

О, я выпью твое веселье,
Зима, и в блесках твоих,
Пусть раскидистой встанет елью
Отягченный снегами стих.

1920 г.

ИЗ ПОВЕСТИ В СТИХАХ
«НЕУДАЧНИКИ»

(1929)

СЕРГЕЙ СПАСКИЙ

НЕУДАЧНИКИ



НИКИТИНСКИЕ СУББОТНИКИ

В то время круто над бульваром
Стоял многоэтажный дом.
Потом он был размыт пожаром,
Изглодан медленным огнем,
Но, доживая час последний,
Еще берег порою летней
Он пышный и уютный мир
Нарядно убранных квартир.
Там обитал исконный житель,
Чудаковатый меценат,
Издатель, критик, поощритель,
Талантов нераскрытых брат,
Кормилец неокрепшей музыки,
Друг молодежи, хлебосол.
Все направленья и союзы
Питал его просторный стол.
Тут забавлялись, как попало.
Бывало, гомонят всю ночь...
И, как принцесса, возрастала
Его единственная дочь.
Вынянчивая цвет богемы,
Он не боялся смелой темы,
И каждый выпрыг и заскок,
Ужимка слова, вычур кисти,
Бенгальский блеск трескучих истин,
Изгиб невероятных строк —
Все плавилось в гостеприимном
Чаду беспечных вечеров,
Средь хрусталей, картин, ковров.
В салоне говорливо-дымном
Всяк оседал, кто хоть бочком
С искусством новым был знаком.

В тот год хозяину любезней
Всего был футуризм. Да. Да.
Почти подобное болезни
Пристрастью он имел тогда
К углам раскрашенных полотен
И к призмам, источавшим цвет.
Как часто, деловит и плотен,
Персидский выпучив жилет,
Взметнув лорнет к больному глазу,

Оглаживая свой сюртук,
Цинизмом сдобренную фразу
Здесь расплетал Давид Бурлюк;
И, выпятивши подбородок,
Жуя окурок крепким ртом,
Другой российский самородок
Сидел за карточным столом,
Оглядывался волчьим взглядом
И корпусом сутуловатым
Сминал диван. И воздух тряс
Его тяжелый хриплый бас.
А тут ютились и юлили,
Дерзали в прозе и в стихах
Поэты, смешивая стили,
Хватая славу впопыхах.
И, как нахохленная птица,
Бывало, углублен и тих,
По-детски Хлебников глядится
В пространство замыслов своих.
Случалось, пестрая квартира
Пропахнет запахом эфира,
Иль шелестящий кокаин
Мерцает в костяной коробке,
Иль, хлопнув, высвободят пробки
Рубиновые струи вин,
Иль просто спирт взмутит стекло.
Граненых рюмок стебли тонки.
И люстр искристые коронки
Безумие заволокло.

Хозяин истовый, любезный
Достанет все из-под земли,
Он любит постоять над бездной
От современности вдали.
И после, седенький и хмурый,
Он повздыхает над культурой
И, вспоминая древний Рим,
Ворчит: — и мы, и мы сторим.
Что делать нам? «Нальем бокалы»
Как это сказано? — «Умы
Утопим, да заварим балы
И встретим царствие чумы».

Но дочери изрядно скучен
Был этот бестолковый шум.
К иным томлениям приучен
Ее неторопливый ум.
В закрытые ее покои
Не доносился вечный крик.
Вдоль стен лиловые обои,
На этажерке стопка книг.
И Будда в бронзовом молчаньи
Скрестил ладони, и светло
Его высокое чело.
Всё — ожиданье, всё — вниманье,
Вокруг тяжелый запах смол.
Циновки выстелили пол,
И колокольчики из пагод
Висят над маленьким столом.
Здесь вечерами тени лягут
И дух забрезжит о былом,
О смутно брезжащем, далеком,
Об Индии, о сменах рас...
Теософическим Востоком
Прильнет к душе закатный час.

ПАРАД ОСУЖДЕННЫХ

Двухголосая повесть

(1931)

СЕРГЕЙ СПАСКИЙ

ПАРАД ОСУЖДЕННЫХ



...Да на ком искать нам
Не на ком и не с кого нам.

Б. Пастернак.

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ

ГЛАВА ПЕРВАЯ

1

Алексей ехал по Волге. Пароход выпукло отклонялся то вправо, то влево, выискивая верный фарватер. Окна кают то принимали, то вновь утрачивали остро-обрезанный круг солнца. То по одной, то по другой стороне парохода, вдоль празднично-белых палуб раскладывался длинный, упруго-натянутый ветер. Выходя на нос, Алексей вдавливал тело в расшибающиеся о рубку пласты воздуха. Он останавливался, придерживая рукой фуражку, и вглядывался вперед. Ветер полотняными складками облеплял его с головы до ног.

Путешествие началось вчера, когда Нижний, несколько раз разместив по-новому высыпанные на откос дома, несколько раз вздув и ослабив зеленую мускулатуру горы и несколько раз и все в меньшем размере показав известковые стены Кремля, наконец, отступил за корму и расслоенный летним глянцевым все разъедающим воздухом целиком перелился в пространство.

Впрочем, путешествие началось еще раньше. За нижегородскими днями лежала Москва, вспоминалась зима тоже словно дорожная и кочевая, заменившаяся весной ленивой, теплой и доброкачественной. когда чистый, настоенный на свежей бульварной листве воздух заглатывался особенно жадно, влюбленность, внезапно и густо нахлынувшая, стала особенно истощающей и приподнятой, и вся жизнь сдвинутая с оснований, отдавала томительной новизной.

События приходили к Алексею, как приходили ко всем, запросто, в гости, в квартиру. Они притворялись закатами, прикидывались облаками. Они принимали вид мостовой, давно не метеной, и очереди, притулившейся к лавке. Они снижали свой голос до шопота домохозяек, а по ночам разбегались выстрелами вдоль кварталов и застревали в деревянной тиши переулков. Алексей не вполне разбирался во всем том, что, словно заготовленная за театральным занавесом и без его спроса и участия, декорация, сразу обнаружилось перед его глазами и смело назвалось его собственной жизнью и временем, принадлежащим ему. Он был втянут на сцену, подобно всем остальным, и, будучи очень молод, не растерялся более всего оттого, что еще и не представлял с непривычки всей важности перемещений, происходивших вокруг. Он задержался в Москве и не поехал домой, в провинцию, вовремя. Даже вполне убедившись, что Ирина исчезла бесследно, как только

тогда могли исчезать отдельные люди. Даже столь разуверившись в возможности получения вести о ней, что присылка письма испугала бы Алексея, как факт, нарушающий природу предметного мира. В общем, вполне безотчетно, и словно боясь не наглядеться на что-то досыта или пропустить особенный, к нему непосредственно обращенный жест времени, Алексей, отделив на дорогу последние присланные родителями деньги, решился медлить до крайнего.

Каждое утро он выбирался из дому и, подчиняясь направлениям неровных, все более обогреваемых, все более пылящихся улиц, постепенно двигался к центру. Улицы передавали его одна другой. Привычно и медленно расталкивая тихо идущие мимо здания, Алексей совершал внимательный свой обход, начатый в районе Смоленского. Примерно с Воздвиженки, когда перед путником разом всплывали обитые ржавым и перегорелым золотом кремлевские купола и каменный столб колокольни Ивана Великого, с косо нахлобученным на него то гладким, то облачным небом, примерно с этого места Алексея пронизывала слабая, трепетная тревога и сопровождала его в дальнейшем. Взмолнованность приходила со стороны. Алексей заставлял ее не в себе, а в воздухе. Она уплотнялась за манежом, а на Красной площади ходила крутыми и жаркими токами, словно откатываясь от щербатой древней стены, под которой свежесрытыми грядками означалось недавно разбитое кладбище. В таком ощущении не было ясного содержания, но Алексей улавливал в нем привкус требовательности. Казалось, выборы и решения плывут мимо в запахах теплого камня и осаждаются на костюм частицами уличной пыли. Что-то относящееся ко всей дальнейшей участи Алексея насккивало вдруг тарахтением грузовика или разбивалось у ног дребезгом трамвайных звонков. Каждый собственный шаг представлялся Алексею значительным. Перейти на ту сторону улицы значило присоединиться к чему-то или с чем-то расстаться. Но главное беспокойство вызывалось тем, что подобные действия не могли быть достаточно обоснованы, производились наощупь и, в конце концов, при всей их нервозности ощущались как воображаемые.

2

С Ириной Бортниковой Алексей встречался всю зиму. Раз в неделю у нее собиралось нечто вроде кружка — одно из тех неоформленных объединений, которые скреплены не столько общностью интересов и взглядов, сколько гостеприимством хозяев, потребностью возраста и удобствами предоставленной гостям комнаты. Ирина обитала у родственников, в особняке, в переулках Покровки. Нужно было дергать висячий звонок у широких ворот,

и тогда за воротами слышался кашель, волочились шаги, резко лязгал неподатливый ключ, и, разделившись надвое, стена листового железа неторопливо откатывалась и пропускала входящего. И кланялся старичок сторож, и на вопрос — дома ли барышня — недовольно тыкал рукой в пространство. Шаги гулко щелкали по цементному насту. Отыскав в стене мощной каменной кладки низкую дверь, вошедший проникал в коридор, облицованный кафелем. Там следовало пробираться долго, ниже уровня земли, в прохладной, крепко спрессованной, глянцевой от электрических лампочек тишине, и затем вдруг сброшенная витая железная лестница втягивала гостя далеко наверх. И тогда, утратив надежду кого-нибудь встретить, изверившись в обитаемости здания, путник обретал себя в нагретой передней, неожиданно маленькой, с неожиданно мягким ковром, с полутемным и длинным зеркалом, наклонно вставленным в стену. И тут же в передней по пышному обилию шуб и шапок, заваливших рога и гнутые лапы вешалок, по голосам, залетающим из-за стеклянной, изнутри освещенной двери, по звону ложек о стаканы и блюда, иногда по тонким сверкающим звукам рояля путешественник догадывался, что он прибыл кстати, сам отлично настроен и данный вечер будет удачен.

Алексей вступал в толчею разговоров, в сумятицу встречных мнений, в запальчивое оживление, обрамленное коврами стенами, поднимающееся до сводчатого потолка, и здоровался, обходя вишневого цвета гнутую мебель, и улыбался, сам не зная чему. В комнате господствовала самоуверенность молодости. Здесь собирались неопределенного рода ищущие, недовольные, подающие в различных областях вереницы надежд, неоспариваемых друзьями, и просто случайные одиночки, никак не выяснившие предстоящей им миссии. К последним причислял себя Алексей. Он несколько даже завидовал выбравшим поприще — юной певице, уже выступающей на концертах, или ленивому Штоку, музыканту-импровизатору, в будущем композитору или во всяком случае дирижеру. С завистью бескорыстной Алексей прятельствовал с художником левейшим и футуреющим, крепчайшим парнем с хитрой хваткой волжанина. Тут появлялся актер, сотрудник нового, в будущем славного театра; любомудр и чтитель Софии — Шабельский. Маленький Марков, невзрачный, возможно чахоточный, друг музыканта, чем-то отделенный от всех, о котором не было толком известно, экономист он или естественник. И, наконец, на окраинах общества существовали вероятные инженеры и предполагаемые врачи.

Алексей настороженно вслушивался в замечания музыкантов и подзадоривал на разговоры художников. Не с показной стороны, не потребителем, не заезжим гостем, явившимся на готовое, воспринимал Алексей искусство. Его беспокоило неприглядное для дилетанта, но полное производственных радостей, хозяйство художнической мастерской, ее ремесленное оборудование — деревянные ребра мольбертов, щетинистые в подсыхаю-

щей краске кисти, жирные разводы этих же красок, выдавленных на палитру, все то, что сопровождает томительную историю холста от угловатых прочерков угля, от первых наслоений белесого грунта до последней сжатости, вмазанности, сытости уже все рассказавшей о себе расцветки. Его радовала посадка пианиста и отчетливые движения разборчивых, зорких пальцев, вынимающих звук за звуком из безразлично разрезанной клавиатуры. Он следил, как, слетая с костяного берега, звуки веерами расходятся в комнате, заменяя друг друга и взаимно друг друга поддерживая, и как утраченная слухом, заслоненная временем первоначальная тема вдруг в ускоренном, переключенном в иные высоты состоянии снова забьет столбами из тонких досок рояля. И то, как станет певица и чуть приподымет голову, и раздвигаящим грудь усилием введет в легкие воздух, чтоб вернуть его превращенным в звонкое протяжное переживание, и то, как доведет она до конца отраженный небом, по зубам проскользнувший выдох и прислушается к сообщениям рояля, ожидая следующего вступления, — каждое такое подглядывание в область, лежащую непосредственно перед искусством, было дорого Алексею.

3

Часам к шести надлежало прийти в Казань. В коридоре, одетом деревянными белыми планками, Алексей изучал расписание. Оно соблюдалось, пароход не опаздывал. Стеклопанная крыша коридора перехватывала солнечные лучи и розоватыми бревнами клала их под ноги на линолеум. Коридор слабо вздрагивал, сотрясенный ходом машины. Тонкое дерево стен, пронизанное колебаниями, вызывало представление о стенках музыкального инструмента. Алексею казалось, он ходит внутри огромной виолончели.

Он пробрался в салон, и там сдвинутые клеенчатые кресла, провизия на столах, чемоданы, узлы, затесавшиеся не по праву, громкие группы спорящих пассажиров, худенькое пианино с окурками, <за>стрявшими в клавишах, — все было вопреки расписанию и отрицало устойчивость путешествия. О том, что Самара взята, сегодня не спорили. Но как будет поступлено с теми, кто имеет сквозные билеты? Разговор был укатан еще со вчера. Он нуждался в дополнительных доводах.

И доводы приближались оттуда, спереди, от предстоящей Казани. Странное дело! Они казались грозней тех личных, злободневно-дорожных предположений, какими перебрасывались пассажиры. Неизвестность, в которую вступал пароход, перерастала представление о временной задержке в пути. Вдруг оказавшись обширной, она заполнила весь пейзаж и стала состав-

ной частью заката, того самого, что при повороте парохода ярко наполнил окна. Соседство, столь наглядное, с этой раскинутой неизвестностью, в которой кусками зажженной пакли висели и свертывались облака, сделало всех серьезными.

— Пустят, — сказал инженер. Он засовывал в рот толстый кусок черного хлеба. Сильные челюсти чисто срезали мякоть.

— В Самару-то пустят, а дальше не выпустят, — отозвался старик, по виду сектант, в сверкающей, свежей бородке.

— Почему? — спросил Алексей.

— Им люди нужны. Они хотят укрепиться.

— Да ведь разные люди, — отрезал кто-то в защитном. — Есть, которые против.

— Ну, таких они в Волгу, — мягко сказал старичок.

Салон расщеплен на части закатом. На фоне стекол, пропитанных розовой жидкостью, фигуры и лица собеседников разом стемнели. Лакированная обшивка стены стала вишневой до клейкости. Салон расслоен на противоположные мысли. Самара грохнула, будто сигнальная пушка. Пейзаж гражданской войны подступал к пароходному носу. Закат раскладывал по столам карты будущих наступлений.

— Они родину ищут, — с натугой вмешался рыжий купец. — Погостят и уйдут.

— Родины больше не существует. Нет ее ни у них, ни у нас. (Рассерженный голос сбоку.)

— Как нет? — двинул доктор монгольскими скулами.

— Так и нет! (Удар картузом по столу.)

— Да о ком вы? — вступил Алексей.

— О чехо-словаках, — объяснил сектант, радуясь новому слову.

Самара. Самара. Тяжкая шапка собора. Мукомолы. Зерновщики. Погрузка, ссыпка, укладка в вагоны и трюмы. Мешки, распертые грузом пшеницы. Сколько сортов муки! От непросеянной жесткой до шелковистых крупчаток с нежнейшей и ласковой желтизной, или белых, кисейных. Даже война обходила город стороной. За полями далеко бродила война. И беженцы не доезжали. Только парни в осеннюю ночь, собираясь на фронт, пьяновато и горько поют удивительно скудным напевом: — Что нам немцы, что нам турки — выпьем лучше денатурки. — Красноватые искры цыгарок. — Эх, вы черти, новобранцы. Сырость вокруг. Скушно брести по лужам. — Все равно убьют германцы.

Самара грохнула, будто сигнальная пушка. Поджарые чехи вприпрыжку бежали по улицам. Клуб коммунистов разгорался, неохотно затягиваясь дымком. Относимый течением, дачный пароходик с правительством выкарабкивался на середину реки.

И когда сектант истово произнес новое, недостаточно освоенное слухом слово — чехо-словаки, перекрывая его, над головами присутствующих встал тяжелый гудок. Несколько мгновений круглобокий конус его, покачиваясь, задержался где-то на верхней рубке и, зашипев, отлетел за корму. В переднем окне отчетливо виден расплюснутый кузов встречного парохода. Алексей вышел наружу. Плотнo залепленный розовой пеной вдоль черного киля, встречный раскрыл свою палубу. Один миг пароходы, казалось, стояли друг против друга вполне одинаковые. Люди чернели, как семечки арбузной мякоти палубы. А-заа! Заа! — уловил Алексей их дружный веселый крик. — Назад, — расслышал матрос стоявший бок-о-бок. — Неужели? — Понятное дело, вернули обратно. Матрос плюнул в жирную и золотистую воду и крепко пошел вдоль каютных окошек.

— Воюем. Русские с русскими, — опять уяснил положение сектант.

Казань настала вскоре. Пока пароход, откатившись к середине реки, чтоб пристать против течения, завязывал широкую петлю на бутристой водной поверхности и медленно подтягивался к подножью крутого берега, в окрестностях поспешно темнело. Закат, чем-то родственный неизвестности, окружавшей Алексея, испарялся и гас. Военный вечер железными заслонками обкладывал небо. В воду, звякая, опускались жидкие клинья огней. То пристань приподняла фонари. То лязгала рулевая цепь. И, скрипя бортом о борт уже ранее застрявшего у пристани парохода, палуба с Алексеем толкнулась вперед, слегка поддалась назад и недвижно повисла в засвинцовом воздухе.

4

«Я приехал в Москву в январе из Самары. Поезд подали ночью на Курский. С Тулы шли мы в теплушках. Я сидел в непроглядной суконной темноте. Огоньки папирос образовывали в ней золотые отверстия. Фразы, неизвестно кем сказанные, повисали над моей головой. Было тесно и чадно. Сон подкатывался плавными шаткими верстами. Остановки казались провалами в бодрствование. Я толкался локтями в сырые шинели солдат. Тормоза со скрипом прижались к колесам. Сон застрял на тормозах. Его разбег исчерпался. И тогда ночь прямым прохладным квадратом подошла к открывшейся стенке теплушки. Я спрыгнул на снег. Ночь опиралась на черные планы вокзальных путей. Сторож двигался с фонарем. Перед ним бежал и вертелся кусок освещенного рельса.

У вагонов, застывших гробами, бродили невнятные люди. меховые шапки вырастали во тьме до огромных мохнатых размеров. Люди просили хлеба. Шопотом торговались. У вагонов крепили хлебные заговоры.

Извозчик дернул вожжами, и полозья въехали в ночь, как в огромную котловину. Словно на сваях, дома стояли на тьме. Их черные формы вытягивались и приседали, будто город занимался гимнастикой.

Итак, я снова в Москве. Мой город, единственный в мире. Когда-то показанный в детстве через окошко дорожного дня проездом к Варшаве. Он пришел как награда за взрослость, как свидетельство о наступлении юности. И ничего не утратил за время моего возрастания. Он подошел под мерку юношеской независимости с той же свободой, как раньше под детское восхищение. И сейчас, обремененный воспоминаниями, шагающими на стольких углах, ощупанный изнутри, исследованный до костяка, город попрежнему кажется мне неожиданным. Света нет. Трамваи не ходят. Улицы лишь очертания ночи, ее расплывчатый торс приподнятый над окрестностью. Что-то оплодотворяющее в свежем прикосновении ветра. Словно город думает о завтрашнем дне, создает его в воображении, как художник, чтоб с рассветом построить его в осязаемом, вещественном разнообразии. Как хорошо. Шорох полозьев, снежинки щекочут лицо. Мой завтрашний день. Я участник истории, кровавой шарик событий. Я готов прокричать ура в честь своего возвращения».

ГЛАВА ВТОРАЯ

1

Мы мало можем сказать друг о друге. Вот — Ирина. Некрасивая девушка, правда, — хозяйка пристанища, все хозяйствование которой заключалось в умении убраться в сторону. Новоприбывших подводили знакомиться с хозяйкой, но дальше связь прерывалась. Возможно, и этот обычай иссяк бы с течением времени. Ирина все принимала как должное. Посиживая в креслице у окна, тихо вглядывалась в происходящее. Ее лицо, то заслоняемое фигурами, то вновь светлеющее из-за рук, плеч и спин, в резко-черных бровях, удлинненное и внимательное, возникало и снова стиралось, не влияя на протеканье бесед. И, казалось, всех принимая, она была нелюдимой, но, боясь в этом быть заподозренной, заслонялась от всех сдержанной любезностью.

Алексей размышлял над прилавком в полусумраке вольфовской книготорговли. За стеклянную дверью, словно наматываясь на катушку, беззвучно вращался Кузнецкий. Алексей перекладывал книги, свежие, тесно-спрессованные, еще не разогнутые ничьими руками. Алексей колебался, сообра-

жая, что, зайдя сюда наугад, он уже вовлечен в сверхстатейный расход. Он схватил случайную книжку и совсем растерялся, завидев рядом Ирину. Она улыбнулась, как полагалось при встрече с давним знакомым. В синеватого сукна шубке, зажимая под локтем сверток в серой бумаге, она выглядела взрослее, чем дома. Совсем не смущенная неловкостью Алексея, она обратилась к нему как старшая.

— Что вы не были в пятницу? Пела Лида. Вам ведь нравится ее голос.

Откуда ей собственно знать, что и пение Лиды, да, пожалуй, и Лида сама?.. Им пришлось выйти вместе.

Кузнецкий в легком морозе, в отделке свежего снега, разворачивался под уклон. Полозья высоких санок, словно смычки, касались светлой поверхности. Крупы лошадей были мокры от тающих в шерсти снежинок.

— И потом, заметили вы, или нет, что мы потеряли Маркова. Я думала, он захворал. Спросила у Штока. Они ведь рядом живут и очень дружны, но Шток почему-то отмалчивается.

— Марков? Да, как будто пропал, — сказал Алексей равнодушно.

— Человек прямого пути. И очень правдивый. Он всегда говорил своим языком и словами иными, чем мы. Но разве дело в словах? — Ирина думала вслух.

Алексею пришла пора удивляться.

— Мне бы очень хотелось, чтобы все мы выросли вместе, то есть каждый сам за себя, но при этом делился б с другими работой, удачами. Марков вырос, пожалуй, скорее нас всех.

Дался же ей Марков. И страннее всего, что она говорит о Маркове так, словно и Марков и все остальные должны быть важны Алексею. Алексей впервые подумал, важны ли ему эти пятничные друзья. Вероятно, не слишком. Его замыслы были обширнее пятничных встреч. Он взглянул на Ирину. Недоумение Алексея вдруг обернулось вниманием к девушке. Он не сладил с вопросом:

— Почему вы о нем беспокоитесь?

И, говоря, знал, что делает глупость.

Ирина замолкла. Будто оба они зашагали не в ногу. Будто следовало им проститься. И напрасно он увязался ее провожать. Алексей сразу вспомнил, что его ждет Золотницкий. И воспоминание это, как на подносе поднесенное к лицу Алексея, показалось ему незначительным. Он распознал в себе чувство утраты. И, словно одним махом куда-то выпрыгивая, он заявил, запинаясь:

— Разрешите, Ирина Михайловна, я схожу. Я узнаю, что с Марковым.

Ирина повернулась к нему всем лицом. В свою очередь она обдала его недоумением. Но он выглядел столь открыто растерянным, что она рассмеялась. Смех сразу украсил Ирину, словно одел ее в яркое платье и очень к лицу. Алексей ничего не мог противопоставить ее внезапной и необидной

веселости. Он сам смеялся, чувствуя, что смущение его вполне растворилось. Смеясь и кивая, будто выплывая из смеха —

— Хорошо, хорошо, — подтверждала Ирина. — Сходите к нему. Скажите, что во всяком случае он должен прийти.

Они простились, все еще передавая друг другу улыбки. Ирина пошла, чуть раскачиваясь на ходу. Что-то вспыхивающее было в ее походке. И в то же время законченное и дорисованное. Ни одного лишнего толчка. Шаги ритмичные, как сердцебиение. Ни встречные прохожие, ни переход через улицу не могли нарушить целостной силы ее движений. Алексей будто вслушивался в содержание ее удаляющихся шагов. Разумеется, только оттого, что он прежде не видел ее идущей, он оставался к ней равнодушным.

2

Однако, тем же вечером, карабкаясь по пропахшей капустной кислятиной лестнице деревянного домика, Алексей ощутил неловкость своей затеи. Чувство нелепости, связывающей слова и движения, дало себе знать еще в сырости дворницкой, где Алексей допытывался о жильцах. Он старался подалее застрять в комнатухе, где неярко пузырилось стекло керосиновой лампы. Он успел отделить от дыма махорки привкус черного хлеба и прелой овчины, когда дворник выложил все свои сведения. Алексею пришлось удалиться.

Вечер добрасывал погремушки трамвайных звонков на разбухший сутробами дворик. И, значит, недолго вернуться. Тут же за углом трамваи вытягивались мостами из этого царства неловкости к району, где жил Алексей. Но он не поддавался звонким соблазнам трамваев и потащился во флигель. Дворик хрустел под ногами.

Дворик был тих. Кроме этих наносных звонков, прокатившихся по дорожкам, Алексей не различил ничего. По бокам высоко стояли кирпичные тени домов. Было бы вовсе темно, когда б не окошко во флигеле. Разгорженный рамою свет лег на снег белыми досками.

Алексею открыла старуха. Марков был дома, и последняя мысль о побеге осталась на лестнице, не допущенная в квартиру. В непроветренный коридор сквозь чуть отжатую дверь блестели обои комнаты. Вместе с ними виднелся угол стола и локоть сидящего. Алексей постучался. Локоть двинулся, Марков сказал:

— Войдите.

В пятишаговой комнате, почти лишенной предметов, Марков выглядел выше обычного. Захолонувший чай в неполном стакане отмечал степень занятости обитателя. О неотрывной работе свидетельствовали и окурки, не

нашедшие пепельницу и позаткнутые где попало. Застоявшаяся в помещении деловитость отрезвила Алексея, и он решил кончать все покороче. Марков выслушивал извинения, не подавая вида, что гость им не узнан. Это выяснилось впоследствии по той улыбке, с которой он вдруг попросил Алексея присесть, словно найдя ему место в сознании.

— Да, да, да, как же, встречались. Помню, помню, — ответил он невпопад.

— Так в чем же дело, товарищ?

Представляя подобный вопрос по дороге, Алексей полагал, что ответит спроста, — мы боялись, что вы захворали, или — вы нас позабыли, — вообще какой-нибудь доброжелательный вздор. И худенький Марков будет польщен. На его долю придутся поклоны и благодарности за посещение. Но ничего чудачьего не было в заработавшемся человеке, уложившем ногу на ногу и разглядывавшем собеседника.

— Несколько знакомых, то есть я и Ирина Михайловна... Мы сегодня случайно встретились и говорили о вас. О том, что вы у нее не бываете. — Марков наморщил лицо. Он усиленно перестраивал мысли. И Алексей, следя за морщинками Маркова, понял, что и сейчас узнан неправильно. И даже имя Ирины спрятано Марковым в столь дальний ящик, что требуется перетруска всей комнаты для его отыскания. А, главное, Марков не думал скрывать положение дел.

— Да ведь я же вас не узнал. Я думал, вы из района. В самом деле. Да, не бываю. Да когда ж мне бывать? Занят, возмутительно занят.

— Экзамены в университете? — спросил Алексей.

— Какое там. Бросил. Может, когда-нибудь после. Нынче не до экзаменов. — Марков говорил короткими быстрыми фразами. — Все это побоку. А у Бортниковой все собираются? Неужели? Скажите, пожалуйста.

Он взглянул себе на ладонь, будто там на ладони перекатывался мячом весь Иринин кружок. Оценив качество мячика, он отбросил его за плечо и поддался вперед к Алексею.

— А ведь странная девушка, а? Когда-нибудь она всех прогонит. Я ей давно говорил: ну зачем вам весь этот сад? Словно на грядках растут музыканты, артисты, художники. А она поливает их, будто из лейки, вниманием. Но зато она и предъявит счета. Пусть только споткнутся на чем-нибудь. Всех отправит к чертям. Потолкались и хватит. Непременно что-нибудь выкинет.

Марков даже не спрашивал, в какой мере участник кружка Алексей. Словно само собой разумелось, что с кружком нельзя обходиться серьезно.

— Но ведь там способные люди. — Алексею хотелось вступить.

— Здесь я просто профан. Это по Штоковской части. Он туда меня и таскал. Да что вы? — подбежал он к плечу Алексея. — Искусство — прекрасная вещь. Оно найдет себе место. Только я ничего в нем не смыслю. — Марков пытался ходить от кровати к столу. Замкнутый в двух аршинах, он пере-

кладывался из стороны в сторону, то накидывая, то сбрасывая с себя абжурную тень.

— А сейчас нужен хлеб! — вдруг подтопнул Марков ногою. — А еще больше хлеба — знать, в каком находишься лагере. — Он кричал Алексею в ухо. И опять улыбнулся. — Ну, подумайте сами, хорош бы я был. Сегодня вскрываю сейф ее дяди, а завтра, пожалуйста, пятница. И я тут как тут во всей своей смирности.

— Какой еще дядя? — сказал Алексей, подымаясь прощаться.

— Дядя Бортниковой. Собственник дома. Рано или поздно, а дядю придется встряхнуть.

— Во всяком случае вам нужно зайти, — повторил Алексей Ирину фразу.

— Хорошо, хорошо. До свиданья. Кланяйтесь. По коридору налево.

— Послушайте, Марков, — уже уходя искал Алексей точку опоры, — вы-то сами естественник или экономист?

Ответ долетел из-за двери, растянутый смехом:

— Обучаюсь военному строю. Да еще банки обследую. Такая возня.

И прежде чем Алексей окончательно выбрался, стол заскрипел под локтем присевшего, и сквозь торможение бумаг внятно звякнул стакан.

3

Вынесенный тарахтящими ступенями на рыхлую корку двора, Алексей остановился, собираясь с мыслями. Подмораживало. Круто просоленное звездами небо, прислоненное краем к деревянному верху ворот, вертикально стояло над двориком, вовлекая его в быт мироздания. Дворик стал необходимой принадлежностью вселенной, которая, будто учитывая его размеры, распределила над ним созвездия особенно тесно и часто. И уже не бряцанье трамвая, а голубоватая широкая вспышка электрического разряда с тихим шипеньем прошла над головой Алексея и выдохлась в переулке.

Разговор с Марковым заново происходил в его мыслях. Он даже окреп в присутствии ночи и грозил затянуться, приняв неотвязную форму беседы с собой, когда б не явление Штока. Шток проявился, как шуба и шапка, нарастающие на дорожке в быстром хрусте шагов.

— Как? Это вы? — вытянул Шток, тяжело разводя руками. Оба разом вступили на доски оконного света, попрежнему накрывавшие снег. — Не ко мне ли?

— Я подымался к Маркову. Я заходил по делу, — подробно сказал Алексей. — Довольно случайное дело. — Это было приложено после в противовес молчанию Штока. Шток плотно всунул руки в карманы и так и остался

молчать. Он заслониł дорожку полным и теплым телом. И вдруг колыхнулся и предложил неожиданно:

— Голубчик, пройдемте ко мне. Вы не торопитесь?

Голос Штока казался слабым и женственным для его крупного роста. Шток казался слишком печальным при добротной своей полноте. Алексею почему-то представилось, что он сам опечалил Штока. С ощущением виноватости и досады Алексей согласился.

И самое неприятное этот вынужденный вторичный подъем. Опять затолкались в ноги оседающие ступеньки, и перила вкатили в ладонь свой обтертый временем бок. словно полновесная ночь, в которую высунулся Алексей, вытолкнула его назад всем напором звездного блеска и захлопнула дверь, громыхнув железным болтом. Лестница лезла в лицо, как навязчивая теорема. Коридор протянулся, как сон, который не был досмотрен и вторично раскрыл свои закоулки для подробного обозрения. Озираясь в сторону комнаты Маркова, Шток заскользил на цыпочках. Сам он жил в другой части квартиры. Поддержанный под локоть, Алексей застрял на пороге.

И в короткий этот момент, связанный по рукам и ногам темнотой, не зная, куда ступить, чтоб не споткнуться о мебель, перед наклонным куском ночи, которая в отсутствии хозяина успела сделать окно своей собственностью и нагроулила его первыми попавшимися под руку звездами, в этот момент, когда Шток искал выключатель, Алексей в первый раз за вечер вспомнил Ирину. То есть, в сущности, и у Маркова и весь день до того он не терял Ирины из вида. Но сейчас он подумал о ней не как о знакомой его и Штока, и Маркова, но как о событии, происшедшем только сегодня, как о новом своем состоянии, о перемене, случившейся лично с ним. И то, что подспудная его перемена, еще им самим не освоенная, тем не менее была связана с другим человеком, приняла его образ и могла быть названа его именем, показалось Алексею непонятным и новым. Что-то в теле его плеснулось и сдвинулось, как в сосуде с водой, быстро поднятом с места. Будто силы сцепления нарушились в его душе, и она заколебалась в поисках новой формы. Сотрясение это прошло по всем мышцам такой незапятнанной радостью, что Алексей зажмурил глаза, не желая с ней расставаться. Но уже зажглось электричество.

Комната бесшумно остановилась вокруг Алексея. Какая чистая комната! Кресла, разрозненные по паркету, в обтертой, заслуженной коже. Этажерка, прогнутая нотной бумагой. В лакированных рамочках повороты вдумчивых лиц. При несхожести возрастов и выражений между всеми странная общность. Будто музыка, как единая кровь, породнила их всех, а слава и смерть, убрав все случайное, придали лицам незыблемую законченность. Укрепленная на обоях череда композиторов. И черная льдина рояля. Какая прекрасная комната! Мебель, привыкшая слушать. Стены, отшлифованные аккордами. Сам Шток, большерукий, в короткой бархатной курточке.

Его бледная полнота казалась уместной и важной.

— Как вы хорошо живете! — громко сказал Алексей. Вся квартира представлялась ему уравновешенной двумя виденными сегодня помещениями. Марков и Шток, как две чаши весов, взаимно необходимые. Переход от одного к другому был прост и естествен. Хорошо, что они были друзья. И, желая обрадовать Штока, Алексей начал о Маркове.

— Знаете, Шток. Вы простите, что я так откровенно...

Шток разжигал спиртовой кофейник. Никкелевая игрушка. Вероятно, вывезенная из родных Штоковских мест, из Риги, Ревеля или Либавы, из аккуратных нерусских окраин.

— Вы простите, но я сейчас нашел, что мне понравился Марков. И то, что вы с ним дружны, прямо отлично. Мне кажется, именно в наше время очень важно быть с кем-нибудь дружным. Мне как-то не привелось до сих пор, и я очень жалею. Нужно беречь подобные вещи. Я думаю, они пригодятся и не нам одним, а вообще пригодятся.

Голубой огонек высоко привстал, едва прикрепленный к горелке.

— Вы так полагаете? — невыразительно произнес Шток.

— Собственно, я только сейчас подумал об этом. Впрочем, я и раньше чувствовал, что чего-то лишен. Но дело не во мне. Если ясно представить, ведь мы вырастали в войну. И потом революция. У нас с гимназической поры, еще когда мы копались в алгебре и опасались латыни, уже исчезла беспечность. С тех пор, как нас заставили в классе втыкать флажки в карту фронтов, вы помните — эти бумажные язычки на металлических ножках, вы их наверно тоже перекалывали каждое утро. Именно под видом игры с бумажками нас вовлекали в события. Нас сделали ответственными участниками. Следовало бы выкинуть в печь эти проклятые карты. Мы не сказали, что мы не хотим, что это не наше дело. Мы тут оплошали, Шток. А потом все пошло как по-писанному. Нас ловили, о, как нас цепко ловили — военные школы, осмотры, комиссии.

— И что же? — Шток слушал внимательно, не отводя глаз от спиртовки. Огонек пробежал по кругу отверстий в горелке и то закрывал их, то освобождал словно беззвучно играя на флейте.

— Я собственно все к тому, что теперь, мне так кажется, настала пора, когда нам следует объединиться. Я имею в виду мое поколение. Оно, конечно, и ваше. Тут вопрос не в двух-трех годах. Вы слышали о Хлебникове? Нет? Поэт, и совсем удивительный. У него о вертикальном разрезе государств. Представьте себе государство, и, конечно, республику, одной молодежи. Все устройство на уровне одного возраста. Не то, что для нас измыслили старшие. Все законы и все институты для людей легкой походки. И это не значит вражда к старикам, наплевать, просто каждому свое место. Но мы им солдат не дадим, ни единого человека.

— Вы в этом твердо уверены?

— А кто нас может принудить? Я полагаю, сейчас нас поймут. Ведь это же коммунизм, во всяком случае — нечто смежное. Тут, конечно, привкусы мифа. Но подобный миф родствен нашему времени. А затем, не представляйте меня дураком, вовсе не значит, что я завтра подам проект в Совнарком и попрошу выделить землю. Нам важно движение, тяга в сторону молодости, отстаивание наших задач, хотя бы вне территории.

Алексей говорил с увлечением. Мысли поддерживали его своей упругой средой. Ирина стояла рядом.

— Повторяю, все было б вздором, если б не данное время. Я сегодня шел после встречи... ну, не все ли равно. И вышел на Театральную. Дома смотрят в будущее. Земля засеяна переменами. Подобие ранней весны, еще запечатанной в снежный конверт. А она уже есть. Я шел осторожно, почти не дыша. Дело в том, что весны припасено вдоволь. Ее хватит на всех. Целые склады. И вот тут-то я ворочаюсь к дружбе...

Кофейник прервал Алексея. Крышка заколотилась, пар запрыгал из носика, и капли, шипя, покатались по выпуклой грудке сосуда. Шток вскочил и завоzilся над столиком. Горячий запах кипящего кофе. Шток поднес Алексею тонкостенную светлую чашку. Бронзовым диском лежал в ней густой напиток.

— Люблю варить кофе. Вы только попробуйте, — гордясь, произнес хозяин.

Он сел напротив.

— Я вас прослушал внимательно. И я старался понять. Здесь что-то общее с музыкой. Вы не учились играть?

— И я ворочаюсь к дружбе, — начал опять Алексей.

— Я очень бы вас попросил... — Шток поднял пухлые руки. — Я бы вас попросил, не будем говорить о Маркове.

— Что вам пришло в голову, Шток?

— Я не вижу больше его и не хочу его знать. Я не умею понять, как стрелять в человека.

— При чем тут стрельба?

— Меня этому не обучали. — Шток говорил с неприятным упрямством. — Я его убеждал, а он мне ответил, что застрелит даже меня, если я помешаю.

— Когда ж это было?

Шток поморщил лицо, аккуратно высчитывая.

— Это было в то самое время, когда воевали на улицах. Я боялся оглохнуть. Я с тех пор не могу заниматься. Я сижу вечерами и слушаю. Он там ходит, свистит, напевает. Это прямо противоестественно. Я ведь знал его с детства и, каюсь, был к нему близок. А теперь он совсем сумасшедший. Я позвал вас предупредить. Вот вы были сейчас у него. Чем он занят? Он занят грабительством. Если нужен союз, то такой, чтобы против него!

Кофе был слишком горячим. Алексей едва не задохся, отхлебнув первый глоток.

4

«Что касается места, то я нахожу его скоро. Со второго же дня. Оно измеримо шагами. Четыре в длину и два в ширину. В потолке ярким шариком лампа. Когда я читаю стихи, лампа светит мне в мозг. Освещенные лампы строки повисают перед глазами, гравированные на воздухе. Некрашенный пол эстрады гулок, как барабан. Четыре в длину и два в ширину.

Мест в современности много, но мое наилучшее. Стоя здесь, я вижу все помещение. Низкое, длинное, с потолком, уложенным вкось. Стены пучатся пестрой рубленой росписью. Женщины с мешками зеленых грудей, многоногие лошади с хвостами кометного вида, бычьи морды и лица людей, у каждого несколько ртов, и глаза расползлись по всем направлениям. Буквы сцепились в странные лозунги — Пейте молоко кобылиц! Доите изнуренных жаб! Здесь прачечная, и пол усыпан опилками. Кухонные столы под кустарными скатертями. Некрашенные табуретки. Над буфетной стойкой надпись: Будем лопать пустоту, глубину и высоту! Оттуда вспорхивают подносы, чуть поддержанные тонкорукими подавальщицами. Здесь стиралось белье, теперь же парятся вкусы. Едким щелоком выводятся пятна традиций. И главная прачка, самая пышная в этом хозяйстве, вот она медленно носит свой знаменитый живот, восходящий, как толстое солнце, в складчатом желтом жилете. Друг мой Курлык — иронический вождь, торговец афоризмами. Он наступил на эстраду и замещает меня. Я, молодой запевало, уступаю пространство учителю.

Сзади Курлык выглядит мальчиком, великаньим огромным детенышем. Он резвится, расстилая обольстительной мягкости голос над жрущей телятину публикой. Лица желтыми фонарями висят над тарелками. Недорезанные буржуа. Курлык их щекочет легкими лапками слов.

— Есть язык идиотов, — нежничают Курлык.

Распахнул свои руки; в одной металлическим насекомым одноглазый лорнетик. Распахнул руки, и всю комнату привлекает на свою материнскую грудь. — Есть язык идиотов, — он вибрирует на верхах, прищулив глаза, как влюбленная женщина. — Например:

Едет по морю матрос,
Держит пачку папирос.
Лишь табак закурит он,
Побегут макаки вон.

Холощенный язык — и таким языком говорите вы все. — Он, мгновенно отяжелев, массивным быком давит эстраду. Новый голос, ревущий, грохочет из медного чрева:

— Выверните олова наизнанку! Парикмахер — плоско и жалко. Рехам-кирап величественно и могуче. — Медным всадником голос его топочет по столикам. Отдуваясь, в жидких оспинах пота, мастер свергает со сцены свои обильные ноги. Жилет, как цветочная клумба, колыхнется рядом со мной. Мы уходим в дощатую клеть возле эстрады. Там на гнущейся наре сидим как в скворешнике. Курлык развивает свой безошибочный план.

А на эстраде новые новости. В золотистом туркменском халате покрашенный Климин блуждает с кадилом в руках. Кадило гремит серебряной цепью. Лицо Климина яркогубое и горбоносое длинной дыней ныряет в табачном дыму. Откуда он взялся, мы сами не знаем. Он налетел на кафе, будто жук на зажженную лампу. Пришлось его взять на работу не за стихи, а за голос, которым он пел идиотские песни. Климин пригоден для организации бреда. То прихрамывая и картавя, он цеплялся к мужчинам, просил угостить шоколадкой, с угрожающей томностью в голосе. То являлся в сверкающем женском наряде со страусовым пером в волосах. И был загадочно гнусен в своем двуполом облики. Голос его тягучий, как патока, намазан на звуки рояля.

В деревянной камерке прибито мглистое зеркальце. Ему нечего отражать. Только лампочка каплей ползет по ртутной поверхности.

Курлык любит меня обучать, и я люблю его слушать,

— Человеческие отношения в основе корыстны. Дружба, любовь — взаимный обмен интересов. Курлык открывает шкатулку с секретами жизни, и за это я должен ему помогать.

— Вы подумайте, — говорит он, расползшись по наре, — на искусство тратятся деньги. Каждый вешает в кабинете картинку. На фасаде каждого дома жалкая лепка гирлянд, фигур, медальонов. Эти деньги должны вливаться в наше искусство. Организация продажи столь же важна, как построение вещи. И сегодня здесь будет аукцион. — Он выворачивает карманы и, наконец, достает толстощекий, вытертой кожи кошелек, старушечий, туго набитый бумажками.

— Вы получите свой процент. Ход операции прост. Американский аукцион. Продается картина. — Не из лучших, конечно, — признался Курлык с обаятельной ясностью. — Если цену догонят до сотни, отдадим пейзаж покупателю. Если ж меньше... Ведь в каждом мазке годы выучки, техники, знаний. Вот вам мой кошелек, вы надбавите цену, чтоб картина осталась за нами. Нам отчислятся деньги, внесенные каждым, и картина вернется ко мне. Морецкий, — и он, разумеется, в доле, — проведет распродажу.

Все понятно. Мы ремесленники и торговцы. Современный художник идет сквозь аллею плакатов. Рекламы рычаг его имя, выхваляют сноровку,

уменьше ходить по канату. Искусство подобие цирка, и номер должен быть продан, дойти, взять сидящих за горло, повытрясти их из манишек. Траля-ля! Бум-бум-бум! На эстраде Никита Морецкий. Рванный рот, красный бант и назад оттянута кепка.

— Чтоб было тихо, чтоб сидели, как лютики, — шевеля кулаками в карманах, скалит он крепкозубую челюсть.

— Тигр, ты наш тигр! — патетически всхлипнул Курлык.

И я восторгаюсь Морецким. Он подносит ко рту эту длинную комнату и дует в нее, как в трубу. Я растроган Морецким, растроган собой, тем, что стою в замечательной этой шкатулке, где сшибаются рифмы Морецкого, разрубая друг друга до кости, тем, что включен в семью мастодонтов, и — свидетельство родственных связей — афиша, где все мы разложены смежными строчками, блестит у меня за спиной. Революция — произносит Морецкий. Слово присоединяется к моим мыслям свободно, будто оно того же восторженного состава и качества, что и они. Мы — рот, — мы гортань революции. У событий наша походка. Так кажется мне. Удивительно просто кажется мне».

ГЛАВА ТРЕТЬЯ

1

«Продолговатый пейзаж в плоской коричневой рамке. Прислонен к спинке стула зеленым окном. Его вынес Климин, гримасничая и подпрыгивая, и повизгивает, будто видит неслыханное. Морецкий стоит с молотком, раскачиваясь на каблуках. Выбросив руку вперед, он приступает к обряду. Голос его полон жести, как мастерская лудильщика.

— Товарищи. Случай редчайший. Вместо скользких открыток с покойными классиками, вместо подленьких олеографий, которые пакостят ваши квартиры, наконец-то возможность иметь за бесценок добросортный, не выцветающий и нелиняющий холст. Какими буграми топорщится краска. Прошу не гладить картину рукой, это не женщина. Краска сдерет вам ладонь, как раздирает глаза. Это пейзаж, упражняющий зрение.

— Шведская гимнастика! — откликается с места Курлык. — Скажи им, Никиточка, — шведская гимнастика!

И, будто не присутствуя в зале, наклоняется к рядом сидящей Вере Георгиевне.

— Развитие мускулатуры зрачков, — объявляет Морецкий. — С этим холстом нельзя безразлично сожительствовать. — Морецкий выводит картину, как лошадь. Смотрит ей в зубы и выхваляет статьи.

— Аршин в длину и пол в ширину беспокойств и бодрости.

— Я хочу сказать, объясни им, Никиточка, — опять вспоминает Курлык. Он обращается только к Морецкому, будто иностранец, не знающий языка окружающих, — тихий взрыв, длящийся взрыв.

— Тихий взрыв, постоянное сотрясение воздуха, — ловит фразу Морецкий, — вот что вы прибьете на стену. Я жду предложений. Сколько вы даёте за люк, в который провалится старый мир? — Он приподнял картину и как бы провел холстом по глазам напуганных зрителей.

И тотчас начинаются цифры.

— Двадцать рублей! — возвещает толстяк.

— Еще пять! — Старичек из провинции.

— Моих десять! — Играет улыбками женщина.

Климин носится феей с подносом, и керенки, купоны садятся на белую жёсть.

Я стою на конце, противоположном эстраде. Я волнуюсь, сжимая в кармане кошель Курлыка.

И я вижу, волнуется Вера Георгиевна. Она уже бросила несколько цифр на поднос. Ее лицо разгорается пятнами. Она оглядывается на Курлыка, ждущего с невозмутимостью Будды.

— Сколько времени вы писали ее?

Курлык понимает вульгарность простого ответа. И, подумав, он разжимает уста. Гипнотизируя, шепчет:

— В эту картину вмешана сажа. В ней есть настоящий песок.

Сажа кажется Вере Георгиевне драгоценнее золота.

Цены слегка останавливаются. Я чувствую глаз Курлыка. Блестка лорнета летит в мою сторону.

— Восемьдесят! — ударяет Морецкий о доску стола молотком.

— Даю еще десять! — Я кричу неожиданно звонко.

Сбоку — пятерка. Новые десять с моей стороны. Картина за мной и зал аплодирует. Курлык жмет мою руку. Он счастлив, что его работа попала ко мне, ценителю и собирателю левых течений. Так он заявляет восторженным, трепетным голосом. Молодость нам подает пример, как всегда. Растроганный, он карабкается на эстраду и, разыгрывая из себя старика, шепелявит, вздыхает о молодости. Он ведь тоже отец, — у него тоже дети. Дети, дети! Еще минута, он всхлипнет и пожалуется на седины. Публика потрясена.

Кафе закрывается, мы остаемся одни. Импрессарио выдал нам плату за вечер. Курлык и Морецкий, доедая дежурные блюда, считают прибыль подноса. Оба теперь суховаты, внимательны, зорки. Чинно, с бархатной мягкостью Курлык разделяет толстыми пальцами стопки керенок. Морецкий кон-

тролирует вслух. Дружба дружбой, но деньги деньгами. Вот она, жатва данного вечера, налог на людскую доверчивость. Великолепный банкир, отец комбинаций. Ты отделяешь мне долю, Курлык, с вежливостью кардинала. Ты говоришь мне, чеканя слова, как рубли:

— Дама, с которой я рядом сидел, огорчена. Ей очень нужен этот пейзаж. Я обещал уговорить вас его уступить. Завтра днем мы отправимся к ней. Вам будет жаль расставаться с картиной. Вы так ей и скажете, но снизойдете к желанию дамы. Пожалуй, рублей за сто двадцать. Вы получите десять процентов. Но, помните, я не при чем. Разговоры ведутся вами.

И уже за порогом зима. Снег летит простыней на фонарь. Ветер прочитывает порывами надпись на стеклах его — Кафе футуристов. Мы расходимся в разные стороны. Ночь берет нас в охапку».

2

Алексей поднялся поздно. Под окном заиграл шарманщик. На сопках Маньчжурии? Да, вероятно. Выдутые из узких труб глуховатые звуки засеменили по комнате. Крохотные и глупые. Полыми палочками стукали по столу и по мебели. Будто фигурки, будто куклы, кружились и падали и прихрамывали опять, взявшись за руки. Музыкант собрал их в свой крашеный ящик на ножке и, согнувшись, ушел за ворота. Это имело отношение к детству, и солнцу, примерзшее к лапчатой корке льда на окне, и веселая свежесть в груди. Спокойствие и полнота. Как спокойствие и полнота, открывалась Ирина.

И, конечно же, в самых глубоких впадинах детства таилась тоска о подруге. Тщательно скрытая и осязательная, она привила Алексею пристрастие к чтению, к выдуманному и чудесному событию, ветвившимся ритмами Лермонтова. Тоска, как первая оцупь таинственности, прикосновение к миру воображения, где «дыхание тысячи растений» и «бегущая комета улыбкой ласковой привета любила поделиться с ним». Затаиванье, замыкание части жизненной силы внутрь, что и знаменует рождение личности, первый выкрик ее, попытку восстать из пелен бессознательного. И потом под сомнительным бахвальством отрочества, все якобы знающего и грубоватого, такая тоска гнездится чувством стыда, клейким, невразумительным чувством, которое вдруг ни с того, ни с сего переталкивает сердце с места на место и выгоняет жалкую краску на щеки. Область смущений, застенчивости и неловкости. Тоска унижительная и прилипчивая, когда подросток готов размышлять о смерти и подчас ненавидит неуклюжую свою оболочку.

И вдруг где-то на пересечении седьмого класса с восьмым обнаружится юность, обнаружится вся целиком, как переживание быстроты и радость

движения. То, что было тоской, стыдом и несчастьем, теперь выпрямляет осанку, пружинится мускулатурой, изнутри поджигает окрепшее тело суматошными вспышками крови.

Выполнив поручение, Алексей решил в нем отчитаться. Он условился по телефону с Ириной навестить ее вечером. Он решил, что сегодня наверное праздник. Один из тех щедрых, торжественных дней, которые часты в молодости. Чувство личного согласия с солнцем, морозом и городом Алексей ощущал как закон существования, для всех обязательный. Алексея потянуло к друзьям, и нет, вовсе не оттого, что нужно было заполнить время до вечера, но его состояние влеклось к практическим выводам, создание братского ордена становилось спешной задачей, и к тому же следовало получить доказательства, что раздор между Штоком и Марковым сущая мелочь.

3

Золотницкий проживал на Плющихе в многоэтажном здании, по ошибке не донесенном до центра. На один из углов здания опущен лобастый купол. В этом куполе, круглой комнате с верхним светом, Золотницкий плавал над городом. Когда внизу, беря разбег на Девичье Поле, катился трамвай, купол мелко подрагивал, и комнату тянуло спрыгнуть в воздух. Купол вполне оборудован для полета. Мебель не утяжеляла его ненужным балластом. Пружинный матрац, укрытый ковром, служил и сиденьем и ложем. Столы и стулья упростились до степени ящиков. Высокий мольберт готов был пройти раскрытыми в полушаг, осторожными ножками. К числу своеобразий жилища относилось отсутствие лестницы. К самой двери взлетала коробочка лифта. Поэтому каждый гость вступал в комнату с привкусом головокружения.

Золотницкий оглядел Алексея цепкими, лукавыми глазками и, прижав его к френчу, зашептал, усмехаясь:

— Ничего, заходи, заходи. Тут только Манечка. Хорошая девушка. Позирует мне немножко. Манечка! — обернулся он в комнату, — это Алеша. Замечательный парень. Впрочем, можешь одеться.

По полу захлопали босые быстрые ноги. Все так же посмеиваясь, Золотницкий откинул портьеру. За ширмой шуршала одеждой женщина. Золотницкий ловко поднял с мольберта кое-где покрашенный холст и, приставив его к стене, заявил:

— Чепуха! Не стоит смотреть. Больше делаю вид, чем пишу.

Он ухватил Алексея за плечи, и оба присели на низкий матрац, отчего колени подъехали под подбородок. Обняв рукою колени, Золотницкий тряхнул головой и вымолвил хитро и вкрадчиво:

— Вот так и живем, Алеша.

Трудно было решить, к чему относилась реплика, к помещению ли, на дугообразной стене которого там и сям цветисто лепились картины, к женщине ли, чьи желтые голые руки взблескивали над пестрой ситцевой ширмой, или просто, как все подобные фразы, не выражала она ничего. Женщина вышла, одевшись. Коренастая, сильногрудая женщина с толстогубым, но все же красивым лицом. Алексей пожал ее шероховатую руку. Смущаясь, а больше делая вид, что смущается, женщина улыбнулась сладкой и теплой улыбкой. Золотницкий прикрикнул, совсем по-хозяйски:

— Чай нам поставишь, Марья, и можешь итти.

Не обидевшись и не удивившись, словно и гнев Золотницкого был похвалой ее женским достоинствам, Маня пропела:

— Ладно.

Раскачиваясь, будто танцуя медленный, грузный и пышный танец, она повернулась и вышла из комнаты в кухню.

— Мужчин любит досмерти, — сказал Золотницкий, вытягиваясь на матраце. Алексей протянулся рядом.

Так, лежа, накрытые комнатой, словно стаканом, они говорили вполголоса.

— Еду скоро домой, — бормотал Золотницкий. — Здесь сейчас ерунда. Какая-то бестолочь. Был вчера у супрематистов. Скопцы. Квадраты какие-то плоские. Кабы не фронт, сам стал таким бы.

Больше года он протолкался на фронте. Пошел пехотинцем, выбился в летчики. Рассказывал по временам две истории: как падал с пробитым мотором, цепляясь за воздух драными крыльями, падал медленно, скучно, настойчиво, но не хотел умирать. И как просидел целый день в воронке с грязной водой. А в воде плавали внутренности. «Будто в супе, сижу — пояснял Золотницкий. — Тошнит от войны. Чуть вспомню, рвать начинается». Вернулся он серый и злобный. И начал тыкать в холсты озверелою кистью. Но что-то не ладилось. И часто лежал, прожимая матрац вот так, как сегодня.

— Чорт его знает. И бабы хорошие. И жизнь ничего. Жизнь, это, знаешь, бросят собаке мясо, и она всей мордой в него. Давится, чавкает. Вот как я понимаю. И уж если союз, то зубастый, разбойничий. Злюсь я, Алеша. Злой я стал нынче. Так бы всунул в окно пулемет и прямо вдоль улицы.

Золотницкий нашептывал ласково, дышал Алексею в щеку, ерзал так, что звенели пружины матраца.

— Ну, а живопись? Это ж твое исконное дело. Ты хотел всех обогнать.

— Я, может, еще обгоню, — повернулся на бок Золотницкий. — Может, буду художником. И был им прежде. А сейчас, на кой чорт это нужно? Я о себе говорю. Хлеб — это я понимаю. Баба тоже известно к чему. А картина? Вот я развесил свои. Для чего? Разве лежать и плевать в них. — Золотницкий стискивал челюсти. Средне-русское, с чуть отдавленным кверху носом

лицо. Он опять откинулся на спину и забросил глаза в потолок.

— Рвет от войны. А тянет...

— Куда?

— Если где что начнется опять, ведь не высидеть. В гущу полезу. Только теперь уж я покомандую. Вот на юге что-то постреливают.

— Ну, а с кем ты собственно будешь?

И, опять приподнявшись на локте, вытянув цепкое тело, Золотницкий тихо сказал:

— С кем случится. Это не слишком-то важно, Алеша.

Трамваи глухо гремели внизу, будто въезжая внутрь здания. Кто-то обхватывал комнату и, потрясывая, переносил ее на новое место. Маня звенела стаканами. И голос ее тягучий, медовый заиграл широкими гласными:

— Чайник скипел, товарищи.

— Ну, спасибо, товарищ. Счастливой дороги, — откликнулся Золотницкий.

— Да иди же сюда. Поближе, — он схватил подошедшую женщину за руки и, поставив ее на колени, поцеловал звучно в мягкие щеки. Маня вскрикнула и отбежала к стене. Зарумянилась, очень довольная. Тихо смеялась не только глазами, губами, всем своим крупным лицом, но, казалось, и плечи, и грудь колыхаются в ласковом смехе. Сразу награв комнату жарким своим присутствием, она ушла в коридор размашистыми шагами. Щелкнула дверца лифта, и стена загудела медной гитарной струной.

— А ты приезжай ко мне под весну. У нас сирени в саду, задохнешься. С отцом будем газету читать. Мамаша варенья наварит. В Волгу полезем купаться. Может, даже картинки попишем. И журнал — это мы обязательно, это мы уж там издадим. Я тут толкую с поэтами. Наше дело — не рассуждать! — вдруг за кричал он и одним прыжком встал на упругие ноги, будто в перчатки затянутые почти до колен в желтую кожу высоких ботинок.

4

— Понимаешь? Нужен журнал. Беспрограммный, разговоры друзей на распутьи. Дорожные разговоры на полустанке наших двадцати-двадцати пяти лет. Наш возраст, пожалуй, все, что мы имеем в запасе.

— Небольшой капитал.

— Но все же в нем наша сила,

— А может, и слабость.

— Согласен. Но тогда сообщая мы справимся с ней.

— Ладно. Я дам статью по истории церкви. Шабельский поднялся со стула, довольный своим предложением. Он любил сверкнуть в лицо собесед-

нику неожиданной мыслью. И, сверкнув, отступить и выждать, насладиться недоумением. Он отсекал слова резким тенором, произнося каждую букву. И так же выпукло буква за буквой выкладывались его доказательства. Говоря с Шабельским, Алексей испытывал чувство, будто он листает крупно отпечатанную книгу. Размахивая руками, коротко поворачиваясь на каблуках, Шабельский вымеривал комнату. Казалось, он подсчитывает шаги и запоминает их общую сумму.

Дуня в углу на диванчике кроила белье. Она раздвинула отекие ноги и живот расплывчато выдавался наружу. Беременность сообщала довольство ее суховатым крестьянским чертам. Она медленно перекусила нитку. Зубы, посаженные между мясистых, сытных, вперед выдающихся губ. Она сказала, перебивая мужа и обращаясь только к нему:

— Я завтра приведу отца Федора после обедни. Он хочет с тобой поговорить.

— Приведи, приведи. Вот, Алеша, толковый священник, стойкий, русский. Я люблю в духовенстве хозяйственность, кровную привязанность к земным интересам. Ведь вот наши церкви. Заметь, никогда не тянутся кверху. Готика нам не к лицу. Русская церковка похожа на овощ. Капустный кочан, корнеплод. Замечательно! Такие пригнутся, вдавят головы в плечи и выстоят, пересидят.

Шабельский умел говорить о церковных делах домовито. Он обхаживал православие, как владелец и собственник, по-свойски касаясь всех его качеств.

Дуня встала и, закинув назад голову в светложелтых волосах, небрежно свернутых на затылке, выкатив мешок живота, загребая назад правой рукой, тяжело прохлопала в соседнюю комнату. Видно, как она отворяет буфет и с усилием, прижимая к груди, тащит горку тарелок.

В этих комнатах пахло семьей свежееобразованной, но сразу принявшей все свойства матерого быта. Именно так семью задумал Шабельский. Он приложил к построению ее пыл археолога. Безгрошовый студентик, давая уроки, он сумел обольстить фабриканта Грачева. Кулака из крестьян, прижимал и выжигу. Тот и отдал ему свою толстокостую Дуню. Все, как водится, свадьба с песнями, хмелем и тройками. И старик исподволь стал поваживать зятя по фабрикам. Зять обрадовал тестя способностью чутя. Старик положил на зятину имя деньгу. Пусть доучится, будет подмогой. Революция хлопнула старика по рукам. Он не мог ни понять, ни поверить. Шабельский ему объяснил, что поверить, пожалуй, и следует и, пожалуй, следует выждать. Сам же не огорчился изменой фортуны, во-первых, по лени, во-вторых, голова на плечах, деньги все еще водятся, новые книжные шкафы щедро уставлены книгой. Книгу Шабельский любил и любил почитать на диване, считая, что время приспее. Две своих комнаты в золотокованных образах, с отрезами пестрой набойки по стенам, с деревянными жбанами кустарной работы, с крашеной вятской игрушкой, с белыми липовыми коробка-

ми, зверями и кубками монастырской резьбы из-под Троицы-Сергиева, две своих жарко натопленных комнаты он оснастил не без вызова стариной, домостроем и четьи-минеями.

Алексей знал не первый год смышленного малого, знал, что Шабельский способен при сметке своей в виде опыта, даже из озорства, соорудить и такую законченную, якобы древнюю жизнь. Но, нагулявшись вдоволь по данной области мыслей, может подпалить этот быт, будто избу с петушками, коньками и розанами, и пойти на прогулку в совсем противную сторону.

— Ты бы шел в священники, Женя, — с досадой сказал Алексей.

— Дунька, хочешь быть попадьею? — едко смеется Шабельский.

«Нет, ты слишком увертлив, — прикидывал про себя Алексей. — На это ты не решишься».

— Почему же не стать ионом. Жизнь мучная, с ленцой, жизнь банная, теплая. У наших попов и с богом отношении родственные. Как на старой иконе. Бог в субботу почил. Это значит, — снял сапоги, лег в кровать, кулаком подперся и спит, Ах, люблю такие истории! Или вот еще — замена тельно! Раз батя какой-то в деревне напился. Влез в алтарь, ну, ни лыка не вяжет. Прихожане в смущении. Однако обедня пошла, служит отец вразумительно. Даже лицо посветлело. Оказывается, что же? Пьяного попа ангел веревкой связал, уложил в алтаре за престолом. Ласково, как младенца. Пусть отсыпается. А сам за него обедню и вел. Вот тебе настоящее русское чудо. Значит, выпить попу не грех. Бог выручит, и на таинствах пьянство не отразится.

Шабельский закончил, почти издеваясь. Дуня, чавкая, ела жирные щи. Смеялась, шевеля налившейся грудью. И сказала, выдавая заветные мысли:

— Вот бы вам жениться, Алеша. Ну, какая жизнь-то у вас. Мой-то лодырь теперь под присмотром, Й сыт, и одет. Правда, лодырь? — И она, не вытерев губы от щей, через стол потянулась к щеке Шабельского.

5

Тишина коридора казалась пудовой. Алексей поднялся в переднюю. Его никто не встречал. Создавалось впечатление неурочного прихода украдкой. Прожитый день потерял свою праздничность. Он присутствовал в существовании Алексея, как переживание утомления. И, пожалуй, как нечто бесплодное, не оправдавшее ожиданий. Будто Алексей пытался вычерпать воду руками, и она протекала меж пальцев. Оставалась Ирина, обещанная этим вечером. Единственная награда. «Впрочем, нет, я просто устал и упадок мой преждевременен». Алексею сделалось не по себе. Он почти опасался встре-

чи с Ириной.

На стук ему не ответили. Он нажал осторожно медную ручку, дверь поддалась, и сама его вдвинула внутрь. Комната, лишенная людей, перестроенная тенями, выглядела неузнаваемой. Кресла, портьеры, камин, — все предметы требовали нового к ним отношения. По стригущему воздуху мелкому тиканью он догадался об идущих где-то часах. Это были часики на руке у Ирины. Она спала, закутавшись в мягкий платок, на диване. Она задремала сидя, подобрав ноги под юбку, оперев голову на локоть. Ее дыхание покачивало сумерки, то приподымая, то опуская их.

Алексей замер на цыпочках. Комната вручала ему Ирину во всей беспомощности, во всей неприкрытости сна. Он видел теплую тяжесть Иринина тела, почти чувствовал вес ее усталости, придавившей вышитую подушку. Его охватило стремление оградить Ирину, сохранить в неприкосновенности плавное чередование ее вздохов и выдохов. Стремление непрошенное, никак не обоснованное в их знакомстве. Будто случай оборвал все промежуточные звенья их будущих встреч и сразу подвел Алексея вплотную к отдыху девушки. Он затаил дыхание, словно Ирина дышала за них обоих. Озабоченный близостью, не зависящей ни от него, ни от Ирины, близостью, в которую он невольно вступил, не знаящий, что с нею собственно делать, Алексей, балансируя, вышел из комнаты. И, уже стоя за дверью, он расслышал, как шевельнулась Ирина и постучался вторично. Ирина откликнулась: — Кто? Одну минуту, — быстро сказала она. Матовые стекла в дверях резко налились светом. — А я, представьте, заснула, — смеялась Ирина, чем-то звякая у туалета, Алексей готов был признаться в своей невольной осведомленности. Но тут Ирина показалась в дверях с такой веселой уверенностью, со столь независимой бодрой осанкой, что, даже взглянув на подушки дивана, еще разрыхленные ее плечами и локтем, он понял, — только что бывшее совсем не имеет значения.

ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ

1

«Совершается любопытнейшая революция. Искусство выступает на улицу. Воплощаются в жизнь давно выношенные намерения. Граждане, потрудитесь снять шляпы. Вы присутствуете при историческом сдвиге. Собственно, это для мемуаров. Мы не жестоки к будущим воспоминателям. Им тоже надо кормиться. Сегодняшний день мы бросаем им в рот — жуйте, загла-

тывайте.

Воздух рыхл, как перина. Снежок взбит мягкими перьями. Он цепляется за пальто и щекочет нам лица. Сани летят, чуть касаясь хрупкого наста. Легкие, они не нуждаются в мостовой. Улица лишь указывает направление их воздушному передвижению.

Курлык, я и Климин выходим на угол Неглинного. Бурый дом будто вылеплен из ноздреватого хлеба. Курлык в желтоватом широком пальто, провинциально добротном, имеет вид семьянина и прасола. Глубокие калоши подкрепляют внушительность. Подмышкой завернутые в полотенце картины. Так, завернув в полотенце икону, по деревне ходят священники.

Мы проникли в ворота, и Курлык обретает дворника. Оба стоят и беседуют. Крупные и представительные. Их становится трудно отличить друг от друга. Курлык принимает обличие дворника, его растянутый говор. Он мыслит сейчас по-крестьянски, с затяжками, окольным путем подбираясь к самому главному. Умение осязать собеседника, стать оттиском его чувств. Курлык повествует о хлебных делах на Урале, дворник о письмах, полученных из деревни. Не выходя из пределов беседы, Курлык просит лестницу. Дворник служит с готовностью, прихватил молоток, все еще сетуя на недороды. Но Курлык уже вполз на ступеньки. Он барахтается под карнизом и в стену вгоняет гвоздь.

Кузнецкий глухо шуршит, как электрический двигатель. Он на полном ходу. Сани сменяют друг друга с удивительной правильностью. Равномерно утыканные людьми, как булавками, тротуары блуждают, не редая, не делаясь гуще. Устойчивость лестницы, воткнутой в полосатые складки движения, начинает тревожить толпу. Головы приподымаются, взгляды доходят по ступеням до спины Курлыка. Это спина человека работающего, мастеращего. Однако смысл его копошения не поддается учету. Основание лестницы окружается первой прослойкой прохожих. Мы даем пояснения вслух, что способствует новым напластованиям. Слой за слоем, и лестница взята в плен любопытством. Задранные кверху рты, носы и глаза нетерпеливо колеблются. И тогда Курлык не спеша поворачивается, принимая на грудь напор восклицаний. — Что собственно произошло? Следует ли удивляться, что художник, развязанный революцией, дарит улице, дарит вам два свежих холста? Женская голова равнодушно мерцает с карниза. Люди гнутся под кладью в коричнево-красном пейзаже. — Мы сделаем стены коврами, превратим заборы в сады! Глаз идущего будет кормиться сытными красками. Каждый волей-неволей получит паек красоты. Разведем масло в котлах для асфальта, будем писать половыми щетками!

Аплодисменты, свистки. Задержавший движение Кузнецкого, Курлык грузно сползает в скандал, как в мешок, затянувший нас всех вместе с лестницей».

- Значит, Марков нашел свое место, и считает нас за врагов.
- Об этом не было речи. Ему попросту не до нас.
- Но нам-то есть дело до Маркова.
- Вот тут-то мне непонятно, Ирина. Почему мы все возвращаемся к Маркову. Разве Марков решает нашу судьбу?
- Ну, конечно, мы сами.
- Неужели нельзя нам ставить вопросы вне Маркова, сквозь него, минуя его.
- Это слишком неясно.
- Для меня несомненно, что Марков мне не враждебен. Даже больше, я с Марковым целиком. Но в будущее я вкладываю свои пожелания.
- Но тогда вы столкнетесь с ним в будущем.
- Столкновение может быть дружественным.
- Я хотела бы верить. Но боюсь. Этот год несет разделения. Он очень правдив, этот год.
- Ирина, ведь тогда, на Кузнецком, вы говорили за дружбу.
- Но ее все меньше и меньше. Ее не останется вовсе.
- Пессимизм?
- Нет, поиски новых связей с людьми. Не подсказанные никем. Это главное.

— И все же...

— Вот мы уже и заспорили.

Встречи рождались сами собой. Каждая вызывала последующую. Сначала надобились предлоги, область которых все ширилась. Наконец, предлогом стало желание высказать только что вставшую мысль.

Первые дни Алексей говорил о себе. Впервые он узнавал сам себя в этих беседах. Ему хотелось погрузить в себя руки и вытрясти тут же на стол все то, что спрятано, отнято им у жизни в личную собственность. Ему казалось, он растет от встречи до встречи, и ценность его повышается. Так выражался рост привязанности его к Ирине. Он радовался на себя, вдруг найдя новую мысль, ценное впечатление. Их значительность крепла оттого, что теперь они становились словами и в словах могли стать достоянием девушки. Он не требовал ничего от Ирины, кроме внимания. Наличие этого восприимчивого внимания, зоркого и поощряющего, было достаточным счастьем. Период первичного творчества, когда все чрезвычайно доступно. Загаданное носится в воздухе и является осуществимым. Все дело только в намерении, а Ирина, конечно, сотрудница. Устремление в новизну уже изменяет составы земли и выкатит новое солнце над крышами. От прежней Москвы ничего не осталось. Это скопище зданий нуждается в новом названии.

Впоследствии, вспоминая данное время, Алексей удивлялся, до чего он был слеп. Возмутительно нелюбопытен. До чего не видел Ирину и избегал ее видеть. Не спросил ее ни о чем. Принял готовый воображаемый образ. Даже то, что сама она тщательно учится живописи, он узнал не в первую встречу и, узнав, отодвинул известие в сторону.

Он пускался в советы. Он отлично умел ей советовать. Ирина выслушивала с доверчивостью воспитательницы, с дружелюбным спокойствием старшей сестры. И подчас, чтоб его успокоить, вынимала папки с картинами. Снимки с греческих тяжеломерно-пленительных статуй, мощный, многофигурный сюжет итальянского мастера. Иногда Ирина наклоняла голову к лицу Алексея и проводила пальцами по течениям форм. — Это идет вот сюда, — объясняла она, размыкая картину на составные ее равновесия. И тогда Алексей затихал почти без желаний, почти без нужды углубить отношения. В легкой близости сверстников и сотоварищей.

— Почему же вам кажется, что я не помню различий, — вдруг спохватывался Алексей. — Но ведь время за нас.

— Время ни за кого. Оно подчинится тем, кто с ним справится. Время нужно строить по-своему. А разве мы делаем что-нибудь?

— Как?

— Вот вы сдаете экзамены. Но смешно изучать порядок выборов в Думу, когда ничего не осталось от Думы и никогда не вернется. А я живу в чужом доме.

— Дома не имеют значения. Дома — оболочки. Это не главное.

— Что же, собственно, главное?

Манера Ирины спрашивать останавливала Алексея, задерживала ход его слов. Ирина разбрасывала вопросы точные, непредусмотренные, от которых нельзя спастись общими фразами. Целый ворох вопросов она держала в руках, вопросов, будивших в Алексее чувство досады своей неотвязностью.

— Главное, это свобода, доверие каждого к каждому.

— Как быть сейчас со свободой? — Какое смутное слово. Алексей завяз окончательно. Может, он не очень-то знает Ирину. И, может, Ирина мешает ему. Но как ее миновать? Нет, нет, нельзя без Ирины.

— Давайте пройдемся по комнатам. В доме нет никого. Вы там еще не были. — Ирина встала, словно вышла из сферы смущения, образовавшейся между ними. Алексей пошел за ней следом, несколько отставая. Он осматривал комнаты, не отделяя Ирину от них. Ведь в течение дня она проходила по ним хоть однажды. Он рассматривал стены как нечто хоть отчасти принадлежащее Ирине, подобно ее платью или книге, которую она перелистывала.

Впрочем, и тут она его опровергла.

— В доме нет ничего моего, — пояснила она. Дядя купил дом почти со всей обстановкой. Он вызвал меня после смерти родителей. Я уговариваю

его бросить все и бежать. Ему теперь не место в России.

Ирина входила в овальный или продолговатый сумрак покоев, и несколько мгновений они находились вдвоем в темноте. Одна и та же общая темнота, как накинутый плед, покрывала им плечи и головы. Казалось, движения Алексея оттягивают это суконное покрывало, бороздят его пухлыми складками, и напрягшийся сумрак тесней облепляет Ирину. Иногда Алексей чересчур отставал, девушка тоже задерживала шаги и потом, словно выпроставшись из плаща, нажимала на выключатель.

Собранный под дутыми матовыми абажурами, подвешиваясь к тонкоствольным бра, прыгая по стеклянным уступам массивно чеканных люстр, отовсюду одним выдохом вылетал электрический свет. Лампочки открывали глаза навстречу идущим. Свет вырубал из мрака за комнатой комнату. Мебель глубоко дремала, спустив в желтую воду паркета столбики ножек. Гостиные в облицовке букетов и птиц, кабинеты с прямоугольным, коленчатым, заполированным деревом. Шкафы, на полках которых сытно белел сбитый из сливок фарфор. Зала с верхними стеклами, с хорами в низких и пухлых перильцах.

— А тут отличное эхо!

И, выбежав на середину, Ирина забила в ладоши. Хоры зашевелились. Будто голуби вылетели с карнизов и неслись вниз к Ирине. Ирина смеялась и вытянула ладони. Казалось, она кормит из рук вокруг порхавшие звуки.

Обойдя залу, они повернули обратно. Освещенные комнаты беззвучно сияли. Можно подумать, дом обрядился только для них. Ирина гасила свет в каждой пройденной комнате. Сумрак накатывался на спины идущих. Как театральные декорации, комнаты свертывались и пропадали из глаз. И снова голос Ирины, жесты, улыбка, присутствие девушки рядом вызвало в Алексее невнятную косноязычную нежность. Лучшим выражением незапятнанных жизненных сил казалась Ирина среди пышных и мертвых предметов. Огибает столы, касается стульев, иногда оправит подушку дивана, там одернет портьеру, зацепившуюся о подоконник, или вдруг рука взлетит к голове; опустившись на волосы, снова разделит пространство. Множество движений, вынужденных неуловимыми целями. И каждое происходило будто в груди Алексея, каждое скользило по самой оболочке сердца.

3

Может быть, именно с этой прогулки по комнатам в Алексея вошло нетерпение. Он ловил себя на странных подменах. Отношение к жизни и времени превращалось в отношение к Ирине. Нужно было как можно скорее увидеться. Но Ирина была занята. Неприятности дома, дядя хворал... И

встреча откладывалась. Нарастала обида. И тут же чувство ущерба. Он нуждался в Ирине, но боялся в этом признаться. Новое переживание. Более понятное и вещественное, чем мысль. Ощущение, подобное голоду, или когда нет папирос, магазины закрыты, и не достать до утра. Перемещение тяжестей. Чаша весов опускалась. Ирина перетягивала коромысло. Он ничего не мог бросить на свою свободную чашу весов. Она подымалась без сопротивления, подчиняясь напору Ирининой жизни.

Если б выискать что-нибудь против Ирины. Уличить хотя бы во лжи, разглядеть нечто смешное и жалкое. И, конечно, простить. Иметь бы эту возможность, это право на великодушие. Ведь она некрасивая девушка. Какое вздорное слово! Я не знаю, что оно значит.

И когда наступила обычная пятница, Алексей решил не ходить. И затем он припомнил, что предстоит обсудить с Золотницким кой-какие детали журнала. Довод представился неопровержимым. Алексея хватило лишь на опоздание.

Он медленно и автоматически раздевался в передней, прислушиваясь к почему-то особенно приподнятым голосам и еще более к бессмысленному звону, стоявшему в висках, переходящему в головокружение. По этим чисто физическим признакам он понял, что все его мысли об Ирине в последние дни удивительно вздорны и ему никак не помогут. Не прийти сюда он не мог. Но и приход уже не давал облегчения.

Алексей вошел незамеченным. Он не сразу проник в содержание шума, но тотчас увидел Ирину. По наклону ее головы, по блестящим глазам он почувствовал, что Ирина волнуется. Ее волнение беспрепятственно и необъяснимо переслалось ему, как по проводу.

— Только неврастенией, только полной расплывчатостью, философской беспомощностью, — выкрикивал звонко Шабельский, — объясним подобный конец.

— От политики нужно скрываться. — Шток шевелился на стуле. — Она развращает искусство.

— Да какое же здесь искусство? Перед нами сплошное падение.

Голоса возбужденные путались.

— Но ведь раньше красиво писал.

— Нет, всегда непонятно. Вот Брюсов...

— Это сдача позиций!

— Приспособился.

— Христос притянут искусственно!

Все кричали вразбивку. Алексей улавливал суть с опозданием.

— Просто, Блок — неврастеник, — закончил Шабельский.

— Чепуха! — сказал Алексей, и тут же поднялась Ирина.

— Я прошу, — лицо ее покраснело. — Я прошу говорить о поэте, которого все мы привыкли любить... То есть я хочу сказать, если даже кому-ни-

будь поэма не нравится, то надо же быть справедливым. Это просто смешно — подобные выводы.— Она говорила Шабельскому.

Вся комната обернулась к Ирине. Неизвестно, чем могла бы закончиться сцена, когда на пороге возник Золотницкий. Он поймал последние фразы и, не зная о предыдущем, вломился особенно весело.

— Товарищи! Что? Разговоры о книгах?.. Никогда ничего не стану читать, — размахнулся он Маяковским. — Книгу всякий дурак напишет. Я вам покажу искусство без жульничества.

Было что-то оскорбительное в той легкости, с которой собрание отбросило замечание Ирины.

— Просим, просим! — раздались, неловкие возгласы.

Оскорбительное в том вздохе признательного облегчения, с каким все откликнулись на Золотницкого.

— Музыкант, пожалуйста, вальс! — Шток расшвырял пальцами клавиши.

Вероятно, Ирина продолжила бы дальше, и так, что пребывание в комнате стало бы для всех невозможным, но из внутренней двери просунула голову горничная и закивала Ирине. Девушка вышла, вся наклонившись вперед.

Золотницкий стал посередине, играя плечами под музыку.

— Никаких посторонних приборов. Ловкость рук. Прошу убедиться. — Вдруг вытряхнул из рукава колоду пестреньких карт. Раскинул руки движением плавным, как у балерины. Ожившие карты с шелковистым шуршанием трепетали в ладонях художника. Они становились на ребра, перекачивались, мелькали ситцами светлых подкладок и вдруг исчезли совсем, чтоб снова вернуться из воздуха. Золотницкий прищелкнул: — *Allez*, — и замер под рукоплесканья.

Алексей вышел за дверь в темноту. Ирина не появлялась. Он споткнулся о кресло и сел. Прикосновение плюша к рукам его успокаивало. Дом разлегся вокруг огромною раковиной. Слоистой, странно выгнутой раковиной извне дремала Москва. В переулке грохает выстрел. Это случается часто. Обыкновенное происшествие. Революционная ночь. Шарообразная ночь тихо вращалась над крышами. Круглая ночь, вобравшая мысли спящих людей, и мысли тех, кто не спал. Беззвучно насыщенная страстями, надеждами, ожиданиями. Ночь, лезвиями желтеющих окон разрезанная в том месте, которое днем назовется Кремлем. Там еще заседают. Длинный стол в окурках и чайных стаканах. Там над зеленым сукном белыми пятнами движутся изможденные лица. И говорят. Нам не слышно, что они говорят. Мы видим только длинные, замедленные расстоянием жесты. Один откидывается к спинке стула, другой подпер кулаком подбородок. Их слова имеют отношение к ночи, к жизни спящих и тех, кто не спит. Они обращены сквозь арки ночного пространства к Алексею, к Ирине, хотя ни тот, ни другая еще не различают их содержания.

В этот момент на расстоянии третьей, четвертой комнаты кусок темно-

ты отвалился. Там раскрывается дверь. Свет углом зарылся и ковры. Ирина, подняв ладони к лицу, будто зажим ими уши, идет напрямик. Угловато выставив руки вперед, она добежала до Алексея и отступила назад.

— Что вы? — изумилась она, сразу опустив руки.

— Что случилось, Ирина? — Алексей взял ее за плечи.

— Дяде плохо. Припадок астмы. Надо скорее за доктором!

— Да, да, да! Я все сделаю сам! Только не говорите никому, чтоб не было суматохи, — зашептал Алексей, держа Ирину за локоть. — Я мигом схожу. Я все сделаю сам! — повторил Алексей, задыхаясь от радости.

4

Алексей метался в переулке, как мышь. Подъезды, заваленные поленьями, не поддавались его усилиям. Он долбил кулаками ворота, накидывался на их железные прутья. Вся ночь была заперта на засов. Наконец, Алексей догадался перелезть через верх. Всовывая ногу между прутьями, он цеплялся о металлические розетки, накалывался на копьеобразные острия. Жизнь незнакомого старика его не беспокоила. Он не думал ни о чем, соскакивая на двор. Определив подходящую лестницу, он стрелял зажженными и тут же тухнувшими спичками на ступенях и площадках. Все возмущение против товарищей выразилось в этом беге со стиснутыми зубами, в налете на рухлядь ночного дома. Он погрузил кулаки в дерево докторской двери и разнес бы ее, если б переговоры продлились. Из-за двери спрашивали многие голоса. Вся семья, может быть несколько семей, мужчины и женщины. Непонятно, что убедило этих людей впустить Алексея. Окрики, поспешные доводы или просто неотступность его тревоги. Дверь наконец подчинилась, Алексей вскочил в коридор. Там со свечами, очевидно испорчено электричество, кто в белье, кто в ночной кофте, кто в пальто, но босиком, кто в защитной шинели. Толстый седой человек вцепился в полено, девушка держала кочергу, бородатый в очках прятал за спину топор. От них пахло постельным теплом, простынями и сновидениями. Все поддались назад, и только старуха с неподвижным, непримиримым лицом подняла выше свечу, когда вошел Алексей, озарив его сверху донизу.

5

Передав доктора по назначению, Алексей готов был проститься, но Ирина его удержала. Напряжение Алексея опало. Он направился в комнату,

где недавно шумели собравшиеся, а теперь все разошлись, очевидно узнав о случае в доме. Алексей присел в кресло с недокуренной папиросой. Ему казалось, вот он погружается в сон, как в теплую вату. Он выдергивал голову обратно и просыпался. И тогда опять заставлял он лампу на столике, костяной холодок открытых примолкнувших клавиш, стопку карт на диване, заставлял самого себя все с тем же окурком, втиснутым в пальцы, и одним кивком головы опять наклонялся в сон. Он вспоминал, что ему хорошо, хотя что-то поблизости неблагополучно, но что именно он довспомнить не мог и при каждом пробуждении начинал воспоминания заново. Эта ночь (он не знал, что ночь на исходе) воспринималась им как усталость в мускулах шеи от беспрестанного скатыванья головы вперед в разложенное перед самой грудью его забытье и от усилий вытянуться обратно. Наконец, он откинулся и увидел, что ламповый свет целиком помещается под абажуром, а комната омывается утром густым и цвета слюды. И только сейчас Алексей догадался, что окурочек давно затух, и потянулся к пепельнице.

— Дяде легче, — сказала Ирина, входя в комнату и улыбаясь. — Он спит.

Ирина едва стояла. Ее темные туфельки положили на паркет свои тупоносые мордочки и не знали, в какую сторону двинуться. Ноги Ирины, слишком тонкие у основания, с чуть выступающими над бортами туфельек косточками, над которыми улеглись удлиненные впадинки, вдруг обнаружили перед Алексеем свою непрочность, беспомощность и растерянность. Было необходимо посадить Ирину сюда, на диван, и даже взять ее за руки, будто только что высушенные над огнем. Алексей обнял ладонями Ирины пальцы. Осторожным длительным прикосновением он осязал все заливы, выступы, скаты Ирининых рук. Ему казалось, сквозь прижатые друг к другу ладони они обмениваются кровью.

— Те больше сюда не придут? — произнес он, продолжая разговор, начатый раньше, очевидно еще во сне, и не удивился, что Ирина ответила.

— Да, пятницы кончены.

Алексей, задерживая дыхание, нагнулся к ее губам и почувствовал, как пальцы Ирины чуть вздрогнули и сократились.

ГЛАВА ПЯТАЯ

1

«Замечательно быстрая жизнь. Словно тень, спроектированная на полотнище кинематографа, я бегу; я догоняю удачу. Мне опомниться некогда. Я

мелькаю в днях, и дни мелькают во мне. Они рябятся от встреч, играют, как мелкие волночки. И большая волна, составленная из них, подымает свой грузный хребет. Составляется год. Этот год. Что я, собственно, знаю о нем? Мне, собственно, некогда знать. У меня выступления. Вечерами к одиннадцати тротуары и мостовые, упругие дорожки бульваров сами выносят меня к дверцам кафе. Там мой труд, мои деньги, мое призвание. Вот о призвании, пожалуй, стоит поговорить. Нет, пожалуй, не стоит. Хотя бывают сомнения. Это, когда сидишь за столом, бумага гостеприимно белеет. И вдруг не хватает слов. Их требуется чрезвычайно много, чтоб насытить чернилами поле листа. Чтобы бумага зашевелилась буквами и буквы расселись по ней крикливым и спорящим табором. А слов не хватает. Они выпрыгнули из головы и разбежались по улицам. Можно лениво чертить кружочки, квадратики, звезды. Но разве это замена? Это беззвучный язык, похожий на азбуку глухонемых. Тогда стережешь любую случайную мысль, словно рыбак, следящий за поплавками. А я ненавижу рыбную ловлю! Клюнет, не клюнет. И клюет какая-то вялая мелочь. Нет, лучше натянуть пальто, колесом проноситься по улицам. Перед кафе на два акта в театр. Благо, знаю администраторов. И — торопливая жизнь. Не могу досидеть до конца представления, пьесы слишком длинны. То ли дело театрики миниатюр. Или цирк. Я бегу, будто к спине мне приставили факел. Иногда устаю. Так бы сел на снег на бульваре. Ну их к чорту знакомых, кружки, выступления! Может, я занимаюсь не тем, чем следует, или как-то не так. Будто живу на чужой счет или таскаю чужие костюмы. Как лакей, когда хозяин в отлучке. Но все это вздор. Искусство — величайшее, изощренное надувательство, умный метод вскрывания касс. Люди трудятся, копят, потеют. Но приходит художник, или тот, кто смеет себя так назвать, и легкой жестикуляцией пальцев извлекает чужие бумажники. И так, что хозяин бумажника еще пожимает вам руки, сияет, благодарит, приглашает поужинать. Сомнения спрячем в жилетный карман. Если даже стихи мои фокусничество, что ж, и фокусник тоже профессия. Делай вид, что тянешь змею изо рта. Только надо тянуть убедительно. — Завести записную книжку и вносить цитаты и мысли великих людей. Запомнить их наизусть. Ничто не внушает столько почтения, как видимость универсального знания. Приведенная к месту ссылка бьет навывлет, без промаха. Это тоже товар, его нужно пускать в оборот осторожно и с толком. Чувство меры, учет обстановки. Курлык обучает меня прыжкам через голову, как цирковой акробат, тренирующий младшего брата».

2

Автомобиль выполз из-за угла, покачиваясь и лениво хлопая мотором. Он вскарабкался на тротуар передними пухлыми шинами. Шины приплюс-

нули лужу с наколотыми в ней мелкими льдинками, встряхнули воду и мокрые замерли. Переулок был топок и скользок, и человек, выскочив из машины, разбрызгал снежную жижу. Разговор со сторожем кончился скоро. Перехваченный крест-на-крест двумя патронташами, человек, убеждая привратника, слегка стучал в железо ворот рукоятью револьвера. Ворота позванивали, словно их чинили в лавке жестяника. Разговор шел негромко. Вечернее небо куском зеленого зеркала вставлено в переулок. По низкой и твердой его поверхности шарами прокатывались звоны дальних колоколов. Очевидно, была суббота или другой предпраздничный день, и, вероятно, звонили к вечерне. И — начиналась весна.

Из продолговатого кузова в разных наклонах и в различных степенях внимания за переговорами следили люди. Худенький, нетерпеливый студент подергивал головой, готовый вскочить и вмешаться. Рядом с ним неподвижное широкоплечее тело вождя. Это — Гуто с восточным лицом, с европейской осанкой, чернявый красавец, в мягко продавленной шляпе. Неизвестный солдат, давно потерявший себя на фронтах, в каске снятой с убитого немца, уставил ружье между ног. Он готов был и выстрелить если придется. Но, в общем, ему все приелось. И пропустят машину во двор, или нет, его не тревожило.

Впрочем, ворота тихо поддались. Будто рукоятка револьвера наконец нащупала скрытую в обшивке пружину, и не убеждения, а именно это постукивание в нужную точку откатило железные створки. Шофер наклонился, дернул рычаг и вцепился в спицы руля. Отомкнувший ворота вскакнул на подножку, привычно помахивая револьвером. И, когда машина зачавкала по асфальту двора, оказалось, ее догоняет вторая, на этот раз грузовик, где разбрасываемый толчками колыхался десяток фигур. Никто особенно не торопился. Двое отбежали к во ротам и снова сдвинули их половинки. Роль ворот была сыграна. Надлежало проникнуть внутрь. Но, так как спрятался сторож, пришлось потревожить жену. Старуха всхлипывала и лопотала бесвязное.

— Не бойтесь, товарищ, — суетился студент, — ничего вам не будет.

— Ну, ве́ди, — сказал Гуто, — успеешь поплакать.

И старуха рысцой побежала к дверям, полагая сберечь свою жизнь суматошной услужливостью.

Все обошлось без заминок. Дом был вскрыт, как несгораемый ящик. Он пустовал. Дядя выехал вскоре после припадка на юг. Ирина и Алексей пошли прогуляться. Дом стоял, как раскрытый сосуд, ничем не заполненный, готовый принять любое содержимое.

...Это было особое время затишья и неизвестности. Когда вокруг ощущались концы. Каждый день нечто заканчивалось, лопалось, будто струна, сваливалось на землю, разлеталось вдребезги само собой, без всякой причины. Казалось, предметы устали служить, сохранять свои формы и не-

удержимо стремились распасться. Конец учения, конец жизни с дядей, конец дома — так собирала свои перемены Ирина. Для других концы назывались иначе. Конец привычных занятий, последний фунт хлеба, прекращение России.

...Их любовь была беззащитной. Ненадежный, временный дом, чужой для обоих, не мог укрыть их достаточно. Да и вообще дома теряли способность укрывать и беречь. Дома становились дырчатыми, проницаемыми, как решетка. Сквозь видимость стен, еще несколько месяцев, и вкрадется уличный холод. Кажущиеся дома. Жизнь разверстается по категориям. Все ее меньше хлебной осьмушки. Многие потряслись бы, если бы показать им заранее степень будущих испытаний. Но сколько не уступили бы доли своей, будь у них возможность свободного выбора!

Это было время, когда будущее вследствие полной непредставимости не вступало в человеческие поступки. С подобным будущим нечего делать, как с еще неоткрытой энергией. Но смутительней всего было чувство, от которого нельзя уже спрятаться, что энергия, не нашедшая формулы, не названная, не прирученная, тем не менее действует, и в ней-то как раз и лежит объяснение событий.

Впрочем, подобная неопределенность и нравилась молодости. Неопределенность представлялась податливой полувоздушной средой, которой легко придавать очертания своих ожиданий. Алексей строил из нее подвижные формы, чем-то напоминающие форму его отношений с Ириной. Слово будущее приходит лишь для того, чтоб принять облик этой любви, и нуждается в ее сохранении. И присутствие, существование их любви казалось Алексею существенным делом, залогом каких-то общих согласий, снятием противоречий, исполнением мыслей о братстве.

Все состоялось. Республика молодежи, конечно же, есть, и они ее лучшие представители. Нужно только выдержать чувство на особой торжественной высоте, чтобы оно летело, как чистый, ни с чем не смешанный звук. И на этот все пронизывающий звук к ним соберутся товарищи.

Обстоятельства, словно сговорившись, предоставили им свободу. Алексей просиживал дни у Ирины. Возвращаться ему было некуда. Он отправлялся на ночь в соседнюю комнату, которая скоро ему стала своей, и долго не мог успокоиться. Он встречался с собственным отражением в зеркале, чтоб проверить, что он находится здесь. Сколько времени он посещал пятницы, бывал в немногих отсюда шагах и не знал, что уже отобраны эти четыре стены и группа паркетных квадратов, и ковровый диван, как единственная обстановка его непомерной удачи. И страннее всего, что, зайдя он сюда два, три месяца раньше, он даже и не приметил бы ни на мебели, ни по углам для него заготовленной радости, которую сейчас испарял каждый предмет и которой все же нельзя было надышаться.

Ирина же понимала, что оба они безоружны. Ей хотелось собраться, продумать, опомниться. Что-то главное, что-то удивительно важное находилось поблизости, и она не могла о нем вспомнить. Дело касалось именно памяти. Будто она знала об этом существенном, все объясняющем, может быть в детстве, а может, во сне. И больше не знает. Тут нужно усилие мысли, но притом представление, в какую собственно сторону вытянуть мысль. А время не ждет, время спрашивает. Будто стоит она в темной комнате, в которой движутся люди, грохочут предметами, расставляют, пакуют, уносят. Ирине нужно найти выключатель. Она наверное знает, в комнате есть выключатель. Еще вчера она его трогала. На какой же стене? Как смела она забыть подобную вещь? И только не успокоиться, не подменить основное вторичным, хотя бы и схожим. Пусть ей не советуют, пусть за нее не решают. Пока же ей неизвестно самой, лучше прямо признаться в незнании.

Перенесенная, как на ковре-самолете, из чиновничьего полубедного уклада в дом инженера, изобретателя, баловня капитализма, с налетом российской эстетики, Ирина стала объектом стариковских причуд. Ей предстояло, по замыслам дяди, вырасти в женщину новой породы. Техник, художник, красавица одновременно. Ирина не превратилась в красавицу и оказалась туга к математике. Ее тяготил вечный долг старику, и, узнав, что он разорен, она невольно обрадовалась.

Марков занял ее устойчивостью своих выводов. Ирина с ним соглашалась. Но если б добавить что-то еще из себя, из тех непочатых запасов. Как смела она утратить тот единственный ключ, размыкающий двери? А может, и нет его вовсе. Но в ладони еще холодок и ощущение формы предмета, будто только что она держала его и положила куда-то. Но Маркову некогда ждать. Ах, какая она неумелая!

И вот Алексей. И все становилось мучительным.

В этой близости были оттенки мальчишеской дружбы. Им случалось повздорить из-за прочитанной книги, угловато поссориться и неуступчиво дуться и супиться. Но Ирина вдруг рассмеется — какие же мы дураки! — и вдруг повзрослеет и выпрямится, одетая заревом своей еще будущей, еще не разгоревшейся женственности. И головокружительное ощущение их природной физической разности и отсюда тайных душевных различий вдруг обдаст их обоих. Будто кто-то сдвинул заслонку у топленной печки, и оттуда плывет жаркий тающий воздух.

Алексей брал руки Ирины. Их ладони соприкасались, тяжелые от приливающей крови. Прикосновения сплетающихся пальцев короткими быстрыми вспышками перебегали по коже. Алексей чувствовал в теле тягучую клейкость. И клейкость была в обстановке вокруг. Воздух казался резино-

вым. Звуки с улицы — вот проехал извозчик, печати копыт штемпелюют мостовую, подскакивая, тарахтит колесо, ветер винтами прошел по вздрогнувшим стеклам, — звуки с улицы застревали в этой воздушной мякоти, залепившей всю комнату. Было ощущение плена, зависимости своей от тела, расширившегося и живущего бесконтрольным особенным образом. Губы горели, будто к ним подносили свечу и язычком свечи проводили по их оболочке. И в подобный момент Алексею казалось, что он теряет себя, что в любви его есть и хищность и жадность, что все разговоры лишь способ смирить, подчинить Ирину себе, и это в сущности главное, а Ирина сопротивляется и вовсе с ним не согласна.

4

«...Это можно назвать приключением, связью, романом. Я несколько горд, как-никак замужняя видная женщина. И откуда такое внимание, не слишком ли приторное и беззастенчивое? Не слишком ли бесцеремонная и расслабляющая теплота? Однако я все-таки важен, что-то льстит мне и гладит мое самолюбие. Разве только чрезмерная пряность во рту, будто я объелся пирожных. И к тому же очень сложная роль. Есть ведь муж, и я жму ему руку. Мне бывает неловко, словно я прихожу без костюма. Он же брит, причесан, подтянут и делает вид, что забыл о моей обнаженности. Я же делаю вид, что верю в его неумение разглядеть мою наготу. Кроме мужа, любовник, узаконенный, принятый мужем в семью, проживающий в той же квартире. И вот этот-то он, которого песенка спета, у которого с Верой Георгиевной стычки, схватки, распады, он меня ненавидит, как попавшего сбоку и возможного заместителя.

Что ж, Курлык, вероятно, и прав. Его правда насквозь проницаема и видна, как вода, налитая в стакан. Нужно жить с замужнею женщиной. Психология лишь добавочный груз. Отношения взаимно просты и взаимно приятны. Наша связь целиком в данной форме. Как вода, налитая в стакан. Легкий ряд взаимных обманов, переключка уступок, будоражащий компромисс.

Началось с продажи картины. Я ведь продал ее, ту, лотерейную, выдав ее за свою. Я резвился, читал стихи, набавляя ценность визита. И картина пошла за сто двадцать. Курлык остался доволен. Отсюда цепь посещений. Я провожал Веру Георгиевну из кафе. Мне нравилось брать ее под руку и вести в лоснящемся котиковом футляре, в белой замшевой шапочке, эту женщину со сверкающей кожей, жизнерадостную от сытости, с кровью, казалось, особенно звучной и быстрой, и будто порхающей в жилах. Мы, смеясь, входили в квартиру. Абажур в столовой из цветной прозрачной материи напоминал карусель. Скатерть равномерно отражала электрический

свет. Плоско натянутая на стол белизна. Доктор, гостеприимный хозяин, в теплой пижаме с замысловатыми петлями, в белом панцире крахмальной рубашки, в черной шелковой шапочке, выходил из внутренних комнат. Шапочка вызывала представление о немецких профессорах, воротничок был тверд, как его убеждения. Весь вид его благопристойно брезгливый, полный надменной, от себя устранивающей вежливости, будил во мне раздражение. И, однако, он парализовал развязность мою, каждым жестом на- сильно приводя меня к сдержанности.

Мы садились к столу, как персонажи спектакля, где каждый по-старинному, преувеличенно честен. Даже чашки мы посылали друг другу, как закругленные реплики. Станислав резкой неврастенической тенью являлся из-за портьеры. Едва со мной поздоровавшись, он садился около доктора. Ломал сухари угловатыми длинными пальцами. И, казалось, готов расколоть стакан на куски. Он подчеркнуто выделял в собеседники доктора, глядя мимо меня.

— Порядочным людям нельзя оставаться в России.

Он хотел расцарапать словами воздух до крови.

— Я бы выпорол их, а потом расстрелял после порки.

К «ним» он относил и меня.

— Бог знает, что ты говоришь Станислав, — усмехалась Вера Георгиевна. Ей хотелось примиренности теплой и мягкой, как бархат. И тогда Станислав обращался, будто впервые заметил Веру Георгиевну.

— Вы, конечно, со мной не согласны. Еще бы. Посетительница большевистских вертепов. Ваш Курлык — большевистский лакей. И все, кто возле него.

Я смотрю в его глянцевою прическу. Прямой упругий пробор режет волосы. «Бывший офицер, — шепчу я себе. И эти слова наполняются особенным, точным, выразительным содержанием. — Ты сидишь в пиджаке, не смея привесить погоны. Ты сброшен на землю, ты кончен, ты, в сущности, жалок. Ты ошибаешься, я не большевик. Я не вполне понимаю и не слишком задумывался над подобными темами. Но то, что ты свален, бессилен и такие, как ты, это правильно. Слышишь? Я говорю — это правильно. Хорошо бы ты был победителем. Ты б стегал Россию хлыстом по плечам. Рубец справа налево. И обратный рубец. Ты б в лицо России носком сапога. И только б шпора легонько звенела. Острая шпора, игрушка, звонкая звездочка».

— Это правильно, мы большевики в искусстве, — говорю я, крепко схватившись рукою за стол. И тогда на меня два зрачка, как два револьверные дула. Вокруг губ его мелкая дрожь.

— В таком случае, — свистит мне в лицо Станислав, — мы и вас расстреляем.

— Посмотрим.

— Да, довольно же спорить, — подымается Вера Георгиевна. — Неужели нельзя без политики?

Она подбегает к роялю. Обнажается челюсть клавиатуры. Рояль оскален костистой улыбкой. Шопеновский вальс тревожными мягкими вспышками мечется в комнате. Мы молчим и не слушаем.

Если б взглянуть через окно снаружи, какая пристойная сцена. Осмысленная, высших настояев уютность. Трое мужчин — какие отборные лица. Пропитанные культурнейшими интересами внимают избранной музыке. Воротники и манжеты мерцают белой эмалью. Угольная чернота ловких, надежных костюмов. Плечи женщины неуловимо покаты. Шея ее золотисто желтеет. Будто на этих людей отпущен природой драгоценного качества. И каждая мысль их пластична, стройна и законченна, как оживленная статуя.

Как я гнусно залгался. Мне пора уходить. Что, если Курлык не так уж и прав? Его правда с налетом ржавчины. Этот дом унизительно мерзок. Эта женщина... Ее рукава отлетают от кисти, и рука выходит наружу. Она двигается над клавишами в торжествующей персиковой наготы. Зрелые руки, доспевшие до ласковой полноты. Побеждающие мое зрение руки. Я презираю себя. Я остаюсь».

5

Ирина ложилась там в третьей, дверью отрезанной, комнате. Это громко стукнули туфли, скользявшие с ног. Звук толкнул Алексея, будто туфли упали не на пол, а на поверхность его неприкрытого мозга. Он слышал, ему казалось — он слышит, шопот платья, снимаемого Ириной. Он различал деревянный скрип узкой ее кровати. Чувство слуха разлилось по всему его телу. Слушали руки, научились вниманию плечи. Он хотел бы оглохнуть, забыть, успокоиться. Комната подступала к самому горлу. Он захлебывался ее мебелью, стенами, светом. Он был несчастен от этой внезапной и расслабляющей страсти. Не думая, как погруженный в воду, преодолевая тугое сопротивление обжавшей тело среды, он потянулся за папиросами. Он провел рукой по карманам и вспомнил, что забыл портсигар у Ирины.

— Какой вздор, какой вздор, — раздельно сказал он вслух, подымаясь на ноги. Комната описала круг, будто повернувшись вокруг оси. Алексей повернулся и, отбросив комнату за спину, пошел к Ирининой двери. Ноги были пудовыми. Дом шумел огромною раковиной. Шумы врывались в уши, бинтами стянули голову. Алексей стал перед дверью и взялся за медную ручку.

— Что такое? — испуганно отозвалась Ирина.

Граненый холодок металла слегка отрезвил Алексея.

— Я забыл папиросы, — сказал Алексей тусклым, жестяного оттенка голосом. — Можно? — И, понимая, что теперь все равно и ему нельзя не войти, он подвинул вперед чуть скрипнувшую половинку.

Ирина лежала, натянув одеяло до подбородка. На четырехугольном столбе ночного столика светилась низкая лампа. Лицо Ирины в тених на мятом поле подушки выглядело смуглым и маленьким. Алексей не узнал ее глаз пристальных и широких, не узнал лица в оттянутых назад волосах, закрученных в косу. Мелко, зубчато тикали часики. Совсем как в тот раз, когда он увидел Ирину спящей. Это быстро бегущее, металлически-щелкающее воспоминание поразило Алексея своей несовместимостью с теперешним состоянием. Чувство унижения, горя, позора охватило его. Время несло. Каждый удар секунды отбрасывал его от Ирины.

— Алеша, — издали спросила Ирина, — что случилось? На вас нет лица.

Алексей шагнул вперед по клеткам паркета, как по лестнице, вздыбленной вверх. Он стал на колени, стукнувшись подбородком о борт кровати.

— Я не знаю. Я не хотел вас обидеть, — говорил он, сам не слушая своих слов. Рука Ирины легла на его голову, как холодный компресс. Оба молчали.

— Нет, нет, все хорошо. Вы теперь уйдете, Алеша.

Только б она не отняла руки, думал он.

— Как все это странно. Что с нами обоими делается? Встаньте же. Вот так. Папиросы на столике. Рядом с часами. — Ирина присела на кровати, подтягивая одеяло к плечам. В ее словах была мягкая жалость. И удивление. Будто она в первый раз увидела и его и себя. — Вы только не думайте, что я рассердилась.

Алексей мучился, видя открытое, сияющее белизной плечо Ирины. Ему, верно, холодно, маленькому плечу, плавно вылепленному и пологому. Он поцеловал его, как целуют детей. И, глотая комья горьковатого дыма из закуренной наконец папиросы и кашляя от тяжелых жадных затяжек, тихо вышел из комнаты.

6

Бедная, притихшая нежность следующего дня. Неразговорчивая нежность, взмахивающая удивленно руками, не умеющая отыскать себе места. Бедное дело любви, столько раз повторенное. И теперь воспроизводящееся заново, будто впервые родившееся от этих людей. Может, любовь гнездится в природе самостоятельно, независимо от наших намерений. И мы случайно вступаем в заряженную особой и властной энергией область и, воз-

можно, вовсе некстати, совсем не ко времени. Груз, внезапно упавший на плечи, счастливая ноша. Но все-таки тяжесть, но кладь, но дорожный багаж.

— Переехать к вам? Ну, какой в этом смысл? Ведь мы еще оба не стали ничем.

Алексей мутнел на Иринины доводы. Воспоминание о вчерашнем крутыми лопастями поворачивалось в груди. Алексей понимал, что Ирина права. И тем более знал, что ему уже нет отступления. Вчерашнее требовало продолжения. Тут дело не в личных желаниях. Ирина права, но есть бесправная тяга. Которой сопротивляться нельзя. И нужно ли? Конечно, надо учиться, расти. Это и он говорил те же слова. Во всяком случае чрезвычайно похожие. Даже вчера он мог ощущать их содержание. Даже сейчас он различил их звуковой состав. Но слова — это только слова, дребезг мелких монет, разроненных из кошелька. Одна на остром сверкающем ребрышке закатилась за шкаф. Ее не сыскать. Она пролежит, обрастая пылью, пока в доме не задвигают мебелью, не вытащат шкаф на подводу.

Алексей раздраженно кивал головой. Да, конечно, журнал Золотницкого. И Алексей приготовит статью. Дядя скоро напишет Ирине, как поступить с обстановкой. И тогда, развязавшись с домом, она переедет в комнату. И они будут встречаться, и кое-кто из тех, приходивших на пятницы. Да, да, да! Алексей соглашался. Но наступит вечер. Это было известно наверняка. День докатится, как пассажирский вагон. День заскрипит тормозами. Настанет широким темным перроном раскинутый вечер. Крытым перроном. Клубами паровозных дымков, подвязанных к небу, кирпичной кладкой пакгаузов. Осьмнадцатого, первой его половины, московский советский вечер. И вооруженный его хмуростью, не в силах его понять и с ним сладить, Алексей подойдет к Ирине. Ирина растеряет слова. Он их снимет с нее, как одежду.

Он знал, что вечер с ним заодно, и то же знала Ирина. Вечер уже различался за окнами. День дрожал, грохоча на последних разъездах. Тени охватывали каждый Иринин шаг. Ей было невмоготу от их ласковой тяжести. Она прошла в переднюю и вышла обратно, обернутая и защищенная синим сукном своей шубки.

— Надо пройтись, Алеша, — сказала она, вдавливая руки в кожу перчаток. И по тому, как она туго разгладила кожаную чешую, облепившую пальцы, и со стороны слегка надменно взглянула на себя во встречное зеркало, Алексей понял, что она уйдет и одна.

Они вышли оба в молчаливом, но явном смятении. Они словно покинули двух своих двойников на произвол комнат и сумерек. И сумерки быстро затолкали весь дом в свой шерстяной душный мешок. Они вышли, спасаясь от двойников. Оттуда из пустого проклятого дома протягивали к ним руки вчерашние образы из самих. Вечер снабдил их жизнью, придал им видимость существования. Образы звали назад. Они требовали продолжения

вчерашнего. Они наклонялись через перила на лестнице, умоляя вернуться.

Вечер был со стеклянною крышей. Зеленые стекла лежали над переулком. Где-то раздельно били в огромную медную ступку. Это, верно, к вечерне. И, несомненно, — весна.

«Ирина будет моей женой, — сказал сам себе Алексей, как бы рифмуя слова с поступью колокола. — Женой». Он схватился за слово, как утопающий. Ведь все стремилось их разлучить. Ведь едва они вышли, переулок просунулся между ними. Шелковистый, словно стоящий на месте, ветер, тротуар, в каждой выбоине которого отекал лужами снег, весь запас тумб, стен, фонарных столбов, все взывало к вниманию и оттягивало их друг от друга. И главное, разве поручишься, что Ирина видит так же, как он. Разумеется, каждый предмет подан ей несколько иначе, чуть-чуть, но в другом наклоне, в иной перспективе. И, несомненно, разные мысли отделяются навстречу каждому от очертаний вещей, выскакивающих на дороге. Непохожие воспоминания из непохожих отдельных детств. Из жизней, не соприкасавшихся ни в чем до сих пор, распиленных прошлым на самостоятельные половины. Что она думает в данный момент? Даже если спросить, даже если ответит, слова, как расплывчатые фотографии. Участником ее мысли, создающим эту мысль совместным усилием от зачатка до яркой ветвистой зрелости, ему не стать никогда.

«Ирина будет женой». Это слово — порука и берег. Нечто властно врастающее в жизнь, чем время бессильно. Что будет памятью созданной вместе. Местом неотделимой их встречи, как бы их ни раскинуло будущее. Слово гремело торжественно. Медная ступка вторила над головой. Небо, подпертое столбиком колокольни. Колокольня казалась шахматной королевой с продавленными бочками и в каменном воротнике. Автомобиль, накачивая в переулок свет из двух фонарных баллонов, сам невидимый, словно спрятавшийся за фонарями, обдал их грязью и брызгами. Гуго ехал в промятой шляпе. Неизвестный солдат наклонял полушарие каски. Впрочем, ни Ирина, ни Алексей не различили сидящих.

ЧАСТЬ ВТОРАЯ

ГЛАВА ПЕРВАЯ

1

Кафе Трамбле — не то, что всякий москвич военной формации из промышленников, Земгора, из областей журнализма и театра, а также из сфер вполне спекулянтских, знал во втором этаже на Петровке, а другое Трамбле, поглуше, поменьше, потише, — вечерами, как и ряд иных московских кафе, вверялось поэтам. Это не ящик из-под макарон, подобно Кафе футуристов. Нет, овальное зальце и столики под стеклянными досками, плюшевая теплота подтекавших под спины диванчиков, лампочки в виде свечей на столах, как балерины в шелковых синеньких платяцах. Тени, тени. Искусственный, овальный, натопленный вечер. Бубенчики ложек бьют о бубенчики блюдца. Негромкие разговоры перекатывались по залу. Слово рокоот роликов на асфальтовом треке.

Нерасстрелянные спекулянты, барски сбросив пышные шубы на руки подобострастных, размещались отужинать. Дамы с перламутровым цветом искусно крашенных лиц гнули туловища. Дамы — будто водоросли в этом округлом аквариуме. О, бывшие, тогда еще не вовсе ставшие бывшими, находившиеся на пороге к загробному существованию, вы — живая очередь к стенке, вы — дрожжи белых движений, вы — шоферы и метрдотели Парижа, вот вы еще заселяете площадь Трамбле вечерами, не слишком гадая о будущем.

Алексей и Ирина вошли, набродившись по улицам. Они остановились у входа в притихшую залу, где только что загас верхний свет и одни свечи по столикам сияли раздутыми юбочками. Алексей выискивал место, когда его потянули за локоть и ему шепнули: «Алеша». Прежде, чем он разобрал в полутьме, кто и что, Вера Георгиевна усадила к себе и его и Ирину, тут же успев познакомиться с ней и познакомить ее с остальными присутствующими. Она пустилась в расспросы, но зажала губы себе подушечкой-ручкой и зашикала сама на себя, так как в этот момент на стороне противоположной входу слышались звуки рояля. Там начиналась программа стеклышками лядовской табакерки. По традиции. Ибо все заведение именовалось «Музыкальной табакеркой».

Жизнь есть сон. Звуки строятся лесенкой. Свечи томно танцуют. Того и гляди, ворвутся матросы и, просмотрев документы, изничтожат буржуаскую сволочь. Жизнь есть сон — уверяет рояль, и головы лунатических женщин покачиваются, соглашаясь.

Над Парижем рвутся шрапнели. Последнее наступление. Мировая война, задыхаясь, колотит чугунным хвостом, словно огромная рыба. Из-под лесного прикрытия мертвые головы танков. Стальные холмы плывут на противника. Война пожирает себя. Она издыхает на всем своем протяжении. Голубоватые вспышки шрапнелей широко стоят над Парижем.

А пианист — несомненно Шток. Толстое лицо, наклоненное на бок. Он следит за выводком звуков, расплотившихся, как цыплята, на насесте клавиатуры. Он раздвигает руки и загоняет звуки обратно в деревянный курятник рояля. Все в порядке. Он закончил работу и, отдуваясь, встает.

Марков закончил работу. Завод обведен дощатым забором. Трубы космато дымят. Вероятно, они надышали эту высокую ночь. Небо заклепано звездами. В помещении рабочей столовой, не достаточно освещенном и плохо проветренном, Марков докладывал сросшейся плечами толпе. С хлебом дело не очень. Особенно летом. Предстоит подтянуть животы. Кто просит слова? Руки разом качнулись, приподымая кверху предложенную резолюцию.

Маркова температурило. Его худенькая фигура подпрыгивала вдоль тротуара. Он возвращался с завода. В голове его катятся хлебные транспорты. Только б сладить с летом и до нового урожая. «Мы приложим усилия, — шепчет Марков слова из доклада. — Товарищи!» Он вскочил в подбежавший трамвай и отодвинул дверцу с таким радостным видом, будто это была дверь в царство социализма.

Теперь и Шток за тем же столом. У Веры Георгиевны всегда выходило так, словно всюду она хозяйка и все ее любят. Это было почти справедливо. Даже вычурной подавальщице сказано несколько одобрений, и барышня улыбается по-домашнему и лучшую чашку кофе в шапке сбитых хлопьями сливок подставляет Вере Георгиевне. Вера Георгиевна восхищалась людьми и первого встречного могла убедить в его исключительности. Она обратилась к Штоку, блестя зеленоватыми выпуклыми глазами:

— Вы это прекрасно сыграли. От талантливой игры у меня дыхание становится легче.

Лицо Штока стало теплым, будто он сидит у камина.

— А вам надо прийти ко мне, — колдовала Вера Георгиевна возле Ирины. — Мне Курлык навесил картины. Вот Миша все спорит, — она указала на мужа. — Вы нас рассудите. По-моему, отличные краски.

А Миша, доктор с калмыцким лицом, кривил брезгливые губы.

— Картины. В квартиру теперь не войти. Одноглазые женщины.

— Вы тоже сторонница левых? — Станислав поддержал оппозицию Миши.

— Вы на них не обращайтесь внимания. Миша сам глаз не сводит с пейзажа, выпросил его в кабинет. Станислава она не назвала. Тот был за что-то лишен ее милости.

Вера Георгиевна, сама обильно любившая, за тысячу верст различала всякий привкус любви. Еще здороваясь с Алексеем, она всей кровью расслышала, что здесь накопились трудности. Исконная жадность устроить, согласовать, закруглить. Она уже видела, как высвобождает она из размышлений Ириночку (так окрестилась мысленно девушка), как тугодуму Алеше внушит осторожность к подруге. И, значит, безоблачная взаимность июльским небом укроет их головы. Главное — заполучить их обоих и поодиночке напичкать советами. «И остров мой опустится на дно, преобразясь в жемчужные сады» — жеманилась поэтесса с обезьяньей мордочкой с кафедр. Белобрысый, какой-то безликий, безбровый Вертинский в кургузеньком пиджачке, потирая пальцы, поклонился Вере Георгиевне.

— Шурочка, ваш последний романс... — и она схватилась за голову, выражая восторг,

— Верочка, — с тихой наглостью и глотая искусственно «р»: — Я отдал этот крест.

Но, прежде чем Вера Георгиевна успела объяснить историю серебряного креста, подаренного и принесшего беды Вертинскому, и то, как она убедилась пожертвовать крест в ближайшую церковь, и рада, что Шура исполнил, в передней уже проверяли документы. Человек с рассеченной губой расправлял неумело бумажки, подносил их к самым глазам и долго с натугой читал. С эстрады еще доносились поэтессины возгласы. Приклады и сапоги негромко, но веско бухали в пол. Распорядитель в визитке расталкивал столики и забывал извиниться.

— Продолжайте. Мы только посмотрим документы, — сказал человек с рассеченной губой. Распорядитель стал бел. Верхний свет был включен. Свечи на столиках выцвели. Впрочем, их не видно за повскакавшими всюду людьми*.

Ночь вошла в кафе, держа под локтем винтовку. Вошла улица, вошла вся страна в грубом сукне шинелей.

Вошли представители времени, потребовать удостоверения. Поэтессин голос загас, как свеча, накрытая ветром. Фронтовик с рассеченной губой подносил к лицу бумажки. Если ты не согласен, ты может быть выйдешь и скажешь. Спорь в лицо, если есть о чем еще спорить. Брось твою жизнь на

* Зачем они толкуются в моей голове, все эти люди с их словечками, жестами, судьбами. Я устал от их назойливых возникновений. Они стерегут меня ежедневно, окружают рабочий стол. Они врываются в мое одиночество, заполняют его своими цепкими мыслями. Уверяют меня в правдивости их существований. «Ты ел тот же хлеб, что и мы. Помнишь, из одной глиняной кружки мы кили время, как воду». И каждый урывает у меня кусок жизни, чтоб продлить свое нарочное бытие. Я устал. Я не слишком люблю их. Я не хочу узнавать их в лицо. Но они, возможно, правы. Это мое поколение. У меня с ним семейное сходство. *Прим. автора.*

прогнутую чашку весов в бакалейной лавке истории. Жизнь — достаточный разновесок. Медная гирилка со штемпелем твоего достоинства. Но зачем же всполохнутые движения рук с трусливой подлостью за сытыми от керенок бумажниками? «Я ни в чем не виновен. Меня пропустят, — знал Алексей. — Я не сделал ничего против вас, представители времени». Но свое пребывание здесь, в перепуганном этом кафе, он ощутил неуместной случайностью.

2

«Следует ли мне гордиться. Разумеется, я достиг своей цели. Впрочем, я шел не к тому. Мне кажется, что меня обошли, втянули в победу. И торопили, и подсказывали мои действия. Их внушали интонациями, прикосновениями, каждым дыханием меня уверяли — скорее. И потом чего же яснее, грубее, отчетливей? Правда, я просил ее не прощаться, посидеть со мной, когда все разойдутся по комнатам. В душе было пестро и празднично. Я любил в эту ночь свою молодость. Разыгранную на самых высоких, самых уверенных нотах. Мне нужно было выплеснуть все довольство собой в подходящего слушателя. Короче, мне спать не хотелось. Пусть она выйдет ко мне поболтать.

За поздним временем под ночевку мне отвели докторский кабинет. Великолепно не быть прикрепленным к единственной комнате. Проснувшись, устанавливать соотношение между посторонним окном и собственным телом, между убранством случайной квартиры и знакомыми вчерашними мыслями, глядясь в которые узнаешь свой нерастворяемый длительный облик. Ночевка на новом месте загадочна, как путешествие. Так бывает в чужих городах и когда заглянуть в освещенные окна. Мгновенно проходишь насквозь через непринадлежащую тебе жизнь, сам оставаясь вполне независимым. Я излагал подобные соображения, двигаясь по кабинету. Два белых шкафчика со стеклянными створками ограничивали передвижение. На белых полочках жидко мерцали инструменты, словно ртуть, принявшая формы ланцетов, щипцов и причудливо выгнутых лезвий. Казалось, ртуть сейчас разойдется на блестящие шарики и снова неожиданно застынет в новых плывущих обликах. На подоконниках — мутного стекла банки с притертыми пробками, воронки с делениями, пузатый набор пузырьков. И едва заслоненное ширмой, специального назначения кресло, чей рогатый и никкелевый скелет то наезжал на меня, то откидывался за экран. Я шагал, толкаясь в шкафы и столы, и, должно быть, махал руками. Тень моя гнулась и прыгала по пузырькам, заползала на полки, разворачивалась вдоль ширм. Я бросал ее в стены, отделив от себя, и снова подтягивал под ноги.

Вера Георгиевна молчала. Я не смотрел на нее и представлял ее молчание обращенным ко мне, приготовленным для моих мыслей, расступающимся, чтобы дать место моим торопящимся фразам. Я собеседничал с ее молчанием, будто с собою самим и даже лучше, чем с собою самим, так как я вырастал и продолжался в ее податливой дружбе.

Чувство расширения, когда своим существом, как газообразным составом, можно заполнить весь мир до его последних углов, когда выдыхаешь себя целиком, — подобное чувство может дать лишь внимание женщины. И я благодарен Вере Георгиевне.

Но вдруг я увидел ее глаза. Вера Георгиевна сидела на докторском узком диванчике с возвышением для головы, на который ложатся при осмотре больные. В простыне, свисавшей твердыми, будто из мрамора, складками, диванчик выглядел саркофагом. Завернутая в широкие лепестки голубоватого домашнего платья, Вера Георгиевна казалась несколько грузным, пресыщенным ангелом, которому лень сдвинуть руки с покатых крупных колен. Ее глаза были странно двойными. На выпуклой, ярко блестящей поверхности их неподвижно лежала улыбка. Забытая здесь на глазных оболочках, длинная, внешняя, как отражение лампы. А за улыбкой и сквозь нее преломляясь, собственно в самом зрачке прятались жадность и вкрадчивость, что-то обволакивающее мои движения и стеснявшее мысли. Вера Георгиевна взяла меня за руку и притянула к себе. Мы сели рядом, вплотную друг к другу, и я замолчал. Будто опустившись на диван, кожаная обивка которого скрипела под простыней, я оказался ниже уровня мыслей и слов. Все, что я говорил, повисло над моей головой, по крайней мере за четверть аршина вверх от нее. Я же нырнул, будто в пруд, и захлебнулся тишиной, сомкнувшейся сразу вокруг. Тут не было места голосу. Разве шопот, струящийся шопот мог пройти сквозь щели молчания.

— Миленький, — шептала Вера Георгиевна, обращившись ко мне всем просторным, смягчившимся телом. — Ну, хорошо, хорошо. — Словно я все время просил ее, и она уступает, согласная».

3

Выпустили почти всех. Облава была рядовой и не страшной. Ирина и Алексей вдвоем возвращались домой. Оба молчали. С каждым шагом начинать разговор становилось труднее. И все же необходимо решить, как продолжится ночь. Будет ли она общей, совместной, или расколется на две половины, на две ночи, и каждый получит себе отдельную часть. Ни у того, ни у другого решения не было. Оба устали. В молчании чувствовалась отчужденность. Чуть не враждебность. Каждый перекладывал на другого тя-

жесть решения. И каждый знал, что он не подчинится тому, что предложит другой.

Переулок приблизился быстро. Пожалуй, не следовало так быстро идти. На углу переулка предстоял разговор, оба остановились. Молчали. Наконец, Ирина подняла голову. Слова уже наполнили ее легкие, уже дошли до гор-тани. Разговор случится сейчас.

— Алеша, — сказала Ирина.

— Смотрите! Дом освещен! — закричал Алексей, случайно взглянувший за угол. Их решения потеряли опору и рухнули разом. Дом жил сам за себя, не считаясь с их судьбами. Дом стоял освещенным.

Они побежали к нему напрямик. Потом задержались. Потом подходили с опаской и медленно. Дом горел изнутри, как фонарь.

Казалось, там праздничный бал. Тени людей кое-где колыхались на занавесах. Может быть, там танцевали. Особняк неузнаваемо ожил, прозрел, показав всю площадь стекла, введенного в стены. Комнаты шагнули на тротуар на широких лапах лучей. Плиты и даже часть мостовой подтянулись из тьмы к подоконникам. Зрелище было невыносимо своей беззастенчивой яркостью.

Ирина и Алексей стояли поодаль, на противоположной стороне переулка. Дом светился плоской, поставленной на тающий снег. Ирина вдрут рассмеялась:

— Да подумайте, — объяснила она, — это настоящая сказка.

— Надо все же узнать.

— Конечно, Алеша.

Им стало весело, Жизнь неожиданна и не ограничена их затруднениями. К ним подкатилась фигура. Алексей узнал доктора, за которым некогда бегал.

— Не ходите, — сновал вокруг них старичок. — Я все время слежу.

Он подымался на цыпочки и заглядывал в лица.

— Их много. Две машины одна за другой. Каждый вылез с винтовкой.

— Да скажите же толком. Что случилось?

— Анархисты. Занимают дома. Вся Москва к ним перейдет, — шептал старик сквозь одышку.

Прежде чем Алексей успел обернуться, Ирина перебежала мостовую и очутилась перед воротами. Они были не заперты. Ирина проникла во двор. Часовой закричал, но она легко, как в детстве играя в горелки, впрыгнула во внутренний коридор. Погоня не продолжалась. Переводя глубоко дыхание, она пошла медленно и прислушиваясь. «Где же Алеша?» — вспомнила она, осторожно перебирая ступеньки. Не успел. И действительно, часовой, выскочивший из сторожки, загородил путь Алексею и, грозя револьвером, оттеснил его в переулок.

Алексей колотил кулаками в железную стенку ворот. Он собрался долбить до рассвета. За воротами кашлянули.

— Я тебя застрелю, товарищ, — лениво сказал чей-то голос. — Ей-ей, я тебя уничтожу.

Спокойствие говорившего передалось Алексею.

— Пропусти! — закричал он, прижавшись к железу лицом.

— Завтра придешь. У нас вход свободный. Нынче поздно, товарищ. А будешь шуметь, уничтожу. Завтра пустим без всяких. У нас тут коммуна, называется «Солнце». Угости папиросой, товарищ. — И в отскочивший глазок собеседник вытянул руку. Папироса, поданная Алексеем, исчезла. Глазок захлопнулся. Разговор был закончен.

Алексей повернулся к дому спиной и пошел размеренным шагом.

Он вернется к себе и сядет работать. Фронтовик с рассеченной губой подносит к лицу удостоверение личности

— Я настаиваю на доверии, — сказал Алексей. Мои гимназические занятия — вряд ли я в них виноват. И в чиновничестве отца и в том, что меня обучали на скрипке. Республика молодежи — это право на любопытство. Я хочу, чтоб на любом вокзале каждому до 25 лет выдавался бесплатный билет на проезд в любом направлении. Я нуждаюсь в ученических и студенческих годах. — Ирина, — сказал Алексей и передернул плечами. Тоска прошла по коже, как внезапный озноб. Он вернется к себе и сядет работать. Ненаписанная статья вереницей слов, восклицаний и точек раскрылась вся целиком. Он шагал не по камню, а по репликам, разбросанным всюду. Он искал заключения статьи, как ищут выхода в жизни. В особняк его не пустили и попросили убраться. Друзья, Золотницкий, Шабельский, очевидно, спали. И вряд ли он смел их будить. Объединения совершались помимо него. В воздухе пахло предательством.

Карабкаясь по склону Страстного бульвара, он заметил, что окна Веры Георгиевны еще не потухли. Ему захотелось подняться. Вера Георгиевна вышла сама на звонок. Алексей не стал ей рассказывать. Они пробрались в гостиную.

Вероятно, было около двух, то есть то время, когда Вера Георгиевна, развязавшись со всеми заботами, оставалась сама для себя. И Миша, и Станислав, успокоившись после облавы, покушали простоквашу и чокнулись докторским спиртом. Вера Георгиевна развела обоих по соответственным комнатам. Разыскала Мишину книгу, Станиславу поставила пепельницу.

Она заглянула на кухню. Две приблудных дворняги и несколько жирных кошек были щедро накормлены. Прислуга снабдила Веру Георгиевну сообщениями о своем текущем романе, Вера Георгиевна вошла в положение и

одарила прислугу советами. Дела прекращались одно за другим. От вечера не осталось ни крошки.

По самому скромному счету ночь господствовала уже часа полтора, когда Вера Георгиевна наконец вступила в гостиную, обитую по полу зеленой мягкотью бобрика. Но, оказавшись в собственном распоряжении, Вера Георгиевна убедилась, что усталость не забрала над ней достаточно власти. Если б не засыпанье всех комнат вокруг, она, возможно, распахнула б рояль и даже запела б, заставив звенеть подвески граненой, струящейся стеклами люстры. Однако, обреченная окрепшей ночью на тишину, Вера Георгиевна, улыбаясь, несколько раз прошлась по гостиной и на одном из поворотов вспомнила о постояльце.

— Анюта, — протяжно позвала она еще шелестевшую в коридоре девушку. — Сбегай, голубчик, в лечебницу. Если Виктор Владимирович не спит...

— Ладно, ладно, сейчас позову, — отозвалась Анюта голосом, в котором явно присутствовала улыбка. Двери парадной стукнули, и спустя несколько тихих, совсем задремавших минут снаружи зашуршали двойные шаги. Лечебница мужа Веры Георгиевны помещалась в квартире напротив. Она запустела с революцией и предназначалась на слом. В ней заночевывали в бестрамвайные вечера отдаленные гости. И на длительный срок задержался сосватанный Курлыком бездомник и странник.

Однако, едва гость обнаружился перед Верой Георгиевной, в передней раздался звонок, и тогда-то вошел Алексей.

— Ну, что? Проводил Ириночку? Ладно уж, заходи, что мне с вами со всеми делать? — подхватив под руку Алексея, толкала его в гостиную Вера Георгиевна. — Хорошо, хорошо, не рассказывай. Сама все знаю, — продолжала она, разобрав, что Алексей не склонен к беседе. — Познакомься, да изволь сидеть смирно. Хочешь есть? Впрочем, это потом. Молчи, я стихи слушаю.

Алексей огляделся и в зеленоватой от обивки пола и мебели комнате, освещенной одной затесавшейся в угол лампой, не сразу различил человека. Хотя тот был не малого роста. По-птичьему он притулился у крышки рояля, почти присев на нее. Он вынес вперед ладонь и бросил ее Алексею. Одновременно качнул большой головой и переступил с ноги на ногу. Алексей закопался в кресло, не заботясь о незнакомце. Тишина залила Алексея быстро стынущим гипсом. Человек у рояля был родственен тишине.

Если б Алексей управлял своими наблюдениями, он, конечно бы, начал с лица. Но сейчас глаза его уперлись в ноги стоящего. Неуклюжие коробки ботинок несомненно пачкали бобрик. Брюки, замшенные внизу от сохлой уличной грязи. Дальше шла черного сатина однобортная куртка со стоячим воротником. Она тянула подмышками и мешала редким прыгающим жестам, когда, например, человек, нацелившись, забрасывал длинную руку к коробке со спичками. И, пожалуй, узостью куртки объяснялась потреб-

ность вскидывать плечи и, что-то изменив в их устройстве, снова сбрасывать вниз.

Неожиданно человек раздвинул рот и произвел короткое слово. Звук был теноровый и слабый, никак не идущий к долгому росту. Отрывистый звук, вдруг выпущенный изо рта и снова спрятанный внутрь. К первому слову приладились следующие. Они рассекались паузами. Словно человек зажигал карманный фонарик и тут же гасил его, наполняя комнату перемещающимися вспышками.

— Череп, — разобрал Алексей, — буравчиком — спокойно — пробуравил. И, — здесь слово забылось, куда-то в дыру, в отверстие, в трещину, — вставил — душистую ветку млечного пути.

Фраза щелкнула, как молоточек, в гипсовую неподвижность, обложившую Алексея, и растреснула, раскрошила ее по всем направлениям. Человек перегнулся грудью вперед и растерянно заморгал, уставившись в стену. И только теперь, преобладая над всем, над неуклюжим костюмом, стесненностью позы, невнятистью произношения, Алексею открылось значение глаз незнакомца, удивительно зорких, полных светового пространства, глаз особо чувствительной оптики и тончайшей способности отражения. Душистая ветка млечного пути тянулась сквозь комнату. Это был образ вместительный и осязаемый. Он целиком принадлежал искусству, то есть в нем впервые были найдены связи и силы, которые впоследствии, забыв о первоисточнике и изменившись до неузнаваемости, войдут строительным материалом в область морали, изменят зрение и даже, коснувшись веществ природы, переместят их по-своему. Это был обломок магнита, способный неслышно притягивать человеческие поступки и снабжать их новыми обоснованиями. Новизна его была новизной новооткрытого вида растений и обладала устойчивостью мироздания.

Образ перешагнул и существо Алексея расположился там без задержек во всей своей протяженности. Объединяющая сила его не считалась с обособленностью этих троих ничем не схожих людей. В каждом он существовал, ничего не утрачивая. Коллектив, мгновенно вызванный им, был совершеннейшей правдой, хотя каждое сознание откликалось на него по-иному.

Неизвестно, правомерно или нет, Алексей ощутил ремесленную неловкость в выделке собственной жизни. Жизнь лежала исчерканным черновиком, вынуждающим к выправке. Ему стало горько, но он был рад испытать это чувство. Ему хотелось благодарить читавшего уже не за стихи, а за собственные мысли, в которых продолжалось услышанное.

Если б чувства Веры Георгиевны поставить лицом к лицу с потрясением Алексея, то, несмотря на общее их происхождение, вряд ли б удалось опознать их как родственные. В сущности, они вращались далеко за пределами только что сказанных строк, почти не замечая их и в них не вглядываясь. Ее мысли подобно стеблям обвивались вокруг проволоки стиха, но полу-

чали питание из особенностей характера Веры Георгиевны. Она любила стихи Велимира, потому что их пышная непонятность возвращала ее к самой себе, отбрасывала к неотчетливым воспоминаниям, восстанавливала в ее глазах обновленные образы: ее же собственного и неузнаваемого существа. Ей казалось, поэт что-то знает о ней торжественное и старинное, а, может быть, детское, но всегда несколько грустное, и она вздыхала, выслушивая вести, относящиеся к ее же природе, повествующие о том, что объединяется словом — судьба. Разбросанная, раздаренная за день каждому встречному, она сейчас удивлялась своему одиночеству и в то же время радовалась ему как находке и пыталась зачерпнуть из него свежее успокоение. Будто воды из колодца. «Колодец», — подумала Вера Георгиевна.

— Велимирчик, как это у вас! У колодца?

— У колодца — расколотся — так хотела бы вода, — ровно закончил голос, — чтоб в болотце — с позолотцей — отразились повода.

И, окропив комнату брызгами, поэт остановился, будто завернув наглухо кран.

5

Абрам столкнулся с Ириной в передней. Он бежал впопыхах со стулом, прижатым к груди. Он успел позабыть по дороге, зачем подхватил попавшийся под руку стул и куда собирался его донести. Подчас на него нападала стремительность. Он терялся в несвязных поступках. И начинал грохотать и цеплялся за вещи, бормоча невнятные фразы. Он опустил стул прямо перед Ириной, стукнув в пол четырьмя деревянными ножками. Оба молча вгляделись друг в друга. И, так как Ирина не растерялась, Абрам решил, что девушка очевидно знакомая и если не из их колонии, то из какой-нибудь близкой, и пришла посмотреть на устройство. Ирина ему кого-то напомнила, но он запутался в сходствах и почувствовал себя виноватым, что не мог припомнить товарища.

— Куда вы несете стул? — спросила Ирина, едва скрывая улыбку. Но, заметив эту улыбку, Абрам встрепенулся довольный. Он надеялся загладить забывчивость. Нужно сделать вид, что он опознал девушку тотчас.

— Да, знаете, столько возни, — бормотал он, пришепetyвая. — Я говорил Гуго, не стоит забираться в такой разбросанный дом. — Подумаешь, нужны нам комнаты. А как тут защищаться?

— Здесь высокие ворота. Вокруг двора цементные стены. Этот дом — готовая крепость. — Абрам внушил Ирине сочувствие. Ей стало легко. Она с интересом оценила впервые пригодность дома к военным условиям. Дом казался неуязвимым.

— Вы так говорите? — обрадовался Абрам. — Крепость? Ну, тогда замечательно. Мы как раз нуждаемся в крепости. Разве мы в безопасности? Глупо думать, что мы в безопасности. Нам предстоит война. Как вам кажется?

Ирина задумалась. Ей было неясно, о чем пророчит Абрам. Но беспокойство последних дней, непонятность ее взбаламученной жизни, попытка отстоять себя даже от Алексея, даже от себя же самой, все это приближало слова Абрама к ее собственным чувствам.

— Мне кажется, вы правы. Всем нам еще будет трудно, — тихо сказала она.

Между ней и Абрамом стоял покинутый стул.

— Это не все понимают, — заклокотал возбужденно Абрам. Он был ниже Ирины. Его лицо качалось на уровне Ирининых плеч. Он горестно каркал, простирая в пространство белые длинные пальцы, пальцы часовщика, привыкшие щупать тончайшие винтики. — Главное, в наших рядах нет чистоты. Я вам скажу, попадаются шкурники. Мы должны быть незапятнаны. Необходим строгий отбор, я вам скажу.

Возлюбленный призрак нового мира подвергался опасности.

— Ну, пойдете, — сказала Ирина.

Абрам схватил стул. Рыженькая Наташа, любовница Гуго, выглянула из-за двери. Ее глаза, наркотически полоумные, уперлись в Ирину. Видя ее в обществе Абрама, она приняла пребывание Ирины как должное.

— Все болтаешь, Абрам, — резко выкрикнула она, засмеялась, и, повернувшись на каблуках, бесцельно пошла по комнатам. Ее мутило от блеска ламп. Она была пьяна, как всегда. Ее высокие шнурованные ботинки цеплялись о клетки паркета. Казалось, она прислушивалась к далекой упругой мелодии.

— Гуго, Абрам девчонку завел, — сказала она, входя в кабинет. Гуго не шевельнулся. Он грузно сидел за столом и курил. Дым висел, не растворяясь вокруг его головы.

— Ты — страшная сволочь. Ты — последний человек, Гуго, — шептала Наташа, улаживаясь на ковер. Она откинулась на спину и вытянулась во весь рост, как большая картонная кукла. Подложив под голову руки. И, выбившись из рукавов, блеснули острые желтые локти. Издали заколотил молоток. Это Абрам, наконец, добрался со стулом до облюбованной стенки. Поднявшись на стул, он вбивал в обои плакаты. Ирина подавала ему взятые в пригоршню гвозди.

ГЛАВА ВТОРАЯ

1

«Вера Георгиевна вышла под утро. Она прощалась со мной несколько раз, ворочалась и снова прощалась, целуя мне руки. Мне хотелось прогнать ее вон. Грубо выругать. Я б ударил ее, чтоб доказать, что я понимаю, как она торжествует в своей торопливой приниженности. Утро противно белело во всех пузырьках на окне. Пузырьки казались глазами бельмистыми, вытаращенными. Распяленное медицинское кресло топорщилось из-за ширмы. Я был сыт отвращением желудочным, непрожеванным. Так ли любятся люди? Неужели же так? Голова холодна и пуста. В нее входит с режущей четкостью вся обстановка, стулья, чернильница, стол. Халат, висящий в углу, как пустая перчатка с чьей-то длинной и вялой руки. Костяные пуговицы на нем с проколами посредине. Даже эти глупые пуговицы. Для чего мне надо их помнить? Голова отдается в наем. Впечатления, как постояльцы. Одинокое действует тело. Выискивает положения, вздрагивает, сокращается. Безголовое тело, сточный жолоб дымящейся чувственности. Неужели же так происходит любовь?

Я сижу на том же диване. Он тепел. Будто мы наделили его частью наших желаний, полуживотную, смутную жизнь. Будто наши ночные поступки, превращенные в запах и память, испаряются от простыни. Я вскочил и причесываюсь перед зеркалом. Руки мелко дрожат. Я хотел бы позвать сюда доктора и Станислава, крикнуть им, что я спал с их общей женой. Но, пожалуй, они не удивятся, и я напрасно волнуюсь. Что я знаю о женщинах? Да, они бродили в моем воображении царственные и горделивые. Ясные, как драгоценные камни. Или дружественными спутницами, озаряющими пути. Но все Это вздор. Вера Георгиевна, я вас не забуду. Вы понизили мое представление о подруге. Вы понизили и меня. Я сам унизил себя. Потому что и я оказался таким же точь в точь, словно для вас отлитый по мерке. Вся жизнь мне сегодня один безголовый назойливый пол. И следует, верно, смириться. Почему же я оскорблен? Почему мне так скучно?

Я прокрался в переднюю. И, застегивая пальто, ненавижу вешалку с шубами. Как они почтенно, плотно висят, прижавшись одна к другой меховыми плечами. Какое важное самодовольство в их лживом соседстве. Скользкий котик Веры Георгиевны, рыжеватый бобер Станислава, докторский кольцеватый каракуль. Вся квартира втирает очки и прячется от разоблачений.

Я спускаюсь по лестнице опустошенной, спящей вразвалку. Пролеты дремлют, схватившись во сне друг за друга. Двери рекомендуются, нацепив на себя металлические дощечки. Адвокаты, зубные врачи, преподаватели му-

зыки. Двери кичатся профессиями. Я, вспоровший тело одной из квартир, запустивший руки во внутренности, знаю, как дышат, обменивают вещества и все остальные. Меня не обманешь, Мне знакома такая порода квартир. Стены разъезжаются как на шарнирах. Я чувствую запах наспанных комнат. Вижу отекающие лица, затолканные в подушки, комья слежавшихся волос, задранные носы, рты с распавшимися челюстями. Руки, вцепившиеся в одеяла. Ноги, бессильно и дрябленно разъехавшиеся. Храп клокочет в ноздрях. Храп ступенчат, ветвист и зловещ. Я вижу женщин тяжелоногих, с животами, словно из мокрого теста. Груды, вдавившиеся в простыни. Жировые пласты на плечах и мягкие спины. Всю неприглядность поз, все убожество положений. В черепных коробках серый студень мозгов выделяет беззвучные сны. Я различаю окраску сновидений, невесомую, тускло шевелящуюся материю забвения. Образы рассасываются тишиной и снова неотчетливо брезжут, составленные из колеблющейся пустоты. Желания крадущиеся и поспешные, страсти, выпущенные на волю, — все это висит, расчленяется, делится и снова сплющивается в парообразные грозди. Мне становится не по себе. Их сны залепляют мне зрение. Почему не приходит швейцар? Я звоню без конца. Металлический звук иглой проходит сквозь мысли. Двери накрепко заперты. Звонок вопит за меня. Откройте! Я сажусь на холодные ребра ступеней».

2

Даже рассвет, расправившийся с ночью внезапно и беспощадно, прозрачным укусом отмывший последние пятна сумрака на стеклах, показался Алексею очередной причудой Хлебникова. В серых холстинах зданий, еще сырых, но вывешенных для просушки, как грубоотканые кухонные полотенца, и, как полотенца, залатанные окнами, заштопанные криво подъездами. Алексей затруднился узнать проезд Страстного бульвара. Он перешел в комнату Хлебникова, когда Вера Георгиевна, пресытившись недоумениями и томи почти девичьими сожалениями о себе самой, которые молодили ее в присутствии большеглазого сутулого человека, наконец отпустила обоих на территорию лечебницы. Алексей опирался о подоконник. Полотнища зданий неясно шевелились, раздуваемые утренняя ветром. Хлебников обдергивал одеяло, присев на кровати, гладил и расправлял войлочные складки. Он нацелился взглядом на петушиный гребень красной мясистой крыши со вниманием летчика или машиниста, ведущего поезд. Несомненно от него зависело распределение перспектив и планировка зари, и сегодня ему было поручено подготовить разжигание солнца. Так решал Алексей, и он не ошибся. Он не ошибся и в том, что Хлебников ничем не может помочь ему в его

скороспелых намерениях. Хлебников двигался в замыслах, преодолевающих сегодняшний день, убегающих в столь отдаленным округлым горизонтом лежащее завтра, что Алексей терял направление замыслов Хлебникова. Так исчезают из глаз телеграфные столбы, входящие в степь, и не верится в материальность проволок между ними. Теперь же Хлебников был беззащитен, и подобная беззащитность представлялась одним из условий подлинной смелости, изменяющей связи вещей. Его деятельность по устройству рассвета обнаруживалась во всем его облике с такой обнаженностью, что Алексей отводил глаза в сторону. Тут не могло быть и речи о половинчатом соглашении. Один поворот, один правильный шаг, и область чудес, примыкающих к жизни столь близко, что мы задеваем ее плечом и касаемся локтем, распадется простым и понятным пейзажем. Стоит ли удивляться, что она, например, состоит из букв. Каждое А образует равнину, залитую солнцем. Е — пожалуй, это река. О — неподвижное, звонкое озеро. Минералы согласных гранятся резкими кряжами. Впрочем, те, что помягче, — Т, К и П — рощи кленов, дубов и берез. Хлебников шел по берегу Е. Ч — буква пустоты, охваченной формой снаружи (череп, чулок). Ч — челнок, выдолбленный из сердцевины клена, влажно блестел в камышах. В руках Хлебникова острога — знак избранника и зверолова. Его льняная рубашка синела, как воздух. Сом тяжело плеснул и, взбаламутив реку, опустился на дно. На душистой коре березы свежо вырезаны ножом имена председателей. Председатели земного шара подплывают в челнах. Каждый челн опирается днищем о свое отражение. Влажный песок разминается ступнями пришельцев. Люди съехались издалека. Есть славянские светлые лица. Вот японец, весь будто из полированного дерева. Даже негр поднял руку, словно в тонкой черной перчатке, выражая приветствие. О беззащитность искусства! В челнах хранятся товары. Витые рисунки индийского шелка, гремящие медные чаши, раскрашенные барабаны с натянутой бычьей кожей, деревянные черные идолы, лоснящиеся и пузатые. Один из гостей вынимает скифских оленей, отлитых из чистого золота. Олени стремятся вперед, расстилая рога вдоль спины. О беззащитность искусства! Воздух пахнет дальним предательством. Словно тянет дымком, и окрест у края степи горят ковыли. Заяц серым мешочком скакнул из травы и, шевельнув усами, кинулся прочь. Председатели торопятся ехать. Их челны пропадают, достигнув середины реки, будто разом растворяются в воздухе. И Хлебников остается один. Степи горят. Дым раскинул шатры. За шатрами прыгают выстрелы. Красные входят в Киев. Махно громыкает на своих сумасшедших тачанках. Тут не может быть половинчатых соглашений. Хлебников остается один. Рассвет читает бумаги. Это напоминает обыск. Вдоль мелких листочков — заячьи перепутанные следки. Буковки, рожки, барашки. Тут муравьиные острые колонки. Тут петельки лапок, тут сухие чешуйки, крыльца стрекоз, сухожилия кузнечиков. На кусочках бумаги — имена председателей. Пред-

седатели предадут. Хлебников одним прыжком вытягивается на постели. Ему некогда раздеваться. Он сделал все, что мог. Рассвет образован по его заданиям, хотя, возможно, он будет враждебен к своему основателю. Ну, так что ж? Хлебников скоро уедет. Страна букв гостеприимно раскрыта.

— Вам не спится, Виктор Владимирович? — говорит Алексей, отходя от окна.

— Нет, спится. — И Хлебников натягивает на лицо уголок одеяла.

3

Утро выкатилось дребезжа, как ветхий трамвай. Люди сновали, сохраняя видимость оживления. В покинутых саботирующими служащими учреждениях с трудом устанавливался порядок. Бульвары еще бастовали. Ветер мел подсолнечную шелуху. Цены росли. В витринах гастрономических разлагались картофельные кулебяки. Москва источена слухами, как древесина жучками. Во флигельках переулков флюсами нарывали поспешные заговоры. То, после столкнется, как два встречных климата, на всем охвате страны, сейчас различием мнений юлило по улицам. Город стянут петлей ожиданий. Каких и чего? Попробуй их изучить. Каждый ответчик покажет по-разному. Людям тесно, как пулям в стволах винтовок. Им пора лететь по кривой в поисках встречного тела. Самара грохнет сигнальной пушкой. Может, это случится завтра. Но пока никто не помнит Самары.

И, однако, утрами варились чай. Они имели леденцовый привкус от липнущих конфетных стекляшек, закладываемых за щеку. Хлебников вышел к чаю взлохмаченный и молчаливый. Он сегодня уходил из Москвы. Алексей снабдил его адресом Золотницкого в Нижнем. Хлебников полагал по волжским путям добраться до Астрахани.

Волосы бурей клубились вокруг его головы. Он покорно нагнул лицо, и широкой дамской гребенкой Вера Георгиевна приводила бурю в порядок. Глаза Хлебникова удивленно паслись на склоне синего неба, выгнутого за окном. Он чуждался Веры Георгиевны, хотя подчинялся хозяйским причудам. Пусть касается гребнем волос. Но попытка расправить мысли... из этого дома пора выселяться.

— Велимир, сколько времени продержатся большевики?

На вопрос Веры Георгиевны Хлебников передернул плечом. Он сидел на краешке стула. Его хозяйство — складки столетий. Век — морщинка на лице истории. От каменных скифских скуластых баб, от скрипа татарских телег до городов, парящих по воздуху... Время — пучок лучей. Нужно стекло особенной прогнутости. Перехватить лучи, пустить в обратную сторону или направить вперед, изменяя число колебаний. Мысли Хлебникова вытяну-

лись в длину.

— Большевики? Не знаю.

Пора уезжать из этого дома. Шпалы сразбега бросаются под паровозные груди. Реки держат в ладонях веретена пароходов. Полотенца дорог на прилавках полей. На шею заплечный солдатский мешок с крошевом бумажных листков. Мешок, как зерном, набитый словами. Слова перемешаны с табачной пылью, с кусками черного хлеба. Несколько камешков рафинада. И чурочка-кукла кустарной резьбы.

Хлебников идет, зарываясь в Петровку, ссутуленный, словно стесняясь высокого роста. В рыжевато-пальто с ободранными карманами. Он уже перечеркнут выскакивающими навстречу прохожими, и Алексей, простившись, теряет его из вида. Театральная площадь окружает поэта огромным бассейном. Зачатки грядущих культур рассованы у него по карманам. Республика молодежи качается над головой, как детский резиновый шар. Шар, оборвавшись, летит над домами. Солнце золотит его синюю оболочку. Алексей стоит среди улицы и, задрав голову, смотрит на шар. Шар закатывается, как планета, за серыми зубьями крыш.

4

Это напоминало спектакль несомненно любительский, как по размеру претензий и самолюбий участников, так и по случайности их отбора. Реплики подавались повышенными голосами. В передней бутафорски подчеркнуто ставились к стенке отдыхать гулкие стволы винтовок. Как железные пальцы, патроны по креслам и на подоконниках. Ручные гранаты соседнили с бронзою пепельниц. И подчас подъезд стерег человек — уже совершенно из Шиллера — в белой рубашке с черепом и крестом берцовых костей, намалеванным на груди.

Заходит солдат-фронтовик в такой особняк, богатый, как церковь. На перепутьи солдат. Деревня далеко. Не уходились обиды. Кровь вызывает наружу скрытую кровь. Есть еще, кого тронуть штыком. Диковато солдату в рыхлых этих коврах, в невнятных пятнах картин. Ишь, как жили! Тут все общее, уверяют солдата. Общее или хозяйское, нам все одинаково. Поживу, почему не пожить до поры. И раскатывает шинель на полу рядом с пышным диваном. Спит солдат; а над крышей черное знамя. Анархия.

Гуго ездит ночами в машине, притушив фонари. Откуда он взялся, из актеров, лакеев одесской кофейной? Кем он был, офицером, бандитом? Вождь не любил разговаривать. У него ручной чемодан крокодиловой кожи, в котором серьги, браслеты и кольца. Где он набрал их? Вождь не любил разговоров. Актриса Наташа ходит к нему ночевать. В рваных чулках и в легчай-

шем шелковом платье. Вечно пахнувшая эфиром, вечно пьяная чем-то, с грудным вздыхающим голосом.

И Абрам с опаской следит за ее непрочной походкой. У Абрама много забот. Он заведует библиотекой. Переносный тюк брошюр и листовок. Он читает вслух вечерами гостям, забредшим с улицы, мастеровым, интеллигентам, учащимся. Картавым комнатным голосом живописует картины нового мира знойные и томительные, как песня песней.

Наспех простившись о Хлебниковым, Алексей вбежал в особняк. С поспешностью человека, спасающего в огне остатки имущества. Ему представлялось, Ирина горела внутри, как горит драгоценные письма. Алексею попала Наташа в широком цветном халате, цепляющемся за ее вялые ноги. Наташа брела с опущенными плечами и облизывала остреньким язычком пересохшие губы. Неподколотые волосы свертками шерсти налипли на шее.

— Простите, вы не видали товарища... — Алексей запнулся, не зная, удобно ли назвать Иренино имя. Наташа глянула зелеными, лишенными мыслей глазами. Но тут голос Ирины, укрытый где-то поблизости, повернул Алексея за плечи. Алексей кинулся в поисках голоса.

Он увидел Ирину, стоящую на коленях. Ее спина напряглась, и узел волос, продолжая изогнутость тела, входил в общую позу внимания.

Она разделяла кистью картон, белевший перед ней на паркете, зачерпывая акварель из жестяной коробки. Услышав шаги, Ирина через плечо, и не вставая с колен, оглянулась. В лице была занятость, но сразу оно осветилось веселыми искрами.

— Алеша, — закричала она, опуская кисть в банку с мутной водой, — поглядите, славно выходит!

И тут же Абрам, заткнутый лицом, грудью, руками, в шкаф, куда он вдавливал книги, повернулся, сыпя брошюры, зажатые под локтями.

Если б Алексей наткнулся на Ирину, стоящую под прицелом винтовок, это б меньше его поразило, чем то, что вот она на коленях, с довольством девочки, клеющей на елку флажки, самозабвенно разводит свои акварели, будто все вокруг не всерьез, или слишком всерьез, как всерьез для ребенка перипетии придуманных игр. И вовсе она не нуждалась в спасителе. Предложение помощи было б смешным. Алексей обратился к плакату, как бы собирая в его картонных границах свое разбегающееся смущение. Что ответить Ирине на ее спокойствие, доверчивое и полноценное? Какими словами откликнуться на желтое неомраченное солнце, летевшее над кубистическим городом? Указывая друг другу на небо, люди, частью еще незакрашенные, частью только намеченные карандашом, подымали плоские руки. В центре мокрые пятна неразбавленной зелени. Сквер. И красные капли цветов на насыпях клумб. Клумбы похожи на карусели. Город завертывался вокруг сквера, как пояс, плакат стремился к вращению. Солнце прозрачно, словно стеклянная лупа. Оно — отверстие в небе, сквозь которое тянуло про-

никнуть наружу и заходить, как по крыше, попирая изнанку вселенной.

— Мы повесим его в подъезде при входе в колонию. — Ирина склонила голову на бок, прищурилась и, выпрямившись на коленях, опять взялась за кисть. — Как я все же слабо пишу. Мне хотелось, чтоб было похоже на будущее. И кисть прыгала, оставляя рябенький след. Абрам опустил на корточки рядом.

— Даже воздух изменится, — сказал он протяжно. — Воздух станет другим. Он не будет рвать легкие. Но я человек неначитанный. Мне трудно выразить мысли.

5

И однако, подняв Ирину за руки с колен и отведи ее в сторону, Алексей пытался ее убедить. Он пытался напомнить ей, что он существует и существует их дружба, принадлежащая только им и которой он не намерен делиться. И вообще, если трезво взглянуть, зачем ей здесь оставаться? Что у ней общего с поступками этих людей? То, что они окружили ее, — чистый случай. Как во время крушения поезда из разгромленных вагонов выходишь в неизвестную местность, которая при других обстоятельствах нырнула бы мимо окна, почти не коснувшись сетчатки глаза, Алексей, говоря, чувствовал сам, что законы крушения поезда становятся нормами существования. И потому у Ирины нечего спрашивать.

— Но почему же, — спрашивал он, — вы останетесь именно тут? Почему не у меня? Разве мало просто знакомых? А разве нельзя жить вовсе одной? — Он был возмущен и озлоблен. И, наконец, заметил, что Ирина просто молчит, его же фразы вращаются в пустоте. Будто крылья мельницы в расходящемся воздухе. Алексей остановился. Доводы не задевали Ирину. Уровень тишины, окружавший ее, не поднялся ни на вершок.

— Алеша, вы мне сейчас напомнили дядю. Помните тот вечер, когда вы ходили за доктором. Он мне предложил уезжать вместе с ним. Он кричал на меня почти так же, как вы. А до этого Марков. Ну, с тем было проще. Он назвал меня, в сущности, дурой, таков был смысл его слов. Сказал, что я просто теряю время. Нужно бросить дом и уйти на завод. Вероятно, у меня внешность такая, что каждый подходит ко мне с поучением.

Алексей взмахнул руками, готовый на возражения.

— Нет, подождите. Я не поехала с дядей, так как мне не от кого скрываться. Я счастлива, что отобрали дом. Теперь мне нечего охранять. Я не пошла на работу, так как думала еще поучиться. Впрочем, вы это знаете. А главное, я не хочу, чтоб решали другие. Я сыта чужими словами. У меня сейчас нет ни планов, ни слов. Может, я вправду глупа. Иногда мне ка-

жется, время больше того, что мы о нем думаем. Пока я не в силах в нем разобраться и говорю это прямо. Здесь же от меня ничего не ждут. Меня не спросили, откуда я появилась. Вот предложили помочь с плакатами. Это я сделать могу. Я останусь здесь до тех пор, пока не увижу сама, где мое постоянное место.

Алексея охватило оцепенение, с которым нельзя было сладить. Он следил за словами Ирины, как за походкой человека, уходящего вдаль. Следовало догнать, остановить, заставить ее оглянуться.

— Но, я... пусть все это верно. Вы ничего не сказали мне, для меня, о нас двоих вместе. Разве наше знакомство такой пустяк, и оно для вас ничего?

Ирина взяла его за руку и настойчиво притянула к себе. Алексей наклонился к ее лицу так близко, что оно заполнило все его зрение. Ее глаза столь обыкновенного цвета, темнокоричневые, с подвижными кружками зрачков были так вняты в их пристальной нежности, что Алексей почувствовал, вся обида его тает глубоко в груди.

— Никогда, понимаете, никогда, Алеша, что бы ни было с нами, не думайте, что я вас обманывала. — Голос Ирины, как воздух, обнял Алексея. — Только я вас прошу, не за себя, ради нашего общего, не торопите меня. Мы будем беречь друг друга. Поберегите же и вы меня, хотя бы для себя самого. Мне нужно многое вспомнить, многое решить. Я тогда стану другой. Вы меня совсем не узнаете.

И странное облегчение, горестное, в котором почему-то нет места надеждам, чем-то напоминающее облегчение в детстве после долгого тщетного крика, когда ничего и поделать нельзя, а все-таки хорошо, подавляющее все мысли и чувства облегчение наполнило Алексея.

Пароход стоял, укутанный в ночь по самое горло. Зеленый и красный огни лежали с двух боков капитанской палубы, как два драгоценные камня. Это были тяжелые тусклые камни не мерцающие, не изменявшие силы свечения. От них не расходились лучи, только спереди у самых их оснований стояли короткие блеклые лужи. Красная и зеленоватая. Алексей спал в каюте. Громя сновидения, иногда рокотала железом какая-то цепь. Якорная или рулевая. Иногда начинали тукать шаги. Кто-то шел над потолком, и стенки каюты дрожали. Спросонок думалось, пароход отъезжает. Нет, он сидел, выдавив яму в воде, закопавшись днищем в течение. Маяк на косе накрывали черной барашковой шапкой. Он сдвигал ее, и, едва успевал оглянуться, его накрывали опять. Кто-то шутил с маяком. Огонек пытался спрыгнуть с косы. Но шапку тотчас насовывали.

Алексей спал в каюте. Фонарь, прибитый на пристани, следил за скачками товарища. Тот, что на пристани, недвижно стоял на медных лучах. Лучи были вклепаны в стены, ввинчены в пол. Ночь вытащила весь набор

фонарей из-за пазухи, и они состязались в степени блеска. Звезды путались между ними, подавая советы. Сновидения, разогнанные грохотом цепи, смыкались снова, как пар, разделенный взмахом руки. Алексей лежал в сновидениях, в середине огромного пузыря, отливающего слабыми красками. Ирина, утраченная, глядела в его глаза. Хлебников сидел за столом, вырезая куколки-чурочки. Шабельский предсказывал конец мира. Алексей позабыл, что ехать дальше нельзя. Время загородило Волгу полосатым шлагбаумом. Цепь колотилась о ребра каюты. Алексей просыпался.

ГЛАВА ТРЕТЬЯ

1

Последние недели оказались устойчивыми. Они вытянулись, как туго натянутый мост. Время словно стояло на месте. Алексея перестало удивлять, что Ирина осталась в колонии. К имуществу города присоединилась весна.

Весна забрела, разленилась, осталась. Вода застеклила аллеи бульваров. У Пушкина, где подсыхало скорее, засновали детские стаи. Скамейки желтовато поблескивали. Дети карабкались по ступеням постамента. Камень уже начинал нежно, чуть ощутимо теплеть. И складки Пушкинского костюма приобретали золотистую розовость. Глубокую розовость освещенного чугуна, пыльную розовость черного винограда в яркий и южный день. И будто из блеклого шелка висели напротив стены Страстного.

Обнадеженная, обласканная светом Москва. Город обнаруживал свою тайную, женственную прелесть. Река трепетала внизу, чешуйчатая, говорливая. Если взглянуть в землю Замоскворецкого берега, можно представить, что берег еще не застроен. Земля, не обитая камнем, казалась свидетельством прошлого. Глинистая размытая земля, истоптанная историей. Алексей прикоснулся к Москве, ничего от нее не желая. Он ничего не желал от Ирины. Новое чувство, безкорыстное и безнадежное. Правда, ревность осталась, притихшая и бесполезная, лежащая, как земля под ногами. Но, ступая по ревности, как по земле, Алексей не видел ее. А главное, она была бесполезна. И ревновать уже поздно и разговаривать поздно. Все разрешится завтра. Но нет ничего дороже Ирины.

Ирина обосновалась в маленькой комнате наверху с низким сводчатым потолком, не имевшей специального назначения. Там валялись старые фотографии, стояли пустые посудные ящики. Туда ссылалась обветшавшая мебель и ломаные принадлежности хозяйства. Она отчистила и отмыла свое пристанище, придав ему вид каюты. Верхушки зеленеющих лип расхаживали за окном. Воробьи исчертили воздух быстрым чириканьем. Голуби царапали подоконник красными лапками. Птичья возня сопровождала мысли Ирины.

В колонии к Ирине привыкли. Она работала в библиотеке, мыла посуду, писала плакаты и лозунги. Возвратившись наверх, она запиралась на ключ. Иногда ей хотелось послать кому-то письмо, не то Алексею, не то самой себе. «Милая Ирина, — сочиняла она, — ты бы меня не узнала. У меня нет ничего, ни вещей, ни денег, ни времени. Я совершенно свободна. Я никому ничем не обязана. Но одной независимости мало. Я скоро уйду из этого дома. Мне ужасно хочется жить. Но что это собственно значит?»

Верхушки лип пересекали письмо. Ирина захлопнула раму окна и тихо спустилась по лестнице.

Внизу гремела военная жизнь. Товарищ Окунь, обтянутый патронташами, призывал продолжать наступление.

— Нас затают в хомут, — ворошил он речью собрание. Головы сидящих возбужденно раскачивались. Солдаты, рабочие, интеллигенты, преимущественно молодежь. Товарищ Окунь кричал, что затяжка вредна. — Мы начали важное дело. Вооружайтесь, товарищи! Советы торгуются с немцами. Контр-революция тем временем крепнет. Немедленная общность имущества! Смерть контр-революции! К ответу советчиков!

Зал горел, подожженный во всех направлениях.

— Все принадлежит вам! — подливал керосин агитатор.

Вам, вам, вам! — как чугунные ядра, катилось по комнате. И тогда подымался Абрам, кособочась, хрипя, обличая. Весь, как скрипка полная горести.

— Если мы не наступим, наступят на нас. Мы умрем, нас затают в мешок.

Толпа колыхалась в стенах, как вода, избитая веслами. Гуто укреплялся над кафедрой. Он отрывисто хлопал палками слов.

— Если есть красная гвардия, должна быть черная гвардия.

— Да здравствует черная гвардия! — грохотало по залу.

В зале много знакомых. Там и сям посетители пятниц. Вот Шабельский, закинув ногу на ногу, развалился на стуле. Он едко оценивал зрелище, озирая собрание, будто некий клинический случай. — Как несложно увлечь людей. Лесть, разбавленные обещания, столовая ложка восторга. А если на-

шпиговать их идеей крестовых походов? Чем-нибудь в этом роде? Пойдут? Полагаю, пойдут. Или вдруг указать на предателя. Ну, хотя бы внушить, что Абрам бывший охранник... Пожалуй, Абрама порвут на куски. Или представить, ну, анархисты, свобода личности и всякие побрякушки, а я поднимаюсь и заявляю, что не согласен. Хотел бы я посмотреть... Разумеется, всех их сотрут в порошок. Только с какой стороны? Справа, слева? Собственно, в этом вопрос.

Шток с Верой Георгиевной. Она ему нравилась. Милая, добрая. Только б лучше сидеть у нее. Здесь неуютно. Бродить в сонатах, как в готическом городе. В зале слишком шумят. И что ее манит сюда?

Вера Георгиевна чувствовала, что у нее полыхает лицо и совсем покраснелись уши.

«Вдруг начнется сразу стрельба, — занывало в груди. Но опасность ее волновала. Фразы Гуго ее будоражили, как тяжелые ласки любовника... Бывают мрачные ласки... — О чем я собственно думаю? Вот уши горят. Неприятно. Как у девчонки».

А тут на эстраду в соломенном черном цилиндрике-шляпке порхнула Наташа. Она роняла ладони вперед, будто два измятых цветка.

— Женщины революции! — играла она сиповатым контральто. — Вы должны украсить новую жизнь. Я призываю вас! Здесь наши братья, наши мужья!

Гуго сгреб ее в руки и кинул стоящим у кафедры. Наташа метнулась, как брошенный факел. Ее подхватили и обняли. Она целовала кого-то. И стены и потолок швырялись аплодисментами.

Утомленная наигранностью, взвинченностью собрания, Ирина оставила митинг. Комнаты пустовали. Все их оживление, будто по наклонным каналам, отлилось в бассейн клокотавшего зала. Их незаполненность не была горделивой и сосредоточенной, как при жизни владельца. Сейчас она стала гостиничной пустотой номеров, оставленных обитателями и не прибранных для очередных постояльцев. Кое-где содраны занавеси, и окна, сразу удлинившись, разломали стены темными впадинами. Ирина ступила в подушку, забытую на ковре. По шее полз холодок. Где-то разбито стекло. Ирина не протестовала против развала. Он был другой стороной порядка, который недавно кичился здесь. Она отбросила и то, и другое, оба эти вида обстановки за их незначительностью. Однако ей стало не по себе. Покорная опустошенность дома могла стать ее собственным состоянием. Комнаты не сопротивлялись. Их угловатые полости вмещали любых обитателей. Ее же особенностью было не обособлять себя от тех, с кем ее сводила судьба. Она слишком старалась перенестись в их кругозор. У нее образовывалось общее со многими обстоятельствами и людьми. И те и другие вели на нее наступления.

— Так меня просто раздавят, — сказала Ирина. — Я навожу мосты меж-

ду разными берегами. Это неверно. Это нельзя.

Из-за отворенной двери навстречу тянулся свет. Здесь была библиотека. Склады спрессованных слов в переплетах. Незвестный солдат в гимнастерке без пояса сидел за столом карельской березы. Он выпятил пухлые губы под хилой шерстью усов. На вощенной поверхности в темных рябинах пятен, на столе лежал английский замок. Металлический футлярчик развинчен, и солдат, подбирая штифты и винты, пытался собрать его заново. Покусанное оспой лицо вспотело от вдохновения, и, перехватив вдохновение, шевелившееся в глазах человека, Ирина улыбнулась, еще не зная, в чем дело.

— Что вы не на собрании? — спросила она.

— Да что там, одни разговоры. — Солдат поймал отверткой головку винта и вогнал его в нарезное гнездо. — Работа мне подвернулась. Я все думал, чего он не действует. А как вынул из двери, куда тебе. Вовсе запутался. Система совсем незнакомая.

— И все-таки вышло?

Лукавство и достоинство мастера, сменяя друг друга, прошли по лицу. Солдат понизил голос.

— Смотри. — Ключ, торчавший ребром в механизме, мягко сдвинул пружину.

— Я слесарь, — расхвастался важно солдат. — Я сколько замков починил. — И он, отдыхая на любимых словах, пустился в сведения о различиях скважин, замков и бородок. Слова были тверды, объемны. Они соответствовали предметам, с которыми связывались. Замок — это значит только замок. Ни больше, ни меньше. Солдат словно снимал каждое слово с гвоздя и, подержав, вешал обратно. — Соскучился без работы. Думал, отвык в окопах. Хотя и там бывало старался. И он извлек из кармана зажигалку, сработанную из патрона. Ирина взяла продолговатую медную вещь и вспомнила Алексея. Ей хотелось, чтобы он присутствовал здесь и, охватив рукой ее плечи, интересовался устройством замка. Ее наполнило всю ладное слово — устройство. Строй. Стройность. Противоположное развалу и его отрицающее. Хорошо бы купить зажигалку. Она улыбнулась, вспомнив, что деньги вышли совсем. Надо выпутываться. Ирина взглянула на обстоятельства просто, как, проходя, взглядывают на часы. Стрелки показывали нужду. Ирина почувствовала, что стоит перед прыжком.

3

Между тем заседание схлынуло. Последние группки посетителей разглядывали убранство и мебель, стараясь в каждом предмете отыскать свой-

ства анархии. Иные откровенно злобились, не в силах осмыслить ни с чем не сравнимый грабеж почтенного дома. Иных восхищала смелость захватчиков. Возможно, им тоже хотелось сбросить с плеч квартиры и семьи и хлебнуть безответственности крепкой, как неразбавленный спирт. Но и тех и других попросили убратся из дома.

Постоянные члены колонии собрались у Гуго. Ирина попала в разгар обсуждений. Табачный дым закладывал горло. Гуго оперся локтем о стол. Окунь скинул папаху. Бритая его голова отсвечивала, как жемчуг. Белесые глаза ползали по собравшимся.

— Товарищи, положение ясное. Мы не шутки затеяли, — говорил он тихо и хмуро. — Нужно скинуть кремлевцев. В коммунах вдоволь оружия. Скоро в Московском совете соберется верхушка. Мы эту верхушку снимем. — Он вертел папаху в руках и покусывал губы. Тишина стала глубокой и трудной. Она лежала ямой, вырытой под ногами.

— Итак, предложение, — лениво вырубил Гуго, — взорвать заседание и занять Моссовет. Вопрос обсуждался достаточно.

И, видя, что собрание все же молчит деревянной, не расколотой на отдельные мнения массой, продолжил:

— Значит, проголосуем. Для порядка. Кто за?

Ирина видела, как поползли кверху руки. Ребра ладоней разгородили пространство. Руки встали негнущимся частокотом. Будто ряд восклицательных знаков. Молчаливые восклицания их окружили Ирину. Ирина чувствует, что ее рука онемела и, нет, не сдвинется с места. Согласие с этими людьми теперь не имеет значения. Их руки выпрямились против Ирины. Их ладони вспороли согласие, как табачную пелену. И вот руки снова рушатся вниз.

Дальше тот же грузно ступающий голос.

— Кто против? — Гуго спрашивает, и это относится к ней.

Тут конец независимости, прекращение того, что Ирина называла данным расплывчатым словом. Несмотря на своеволие, с каким она подняла руку. Выбирать ей все же пришлось. Она не осталась за пределами голосования. Она связана с остальными самой одинаковостью жеста, самой формой движения, тем же сокращением мышц. Пребывание Ирины в комнате вынудило ее в первом случае прижать ладонь к колену, во втором занести ее вверх. Свобода отсутствовала. Независимо от содержания решения приходилось решать. И решать нечто, выходящее за рубеж ее существа. Она не знала тогда, что все время находится в сфере ответственности. За поступки человеческих коллективов. Что и возражающий жест ей все же навязан и есть жест согласия. На участие, пусть отрицательное, в споре мыслей и классом.

И все же она почувствовала облегчение. Рука прогнута в локте и висит тоненьким полукругом. В кончиках пальцев ощущалось покалывание. Са-

мо положение руки заставило Ирину развести плечи и свободно вздохнуть. Но вот началось оборачивание.

До сих пор Ирина сидела, заставленная затылками, спинами, шеями. Сейчас все мгновенно обзавелись лицами. Каждый достал по лицу. Может, некоторые имели в запасе несколько лиц, таким количеством лбов, щек, глаз окружила Ирину комната. Ирина наклонила голову, не справляясь с наступлением лиц и чувствуя руку главной частью своего существа. Взгляды расположились на всем протяжении руки. Под грузом взглядов ладонь соскользнула вниз. Это было как жест дирижера. Собрание заговорило. Ирина схватилась за стул и уперлась ногами в пол. Будто стул-то и был ее обособленным мнением. Так дети тянут игрушку к себе, сознавая свою беззащитность. Но уже над всем растянулся голос Абрама.

Абрам вытягивал фразы из горла, как длинные ленты. Ему трудно останавливаться. Личная обида, собственное разочарование слышалось в его оскорбленной речи,

— И зачем же вы с нами все время, как лучший товарищ, и мы считали вас другом, а вы теперь против нашего дела, и, может, теперь остается идти доносить?

— Да послушайте, Абрам, дорогой! — закричала Ирина. Она поднялась со стула, вырываясь из лиц, прижавших со к стопе. — Я сама ничего не боюсь. Я согласна на любое поручение. — Ей стало ясно, что она борется не за себя, что ее борьба соприкасается с революцией. — Но взрывать ни в чем неповинных людей — бессмыслица, низкий поступок! Ничем не оправданный!

Виновный, невинный — язык исчезнувших рас, обозначение древних состояний природы. Но как объяснить?

— Это вредно для нас же самих.

Гомон поднялся сразу. Казалось, комнату волоком тащат по мостовой. Она подпрыгивает на булыжниках.

— Предательство! Позор! Это и нашим, и вашим! Трусость!

— Я повторяю — я пойду на любую опасность. Но в терроре я не участвую.

— Вон!

И когда Ирина повернулась, пытаясь найти пропавшие двери, ее настиг Гуго и взял за плечо.

— Нет, Бортникова, так не годится. Так нельзя уходить. Мы дадим тебе особое поручение. — Они вышли в соседнюю комнату. — Это глупости, Бортникова. Ты мне ребят не разваливай.

— Вы губите сами себя!

— Я с тобой обсуждать не желаю. Не хочешь, не ввязывайся. Но в опасный момент не бегут.

— Дело тут не в опасности...

- Значит, согласна исполнить. А потом делай, как знаешь.
- Хорошо.

4

Алексей всю дорогу возился со звуками. Такие дни выпадают. И в подобные дни каждый трамвай вылетает оркестром, поставленным на колеса. Он наполнен медью и серебром. Улицы громыхают, как магазины с посудой. И, покрывая все, по серому скату Тверской (о, эта узкая улица, вытянутая, как перчатка), где-то на уровне вторых этажей, отброшенный автомобилем, порхает возглас рожка.

На площади перед Советом с подогнутыми ногами лежали чугунные трупы солдат. Конь из-под Скобелева задрал все четыре копыта. Дети трогали мертвый мундир, огромные пуговицы, черные складки лица. Памятник перебирался в область воспоминаний.

С магазинов снимали вывески. Железные доски тарахтели, садясь на тротуар. Слова, разорванные пополам, желтые литеры, лишённые смысла. Шины шуршали, как шелк, слова прохожих перекликались друг с другом, небо тянулось сплошной теноровой нотой. Весна преломляла звуки, как стеклянная призма.

Около дома Ирины медленно ехал извозчик. Постукивание колес обрывистое и жестковатое, в котором вескими каплями удары копыт, было последним остатком концерта, прослушанного Алексеем в пути. Дальше переходом в декламацию следовал двор, по слогам отразивший походку вошедшего. В зале по легкой свежести воздуха и по тому, что и здесь он застал те же стуки пролетки, ничем не приглушенные, хотя и успевшие уйти на другой коней переулка, Алексей понял, что окна открыты.

Окна открыты настежь. О подоконники опирается солнце.

Абрам косым взглядом встретил появление Алексея и поспешно нырнул в продолжавшийся спор. Шабельский чрезвычайно удобно раскинулся в кресле. Невозмутимая устойчивость его положения давала ему преимущество перед стоящим Абрамом. Он подвигивал Абрама, как музыкант колки инструмента, и извлекал из него возмущение. Шабельский кивнул Алексею, приглашая его в сообщники. Абрам задыхался, пытаясь сказать несколько слов одновременно.

— Религия, — выкрикивал он, в последний раз подкрепленный уже сходящей на шорох пролеткой. — Ваша религия — цепь! Я это знаю. Меня учили Талмуду. Это сажают на цепь человека, чтоб он ни туда, ни сюда!

— Человек любит цепь, — потешался Шабельский. — Свобода — слово пустое, чистое. Ничего-то в нем нет. В свободе можно пожить две недельки. А

потом станет скучно. Тогда и начнешь перетаскивать в свободу всю свою мебель. Сегодня семью перетащишь, завтра парочку книг. К порядку потянет. А там и богу место найдется. И отлично, и славно, товарищ Абрам.

— Вы плюете, вы просто плюете в лицо человеку! Вы пачкаете человека такими словами. И это от страха. Вы просто боитесь. Анархия выметет подобных людей!

— Бояться мне собственно нечего, — развеселился Шабельский. — А ваша анархия — тоже религия. Вроде веры и загробную жизнь. Только религия бесхозяйственная. А у меня домовитая вера. В ней каждый гвоздь найдет себе место. И люди вроде гвоздей. Его молоточком по шляпке, он в доску войдет. И скрепит. В жизни нужны хорошие гвозди.

— Я бы вас расстрелял!

— Веский довод. Вот не знаю, как мне поступить. Католицизм несомненно одобрил бы стрельбу во врагов. В православии по этому поводу глухо. Но не думаешь ли, Алеша, что нам следует у католиков поучиться?

— Да перестань, — раздражаясь, сказал Алексей. — Ну, зачем ты ходишь сюда?

— От безделья, Алеша. Жена уехала к тестю рожать. Я тоже, верно, уеду. В общем, все мы бездельники. Вот и ты появился с утра.

— Я по делу. — И дружба с Ириной уместилась в это безличное слово, озарив его и расширив до бесконечности. И опять Алексей увидел раскрытые окна. То, что переулок отмытым добела камнем, напористым воздухом, бликами солнца и даже тончайшим и дальним запахом листьев перебро- сился в залу, показалось ему непомерно значительным. И дню, что господ- ствовал в окнах и был лишь частью огромного самовластного дня, стоя- щего над городами и землями, Алексей мог предъявить в свое оправдание только Ирину.

Ирина в пальто, с ручным саквояжем, входит, кивнув Алексею. Она протянула руку Абраму. Абрам сморщился от волнения.

— Желаю удачи. Вы, главное, будьте спокойны. Я вчера не хотел вас обидеть, хотя вы, конечно, не правы. Я бы вам посоветовал...

— Не надо, Абрам. До свиданья.

Алексею казалось, что разговор происходит на незнакомом наречии. Различая слога, он не улавливал смысла.

— Алеша, я вас поджидала. Мы пойдем вместе.

— Да, да, да, — сказал Алексей, принимаясь прощаться с Шабельским. Он догнал Ирину в подъезде. Она шла, не оглядываясь. Саквояж желтой кожи плыл рядом с ней.

— Дело в том, что я уезжаю, — обернулась Ирина.

— Как? Куда? Что случилось?

Переулок, до конца раскрутившись, иссяк. Они сбросили его с плеч, как одежду.

— Вот, Алеша, — говорила Ирина, взяв его за руку.
Раскрылся бульвар. Бледно-зеленые ветви. Трава росла на глазах.
— У меня поручение. Я должна отвести письма на юг. Мне поручила колония. Я надеюсь скоро вернуться.
Они обходили серенький прудик, наполненный облаками.
— Но зачем же вы взялись? При чем же тут вы?
— Нет, Алеша, послушайте. Я не могла согласиться на взрыв.
— Какой взрыв? — закричал Алексей.
— Разве можно так громко? — Ирина пошла совсем медленно. Бульвар укорачивался перед ними. Трамвай колыхался вдоль изгороди, завязанный в тени деревьев.
— Я не в праве вам говорить. Взрыв состоится, и я не могу помешать. Если б я совсем не знала о нем... Но оставаться и ждать. Тут какой-то глупейший узел. Я, очевидно, запуталась. Мне казалось, я ни в чем не замешана и могу стоять в стороне. Мы замешаны все уже тем, что живем в это время. А потом меня заподозрили в трусости. Я рассчитаюсь поездкой сполна. Я сдам им отчет и уйду.
— Куда?
— На работу. Попытаюсь на фабрику. Хотя бы уборщицей. Ведь мы ничего не знаем, Алеша. Живем совершенно во сне. И вдруг — пожалуйста, взрыв. Мы, спросонок, не знаем, что делать.
— Но это же чушь! Уголовный роман!
Простейший московский, в элементарных дорожках, бульвар. Общепонятное солнце ретиво сушит песок. Женщины с корзинками выходят из лавки.
— Ирина, оставьте эту затею!
— Сказать по правде, мне и самой немного смешно. Только смешное началось не сейчас. Пятницы тоже были чудачеством. Смешное в самых затеях союза, когда люди собрались как в трамвае. Трамвай остановился, рельсы разобраны или нехватка тока. И люди бегут в разные стороны, выворачивают камни из мостовой и швыряют друг в друга. Тут смешное становится страшным. А кстати вопрос, ваша республика, та, которую вы увидели во сне, тоже выступит с бомбами?
Ирина смеялась. Они подошли к остановке. Женщины с кулками удивлялись Иринину смеху. Ее веселость казалась опасной и необоснованной.
— Надо решить основное, есть ли что-нибудь убедительней бомб? Я пока спасаюсь отъездом. Но я непременно вернусь. Я вам напишу на почтамт до востребования. Нет, нет, я поеду одна. Не провожайте, Алеша.
Трамвай застрял перед самым лицом. Алексей еще видел Ирину меж ребер и стекол площадки. Ирина качнулась, схватившись за столбик, и закивала уже исчезающим, уже на года пропадавшим лицом. Уже окончательно скрылась Ирина, и синеватые линии рельс были вещественным выражением разлуки. Ее длиной, быстро сравнивавшейся с длиной квартала, с

протяжением улицы. Разлука еще измерялась планировкой города, но скоро станет она полями, оврагами, реками, станет землей и Россией, превратится в войну, окажется тифом и голодом. Будет судьбой поколения, его обиходом, признаком жизни того поколения, которого смысл в отдаче себя целиком, моего поколения, разлучившегося со всем ради мощного будущего.

Алексей стоял в тишине. День стал воплощением беззвучия. Женщины с корзинками открывали и закрывали рты. Алексей не слышал ни слова. Вдоль бульвара ехал извозчик. Преувеличенно медленно лошадь переставляла ноги. Копыта тягуче встречались с камнями. Иногда представлялось — все четыре ноги на весу. И все молчаливо. Спицы колес, заросшие грязью. Непредставимая тишь. Разлуку нельзя было взять на глаз. Она переросла возможности зрения. На ее пространство неслышно вступил новый трамвай.

ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ

1

«Мы собрались, замкнувшись от улицы ставнями, украдкой, с черного хода. Пустое кафе напоминало внутренность фургона. Мы праздновали закрытие в тесном сообществе. Пили вино и делили дружеский ужин. Было полутемно. Свет от единственной лампочки лежал блюдечком на опилках. И вертикальными досками, ящиками, накиданными друг на друга, по углам накопились склады теней.

Законопатив ставней ночь,
Мы время сходимся толочь.
Заботам дня наперекор,
Судьбе наперехлест
Мяукающий, крепни, хор,
Греми, чердачный тост.
Один из нас пойдет к стене,
Другой споткнется на войне,
Тот в ноздри наберет песок,
Тому набьется снег в висок.
Не трать минут по пустякам,
Дверь наглухо закрой.
Скрипят столы, блестит стакан

Стеклянную дырой.
Ночь ходит по двору с ружьем,
Дежурит звезд патруль.
Виват, друзья! За меткость пьем
Для нас отлитых пуль!
За смерть с продавленным лицом
В метели, как в платке.
За равенство перед свинцом
И братство в сыпняке!

(В комнате оказываются два незнакомых человека. И возраст и костюм их неопределенны. Хотя один выглядит старше и накрыт инженерной фуражкой с топориками и молоточком. Что-то остановившееся в их лицах. Хотя старший все время тасует свои черты и раскладывает их в новом порядке, словно колоду карт.)

Над моим плечом Коля Куриков. Массивен, в серой черкеске, и лыс. Автор безголосых стишков и завсегдатай кафе. Он открывает дурно пахнущий рот с золотой потемнелой коронкой.

— Хочешь слетать на шабаш? Я знаю средство. — Глаза его мокры от возбуждения. — Я дам тебе нужную мазь. Мне известны рецепты.

— Коля, ты пьян и несешь чепуху.

— Вот чудак. Я сам пробовал. Спроси у Наташи.

Я подымаю глаза. Волосы Наташи распустились и красны, будто смолистое пламя.

— Наташа — ведьма. Подожди, она обучит и Гуго. Колдовство заразительно, — глотая слюну, шепчет мне Коля. — Только я должен предупредить. На шабаше нужно сойтись с какой-нибудь ведьмой. После этого ни к одной женщине на земле не потянет.

Он покачивает головой. Его лицо растягивается, будто сейчас распадется мутными хлопьями.

«Тебя расстреляют, Коля. Ты бывший адъютант великого князя. Ты скоро отправишься к чорту», тоскливо и громко думаю я, так громко, что, боюсь, он расслышит содержание моих мыслей. Я, разумеется, пьян. Почему мы собрались, как заговорщики? Не хватает черных плащей. Совсем никудышняя опера. А зал-то пуст. Мы ломаемся перед стишками кресел. Безголовые сухонькие спинки. Кресла присели на корточки. Их ручки, согнутые в локтях, торчат по бокам.

— Москва переполнена ведьмами, — опять волнуется Коля. — Они распределены по районам. У каждой свой квартал. Тут — обдуманный план. Нужно помочь воплотиться дьяволу. Это должно быть в России.

Вот раскрывают пианино. Клавиатура кажется рыхлой периной с нашитыми бархатными полосками. Наташа стоит на эстраде. Ребенок с пылаю-

щими, как заря, волосами. Заря, душно лежащая на плечах и на шее. Кукольные руки прижаты к груди. Ноги в желтых чулках, как две восковые свечи. Она поет «Ветку сирени».

(Светелка чисто метена,
В ней день гостит погожий,
В ней рокоты веретена,
Луч шелковистый из окна
По волосам, по коже.
Остановись, прохожий...

Ты, верно, из чужой земли,
Твой взор обмерил дали.
Скрипели в волнах корабли,
Копыта пыль топтали,
Карета сотрясала мост,
Колес мелькали спицы.
Мой сад тенист, мой домик прост.
Войди воды напиться.

Ужели мой через окно
Тебе не внятен голос?
Взгляни, я об веретено
Рукою укололась.
Порвалась нитка, лен в крови,
Жара невыносима.
Прощай. Хоть имя назови
Ты, уходящий мимо).

— Только ветку душистой сирени, — подтягивает Коля Куриков.

Мне нельзя пить. От первых же бокалов стены ходят волнами. Мне мерещатся несуществующие мелодии и незнакомые лица. Голоса соседей доходят до меня, то странно задержанные в своем развитии, то вдруг сразу набрасываются со всех боков. Какой шум вокруг! Он напоминает грохот телеги, когда колеса въезжают на бревенчатый мост и каждая балка оседает, толкается, вздрагивает.

(— Тебя не развлекает пение? — спрашивает незнакомец в инженерной фуражке. — Ты надулся, как Эренбург. Пожалуй, ты сейчас запророчествуешь вроде него тонким, бабьим, ханжеским голосом. Я преподнесу тебе «Молитвы о России» с надписью от автора. Почерк будет воспроизведен во всех тонкостях.

— «Мне скучно бес», — отвечает цитатою немец.

— Скучно? Ты сварлив, как старая дева. А зрелище революции? Город, плюющийся пулями, выдыхающий из легких шрапнельные вспышки. А дом, разодетый в огонь у Никитских ворот? Дом танцующий, как Саломея. Мы, кажется, поменялись ролями. Я становлюсь добряком, принимающим жизнь. Ты же просто интеллигент. Пстой, тебя выкинут в мусорный ящик.

Человек в инженерной фуражке утолщается, как автомобильная шина. Он позванивает рюмкой о рюмку и мурлычет вполголоса:

Курлы, курлы, курлы...
Жила себе Тверская,
На горбике таская
Фасады и углы.
Жирела чинно снесь
На глянцевых цитринах,
Колоколов старинных
Позвякивала медь.
Порхали лихачи,
И цокали подковки,
И были по дешевке
Девчонки горячи.
Но с фронта паренек
Пришел себе в развалку,
К плечу приставил палку
И оттянул курок...)

Откуда-то тянет пошлятиной и неразберихой. Воздух вокруг разделяется на составные, весьма сомнительные вещества. Словно из него извлекают всю легкость, беспечность, всю прозрачность моей молодости. Внизу же он закисает слизистым студнем, внутрь которого влипли прошлогодние почерневшие листья, ломаные хворостинки, шкурки высохших насекомых. Короче, это напоминает непроточный замусоренный пруд, шелудивая кожа которого в занозах и ссадинах. Прокаженный, шелушащийся воздух. Это несправедливо. С моим существованием происходит недоразумение. Я кажусь себе плоской бесхитростной тенью, которую отбрасывает кто-то другой. Я готов представить себе его жизнь, мою жизнь, развивающуюся в другом ряде событий. Я схватываюсь руками за голову и чувствую, в черепе шевелятся его мысли, наши общие мысли. Я ощущаю, как он любит девушку доверчивую и легконогую и как она любит его. Они расходятся в поисках собственных частей, но издали видят друг друга. Машут друг другу руками, будто с двух берегов могучей реки. И все происходит в Москве, на смежных со мною улицах. Я вскакиваю, чтоб разыскать место действия. Но что за гнус-

ный голос? Кулак в эту подлую глотку! «Чего вы беспокоитесь, товарищ. Центральный момент впереди. Елена Лучинская пошла раздеваться».

(И вот забродишь тощ,
В обмотках и обносках,
И засыпай на досках,
И голым в снег и дождь.
Так сядем за столы
Петь, голос не спуская,
Курлы курлы курлы...
Рассыпалась Тверская,
Как горсточка золы.)

Но Елена Лучинская выходит из клетки, что рядом с эстрадой, слегка закинув голову, будто гордясь наготой. Она неузнаваема, всем нам известная Елочка Лучинская, читающая наши стихи. Она смотрит поверх наших лиц, подставляя желтизну своей кожи взглядам сидящих. Нет, она не выглядит обнаженной. Электрические отблески переливаются через плечи на спину, разделенную едва ощутимой ложбинкой, скатываются по бедрам и затихают на узких ступнях. Сияние ее тела продолжается в воздух. От сгибающихся колен отлетают медные блики. Взобравшись на стол, она тихо танцует. Протяжно передвигает золотистые длинные ноги. Она одета движениями. Крышка стола поскрипывает. Елена прижимает к ней то одну ступню, то другую. И будто восходит по лестнице, по упругой невидимой лестнице, наклонно приставленной к сумраку.

И тут из угла прыжками Наташа. Она тоже сорвала одежду. И теперь обегает стол, обегает танец Елены. Тело ее мерцает и скользит, ей никак не найти равновесия. Она кажется сброшенной под откос. Локти, плечи, колени, все угловато несется, вот-вот она разлетится на части. Громко дышит, плоский живот ее вздрагивает и втягивается внутрь от усилий.

Я лежу на столе у стены. Курлык со мной рядом.

— Нужно пристально знать строение тела. Торс мужчины квадратен, женщины — бочкообразен. — Курлык рассуждает, как врач, как эксперт по людским экземплярам. — Художник должен видеть насквозь. набросок тела хорош, когда возбуждает желание.

Наташа пронзительно вскрикивает, подскочила кверху и падает на пол. К ней бросаются, ее поднимают и медленно тащат. Ноги ее виснут бессильно, худенькие ноги, словно переломленные в коленях. Она без сознания. В уголках губ пузырьки. Елена остановилась, пробужденная криком Наташи. И смотрит, наклонившись вперед, как выносят Наташино тело. Что-то торжественное и выдуманное в этой поспешной процессии. Грозное и тревожащее. Так уносят в цирке летуний, скользнувших мимо трапедий. Хруп-

ких, как насекомые, гибнущих пестрой и праздничной смертью. Но Наташа, конечно, жива. Она дышит сквозь зубы.

Я украдкой вышел на улицу.

2

Но, оказалось, вышел я не один. Климин догоняет меня, прищелкивая языком. В глаженном, только что сшитом пальто. Котелок округлой и твердой чеканки, трость с серебряным набалдашником, тупоносые туфли сверкают черным стеклом. Напудренное лицо его жалко синело в рассвете. Некоторое время мы двигались молча.

— Начинается новая эра, — сказал он, хихикнув.

— Вы о том, что закрылось кафе?

— Нет, я о другом. Новая эра, в которой не будет ничего из того, что нам дорого. Впрочем, это не вполне относится к вам. Я гораздо старше. Мне тридцать два года. — Заметив мое удивление, Климин обрадовался.

— Я на вид моложе. Это стоит трудов. Режим, регулярная жизнь. Я установил свою молодость. До сих пор я сопротивлялся успешно.

Мне было не до признаний Климина, но он подхватил меня под руку.

— Нет, нет, зачем вы торопитесь? Я открою вам важные вещи. Я уже включил вас в свой список.

— Что за дичь? Что вы мелете, Климин?

— Зачем же сердиться? Нынче время такое. Хлебников собирает председателей земного шара. У меня своя армия. Вы ближе ко мне, чем вам кажется. Это для вас неожиданно. Но с вами идет пророк. И вся жизнь моя — подвиг.

Быстро светлели дома, принимая дневную окраску. Небо подымалось выше и выше. Синева еще робкая и белесоватая застывала и крепла над городом. Протяжные возгласы Климина не совпадали с возрастающим днем. Но я сам не совпадал с ним. Во мне самом было место, куда мог забраться Климинский голос. И он занимал это место спешно и бесцеремонно.

— Я учился в балетной школе и стал бы великим мастером. Но после ученья, заметьте, когда я прошел все ступени, я случайно сломал себе ногу. Я хотел умереть. Но душа моя прояснилась. «Пусть танцует твоя душа, — было сказано мне. Ты пойдешь путем унижения». Вы видели меня каждый вечер. Позорней меня не могло быть человека. «Унизь себя», было сказано мне. Меня скоро посадят в тюрьму. Вот посмотрите... — он вытащил из кармана пальто несколько колец с камнями. — Я их украл у знакомого ювелира. На одно из них я оделся. Меня, конечно, разыщут. Но пока я останусь в живых. Сейчас я бессмертен.

— Но при чем же тут я? — Дворник в твердой мохнатой овчине обернулся на мое восклицание. — Вы хотите, чтоб я отвел вас в милицию?

— Меня поймают и так. Дело не в этом. Не забудьте, что вы в моем списке. Вам кажется, вы сейчас на гребне. Пустяки. Ваши дружбы порвутся. Морецкий будет терпеть вас, пока вы его подголосок. А затем все поколение ваше будет предателями. У двери в будущее стоят часовые. Нет входа без пропусков. Вы станете выклянчивать пропуска и торговаться со стражей. У вас будут сломаны ноги, как у меня. Вас высмеют, как меня. И потому я ваш представитель.

— Ну, и что же по-вашему делать?

Рот Клима оттянулся на бок. Болезненное упорство в маниакальных, обращенных в себя глазах. Он был пуст, климинский голос, словно из него вынули всю природу звучания и осталась одна невесомая шелуха.

— Ничего. Делать нечего. Надо спрятаться, пока я объявлюсь. Пока я восстану во славе судить живых и мертвых!

Мне было трудно идти с сумасшедшим. Словно и тело его уничтожилось, и под платьем шла сплошная дыра. Колыхалось незаполненное материей пальто, в налитых пустотой перчатках болтается трость. И лицо из бумаги. Его можно проткнуть пальцем.

И вдруг Климин опустился на тумбу. Пальто покрыло тумбу, как колокол.

— Уходи! — крикнул он мне. — Уходи, убирайся! Помни меня, но уходи! — Он мерзко выругался. Я повернул в переулок. И последним впечатлением был дворник, каменными шагами ступающий в сторону Климина.

3

Меня принес к дому трамвайный вагон, один из первых, объявляющий городу о пришествии дня. На поперечно стоящих скамьях тесно сидели рабочие. В коротких куртках, в порыжелых пальто, в кепках, натянутых на уши. У некоторых вокруг шеи намотаны шарфы. Сапоги упирались в грохочущий пол. Их лица повернулись ко мне и встретили меня равнодушно. Я сел на свободное место. Сосед подвинулся, освобождая кусок скамейки. Климин испарился из памяти. Испарилась исступленная ночь. Вагон о ней не знал ничего. Он катился в иных измерениях. Люди, сидевшие здесь, в совершенно иных плоскостях провели эти восемь часов темноты. И возвращались к привычной работе. Место, где приютилось кафе и где находился трамвай, одинаково называлось Москвой. Но название было иллюзией. Различные города врубались друг в друга. То, что мне представлялось Садовой, есть лишь линия пересечения многих Садовых, направленных в

разные стороны. Есть Садовая мертвых, уходящая в древность, и Садовая XXI века. Есть Садовая, попираемая данным трамваем, Садовая революции, порученная тем, кто едет со мной. Поступки, вразумительные на одной из Садовых, на другой выглядят бредом. Я прижался к спинке скамейки. Мне хотелось побыть незамеченным. Надо столкнуться с собой. Каков же мой адрес? Где я собственно проживаю? Я забыл, где мне нужно слезать.

4

Станный город — Москва. Он тяготеет к легендам, выдумкам, сплетням. В глазах у людей будто двоится. Вранье так припаяно к правде, что получить в чистом виде одно из этих веществ невозможно. Особенно в данную зиму. Немцы, заговоры, перевороты. И все простужены планами. Нет людей, свободных от миссии. Каждый тайно вербует сторонников. И это очень противно. Я хочу быть вполне реалистом, быть практиком трезвым и дельным. Но до чего я устал! Пора отоспаться в провинции. На какой-нибудь солнечной дачке, где мирно пьют молоко. Может, еще сохранилась провинция? Вот Курлык распродал полотна и зарылся в недра Урала. Я же напрасно толкусь и, мне кажется, сделаю что-то позорное. Унизительное и постыдное. Моя трезвость, как тоненький мостик над весьма неуютным оврагом. По Москве циркулируют слухи. Будто тайный обмен неучтенных веществ, или газы, скопившиеся в организме. У зданий кружатся головы. Или я начинаю хворать?

Говорят, у кремлевской стены, где нарыто новое кладбище, по ночам (ведь нынче нет освещения, и темнота, я представляю ее, плотна, как овчинный тулуп), так вот, в овчинной такой темноте, наполненной ветром, часовые, которым поручены башни, могилы и стены, по ночам потрясаются стонами. Земля начинает охать и дергаться. Прибавляют, что стены трещат и качаются. Но это, конечно, прикрашено. Стен все равно в темноте не видать, так что, если б их кто-нибудь взял и унес целиком, часовые вряд ли б заметили. Осмотрительные потому заверяют, что слышны голоса. Ни больше, ни меньше. Что касается стен — это явная выдумка. Голоса переходят с места на место. И если докрасться до стона, голос уйдет между рук. Утверждают по-разному: голос то встает из земли, то находится на уровне головы, иногда ж наклоняется сверху. Здесь расходятся мнения. Слов нельзя разобрать. Может, крик совсем бессловесен.

Дальше слух уходит в подробности. Слуху нужно стать материальным, приобрести подобие факта. И потому...

Говорят, что один человек, впоследствии он получает профессию, звание, имя... человек из провинции и даже с семьей (заметьте, свидетели мно-

жаться) — с женой и двумя дочерьми. Потом обозначится город. Человек из Саратова, скажем, по служебным делам, по приезду в столицу заехал на Балчуг, то есть рядом с собором Блаженного, и там поселился в гостинице. Гостиницу знает всякий москвич. И вот этот-то обыватель и особенно его старшая дочь, ну, конечно, и прочие, все они слышали сами явление звуков и плачей. Человек принужден был оставить гостиницу, хотя заплатил за номер вперед, тут особенно старшая дочь, она совсем расхворалась. Гостиница опустела, разбежались все постояльцы. Хозяин в полном отчаянии. И уже человек с диковой фамилией — одни назовут его Дыркиным, нет, — Ямкин, спорят другие, по третьей версии — Сквajiна — несуществующий человек, а может, все трое мельтешатся по Москве и клянутся в правдивости слуха. Их не видел никто, но вчера Дыркин был у Петровых. Позвоните за справкой к Петровым и окажется, — Дыркина не было, но зато у Ивановых Ямкин все изложил досконально. Дня через три вас самих потянет признать, что вы встретили Сквajiну в театре. Побеседовали в фойе. Его старшая дочь поправляется.

Это мелкий старуший слушок, построенный традиционно. В шопотки сапопниц у Иверской впутался литературовед. Из его праздного черепа легенда вышла поступью Гоголя. Остроносой фигуркой в николаевской тяжелой шинели.

Я хочу уезжать из Москвы. Ну ее к чорту! Я толкаю белье в чемодан.

Говорят и другое.

Саботажный чиновник, Николай Васильич Яновский, возвращался в Замоскворечье. Был он не то под хмельком, не то изрядно, устойчиво голоден, может, просто застужен, и зубы его ломило от ветра. В общем, чуть не в себе и с какой-то обидой в груди. Дома выпирали один за другим, весьма равнодушные, и, казалось, им наплевать на судьбу Николая Васильича. Выйдя на Красную площадь, он заблудился. В двух шагах от крыльца Исторического музея он ощутил оседание почвы. Словно огромный, мощный булыжником лифт, площадь сползла на этаж. Низкий гул. Будто лопнула струна контрабаса. И опять тишина.

Николай Васильич забыл направление. Возможно, спускаясь, площадь обернулась вокруг оси. Понятия — назад и вперед стали неприложимы к действительности. Яновский взял напрямик. Высоко подымая ноги, он размыкал тишину, проходил сквозь нее, как игла через сетку материи. Ему показалось, идет он долго, столь долго, что, пожалуй, мог вспомнить всю свою жизнь. Он, верно, ее и припомнил, и стала она ему милой и жалкой. Поводя руками во тьме, он бормотал себе под нос: «Чего ты добился, Яновский? Чего ты достиг? И кто ты собственно есть? Саботажник, беспартийный едок третьей категории. И шут тебя знает, куда ты бредешь? Не лучше ли сесть и дожидаться рассвета?»

Часы брякнули над его головой. Битым стеклом кувырнулись четверти.

И в то же мгновение Яновский застыл. Так бывает, когда не видишь препятствия, но по изменениям воздушных давлений тело знает, что впереди возвышается стенка. Сердце гремело в груди Николая Васильича. Тишина же вокруг оказалась имеющей степени. Он находился теперь в ее самом глубоком поясе. «Куда я забрел?» — произнес он и сразу коснулся стены. Под ладонью Яновского ощущались деревянные гладкие планки. Яновский двинулся, не отрывая руки от стены. Колени его дико ныли. Завернув за угол, задев ногой о ступеньку, он очутился у входа. Он сразу заметил, что из отверстия двери выделяется свет. Немигающий и красноватый, будто отблеск каменного угля. Металлический розовый отсвет проникает каждую планку. Прямолинейное здание из себя выдыхает медное зарево. Бронзового блеска кристаллом оно лежало на площади и озаряло ее до крайних границ. И сквозь стены, сквозь землю, пропускающую тот же железный огонь, Яновский увидел блистающий панцырь гробницы...

Когда утром чиновник Яновский был замечен на ступенях Василия Блаженного, обнаружилось, что он утратил дар речи. И ясно, пересуды по данному поводу есть плод досужей фантазии. К тому же вся легенда происхождения позднейшего. Яновский впоследствии выздоровел, но пал в гражданской войне, защищая Житомир от белых.

На отдых, на корм, на поправку. Портплед затянут в ремни. Чемодан защелкнут и замкнут. Остатки своих сухарей дарю на память хозяйке».

ГЛАВА ПЯТАЯ

1

Алексей, проснувшись, увидел, что солнечный луч давно находился в каюте. Каждая планка стены сверкала и своей белизной напоминала о парном молоке. Казалось, стена сейчас запузырится и, вздувшись горбом, пойдет закипать. Тогда ее не удержишь, и следовало вставать, пока жара не дошла до предела. Алексею захотелось молока. И он потянулся за платьем. Сновидения были вытравлены светом дочиста и без остатка. С ними кончено, кончено. И с тем большей ясностью, подкрепленное утром, Алексею открылось его состояние, определявшееся тем, что он путешествует, путешествие прервано, домой не попасть, денег на день, и выходы не намечались.

Он выехал из Москвы, разуверившись в возвращении Ирины. Ни единой открытки. Вот он тихо теряет Ирину. Сначала терялось лицо. Алексей не

умел удерживать лица. То был особый вид разложения. Какая-то зрительная смерть. Лицо рассеивалось, черты расступались в разные стороны и, расширившись до неокрашенных колебаний, наконец, совсем оставили память. За лицом уходила фигура. Тускнел и стирался голос. Все материальные доли Ирины превращались в немое понятие. Только имя переливалось в крови, блистающее, как ртуть.

С исчезновением Ирининогo облика параллельно и в подобной же постепенности выдохлись планы республики. Все разговоры потеряли значение. Алексей не отказывался от них, в этом не было необходимости, но они остались в стороне от дороги. Слово они крепили раньше от возражений Ирины. Они таяли и переходили в ничто, и такой процесс представлялся естественным.

Алексей вышел на пристань. День сиял беззаконной своей синевой. В воде волоклись синеватые тряпки. И берег, высоко стоящий над Волгой, дымился синим, как трубка курильщика. Люди бесцельно толклись на мостках меж рогожных тюков и круто уложенных ящиков, боясь разойтись, расцепиться. Будто из общей сумятицы легче рождались решения. И тут Алексей различил человека, вся природа которого так не вязалась с озабоченным, трезвым, пониженным состоянием Алексея, так напоминала собственные почти вымершие Алексеевы свойства, что Алексей затруднился обрадоваться.

Человек стоял неподвижно. В русых хлопьях небритых усов, в пятнах нарощей бородки. Окружающие обтекали его. Он напоминал пастуха среди стада.

Ему некуда торопиться. Он выжидал.

Кто мог представить, что во всем этом дне с его пароходами, людьми, облаками столь важным для будущего останется этот прислушивающийся, о чем-то гадающий образ. Его будут окликать сквозь воспоминания очевидцев и разыскивать в книгах, где с честью, ему незнакомой при жизни, хранятся слова, ему случайно пришедшие в голову. Слова, непрестанно и вольно бродившие в нем, не имевшие тогда иного пристанища, кроме мешка, который он держит в руке. Здесь нет места для жалоб. Так бывает с поэтами. Почему? Поэтам не легче от объяснений, и, конечно, не горше.

— Виктор Владимирович!

— Здравствуйте!

— И вы здесь?

— И я.

— Куда же вы?

— В Астрахань.

— А я собирался в Самару. Очевидно, нельзя.

— Да, пожалуй, нельзя.

Алексей все же обрадовался. Вернулись на пароход. Сели в столовой. Им

подали кипятка. Чаю, помнится, не было. Вода горячо стояла в стаканах. Молоко узким столбом стояло в бутылке. Пили воду и молоко. Из мешочка вынули сахар. Звездообразно растрескивалась скорлупа твердых яиц. Баранки румяными кольцами лежали на белом столе.

Закурили и, сытые, гордо вышли на пристань. Город лежал верстах в двух от реки. Шли, разбивая шагами комья земли. Коричневые, по-летнему резкие тени накрывали сбоку траву.

— Что, если пуститься пешком?

— Конечно, — ответил Хлебников. — Только лапти нужны. Мы можем продавать папиросы. Я сегодня думал об этом. Будем читать на улицах стихи. За это нас будут кормить, — заблуждаясь и представляя мир более добрым, строил предположения Хлебников.

В поле впутались рельсы, насыпи, стрелки. Красные коробки товарных вагонов на вросших в землю колесах. Ветер вертелся вдоль их дощатых поверхностей.

В нескольких теплушках, испестрив их тряпками и платками, сушившимися на веревках, обосновались цыгане. Котелки чугунными грушами свисали в дымы костров. Женщины с жесткими черными косами, прижимая детей к коричневым грудям, предлагали гадание.

— Можно жить с цыганами. Ночевать в теплушках, — снова удостоверил Хлебников.

День будил в нем доверие, обещая уйму возможностей. Окраина подостлала под ноги битый круглый булыжник, сверкающий, как рафинад. Домики выросли и, не желая выравниваться, гуртом поджидали путников.

Между тем в то же время в зале заседаний совета воздух сошел с ума. Он подпрыгнул пружиной и, хлопнувшись в стол, расщепил его вдребезги. Со стены сверху до низу оборвалась известка, отчего во весь рост поднялись меловые столбы. Кирпичи, выдираясь из гнезд, посыпались на пол. Стоячее зеркало выкатилось на середину и разбрызгалось мелкими звездами. Выставив стекла из окон, воздух разом шагнул на улицу. Тотчас же, будто только и ждавшие этого случая, по Тверской разогнались пожарные.

Итак, еще раз: в событии участвовали: воздух, дерево, камень, стекло. Тут решались их скрытые разногласия. Люди замешаны не были. Заседание было отложено. В соседних комнатах ранило машинистку.

2

Главным способом, может, единственным, было не помнить. С Ириной покончено. Миссия исчерпалась. Как быть в данном случае с Хлебниковым?

Впрочем, республика молодежи приняла реальные формы. Правда, она заключилась в кавычки, но ее можно трогать руками. Вот он, журнальчик под этим бойким названием, лихо состряпанный Золотницким. Вот они оба сидят на балконе у столика. Алексей глядит корректуры. Оба в белых открытых рубашках. Представители поколения. Сад посылает к балкону охапки кленовой листвы. Запах сирени такой густоты, что его можно черпать ложками. День вбирает в себя дымки папирос.

— Все в порядке, — говорит Золотницкий. — А все-таки странный субъект, жить с ним в комнате боязно. Ночью вскакивает и сидит у стола. Я его хотел напоить. Он выпил рюмку и — в сад. Ходит от дерева к дереву.

— О ком ты?

— О Хлебникове. Я прямо вздохнул, когда он уехал. Одно хорошо, стихи у него получил. А то тяжело. На меня и так нападает тоска. Задумываюсь. А с ним хоть руки накладывай.

— Ну, что ты несешь?

— Нет, брат, это верно. Современный художник должен быть живоде-ром. Чтоб при случае развернуться и — в морду. Я грузчиков буду писать. Или борцов. Еще лучше. Руки, как пни. Грудь боченком. И такая тупая низко-лобая рожа. Свиные глаза и отсутствие мыслей. Одно жадное, мощное мясо.

— Меня тошнит от твоих разговоров. И журнал у нас тошный. Столько народа, и все тянут в разные стороны. Статья моя вышла бездарной.

— Брось, Алешка. Статья хороша. На ней заглавие строим. Альманах разойдется. Выступать надо скопом. Друг друга поддерживать. Ты об этом правильно пишешь.

— Я пишу о другом.

— Все равно, так выходит. Одного затолкают. Осенью поедем в Москву целой ротой. Я и флаг приготовлю, напишу на флаге кулак.

Что-то знакомое в этих словах мерещится Алексею. Что-то было подобное с ним. Но как поступить в данном случае с Хлебниковым?

— Напишу на флаге кулак! — говорит Золотницкий.

3

Прикосновение к незнакомому городу вызывает мысль о незначительности собственной жизни. Дома, прохожие, распределение улиц от нас не зависят. Мы не можем снабдить их воспоминаниями. Город явно показывает, что стоял до сих пор, в нас не нуждаясь. Мы могли бы и не появляться. Мы не втянуты в его бытие, словно еще не родились или давным-давно умерли.

Так размышлял Алексей при осмотре Казани. Казань поднялась из не-

известности мешаниной подъемов, спусков, базаров, вызванная случайностью, в сущности, по ошибке. Она ничем не помогла Алексею, скорей тяготила, как непонятный рубеж, как начало войны. Алексей вернулся измаянным. Чувство сосущей беспомощности превозмогало все остальное. Хлебников оставался в прошлом или переносился в неясное будущее. В настоящем оба сидят на рогожных тюках — пристань дрожит под ногами, как люлька, и оба не знают, на что им решиться.

Сидеть на тюках было низко. Голенища рыжих сапог, чьи-то колени во вздутых линиях брюках, ситцевые колокола крестьянских сборчатых юбок, — все это двигалось на уровне глаз Алексея. Он не мог поднять головы, чтоб всмотреться в лица идущих, то есть в то, что осмысливало поток платьев и обуви. Сапоги останавливались, покрывали доски пристани, снова освобождали их, чтоб дать место натиску новых сапог. Иногда появлялись корытца плетенных лаптей. И, наконец, узловатые, в коросте грязи, голые человеческие ступни. Алексея утомляло рассматриванье ни на миг не смолкавших шагов. Напрасно они торопились. Вечер подтвердил невозможность проезда. Пароход отсылался обратно на Нижний.

Отводя взгляд направо, Алексей видел мостик, перелетавший на берег. Под ним не столько были заметны, сколько угадывались притянутые на цепочках к перилам порожние праздные лодки. Одни — широки и бочкасты, другие — узки и остры, как деревянные лезвия. Усталые весла, как руки, длинные женские руки, протянулись внутри кузовов. Лодкам шли девичьи имена, сверкавшие красками на закругленных кормах. Были лодки Марии, одна называлась Еленой, и дальше их женственность переходила в отвлечение, в символику легких и плавных понятий — надежда, чайка, волна.

Алексей не заметил, как он приподнялся и склонился к перилам мостков. Лодки едва колебались, касаясь друг друга одухотворенно изогнутыми корпусами. И от девичьей худобы их удлиненных и радостных форм был один шаг до Ирины. До тоски, подошедшей столь неожиданно близко, что она ощущалась стенками сердца. Тоски, заменившей все тело своим веществом, превратившей его из сочетания крови, связок и мышц в однородную ткань страдания. Алексей растерялся, так физически внятно было вторжение горя. Даже лодки лежали, о, эти лодки, с которых все началось, протяженным выражением напрасных стремлений. Как он мог отпустить Ирину? Нужно было уехать вместе. Алексею хотелось кричать. Ничего нет глупее раскаянья. Ничего не осталось ни от Ирины, ни от него самого.

Алексей перевел взгляд на Хлебникова. И от Хлебникова ничего не осталось. Целый день провести плечом к плечу с человеком, который так потряс его мысли, и не сказать ни единого нужного слова. Эта осунувшаяся, усталостью согнутая фигура, прицепившаяся к углу рогожного свертка, не выпускающая из рук, как символ свободы, власти и бедности, свой походный мешок.

— Что со мной? Я все потерял, — сказал Алексей. — Простите меня, Виктор Владимирович.

Он увидел Хлебникова так, будто прошли все дальнейшие многие годы, и он смотрит на образ, предъявленный воспоминанием, в котором нельзя ничего изменить и которому напрасно посылаешь сочувствие.

4

Вдвоем возвращались в Нижний. Алексей сказал о возможности остановки у Золотницкого, но осекся и понял, что это бессмыслица. Гостеприимство Золотницкого, особенно в обрамлении его семьи, не выдержит тяжести двух. Тяжести д в у х. Ну, а если речь об одном? Несравненно удобнее. Не правда ли? — Верно. Алексею нужно добраться в Москву. Пароход довезет бесплатно до Нижнего. Там надежда на гонорар за статью. А Хлебников?

Почему этот человек постоянной тревогой пересекает жизнь Алексея?

Сначала оба сидели на палубе. Вскоре начался дождь. Облако появилось без предупреждений. Пароход въехал в дождь, как в проволочную корзину. Поверхность воды в бугорках, в бесчисленной ряби отверстий, наколотая, будто поверхность наперстка. Ветер прошелся, захлопав дверьми. Дождь перед ним расступался, освобождая проход. И тогда пришлось перебраться в каюту.

Началось повторение пройденного. Движение в обратную сторону не изменило каюты.

«Ну, а если речь об одном? Я не уговаривал Хлебникова отправиться вместе. Да, но... Выбор пути на Москву выражался в словах: — Мы поедем. Нам удобней вернуться обратно. Так почему же нельзя двоим к Золотницкому?» В сущности, конечно, Алексей не имеет права навязывать в безвозмездные гости себя и другого. А денег на прямой путь до Москвы не имеется. Кроме же Золотницкого — некуда. Тут все начиналось сначала.

Не имеет права навязывать. А право сверстничества, общности возраста? Вы опять о союзе друзей? Он лишается смысла уже потому, что возможны подобные мысли. Друзья — жальчайшее слово. Стол — это то, что стоит под локтями, обо что я стукаюсь грудью. Ну, а друг?.. Из дымки подобного слова всплывает лицо Золотницкого, унижающее тебя лицо. Друг, имеющий лишние комнаты, но стесняющийся семьи, лишний хлеб, но хлеб выдается по норме, и все ограничено! Золотницкого сменяет Шабельский. Сунься к нему в таком положении. Дуня заварит скандал. Обзовет тебя лодырем и захлопнет дверь перед носом. А остальные? Мы же все таковы! Как же смел я, какие таил основания кичиться возвышенной миссией! Я, ведущий обходный подкоп против единственного человека, непохожего вовсе на нас и

который нам не по росту! Для которого слово — доверие — звенит золотой полноценной чеканкой.

Алексей засыпал, положив руки на стол и уткнувшись лицом в рукав пиджака. Хлебников сидел, насторожась. Не двигаясь, пристально вглядываясь в непомерно глубокое пространство, отысканное им между стеной и каютною пальмой. Иногда он вскидывал правую руку и, ломаным взмахом черпнув полный замыслов воздух, врезался ладонью в кустистые волосы. И, быстро придав беспорядку их новую форму, сбрасывал руку назад и втягивал голову в плечи.

5

Следующим утром, блистающим, будто оно сплошное нагромождение стеклянных объемов, желтых и синих шаров, грозящих рухнуть на улицу, когда даже тротуары, казалось, начнут отражать, а мостовая — позванивать под ногами, Алексей с портпледом на шее подходил к невысокому домику. Домик медленно освобождал свой фасад из зелени клена и дуба. Алексей скинул портплед на ступеньки. Пожалуй, все еще спят. Он дернул височий звонок. Колокольчик запрыгал за дверь. Не повернуть ли обратно?

Но уже загремели замки и засовы, и прислуга отдернула дверь.

— Спят? — спросил Алексей.

— Нет, вставши.

Тогда Алексей, прерывая вопросительную неразговорчивость женщины, шагнул в переднюю вместе с портпледом. Женщина вздохнула и скрылась. Алексей положил портплед у стены и повесил кепку на вешалку. Только теперь он почувствовал, что устал и не выспался. И будто за ним кто-то гнался, и ему было важно укрыться. Нет, думать не стоит. Поступок, им совершенный, пусть остается на пристани. Пусть подождет, не принимая очертаний в сознании. Пусть не оставит следов.

Почему никто не выходит? И с обжигающей злостью Алексей толкнул дверь в столовую. Там сидела за чаем семья. Отец, мать, два сына и дочь. Как сильно их кровное сходство. Чуть продавленные носы, повторяющие в разных размерах ту же лепку ноздрей, с одинаковой впадиной хрящ. Глаза, будто один размноженный глаз, по заказу выточенный для ряда орбит, глаза, вся разница которых лишь в степени их изношенности. Общий наклон голов, один поворот плеча. Даже свойства характера, продолжая друг друга, сходно отражались на лицах. Лукавство Золотницкого-сына обосновывалось в корыстном упорстве отца. Грубоватая привлекательность первого снижалась в подобную ей некрасивость сестры. Золотницкий-художник разоблачался грубостью остальных. В нем была та же тяжесть, чуть при-

поднятая и обработанная.

Семья, как собрание черт, качеств, привычек, всем фронтом глядела на Алексея. Хмурым, потревоженным фронтом, объединившимся против чужого. Только у Золотницкого-сына и у сестры недовольство смягчалось внешнею вежливостью. Серебряный торс самовара пыхтел из-за плеч и голов. Семья ждала объяснений. Алексей, глотнув воздух, сказал:

— Мне пришлось возвратиться. Я долго не задержусь. Я поеду в Москву. В Самару не пропускают.

Все молчали, не приходя Алексею на помощь. И молчал Золотницкий, подчиняясь невидимой тяге семьи. Он встал, широко раздвинув ноги, и переваливался с каблука на носок.

— Я ехал с Хлебниковым, — с необъяснимой веселостью выкрикнул Алексей.

— Где же он? — всколыхнулась дочь. Все оглянулись на дверь с такой обнаженной враждебностью, что даже в своем столбняке Алексей поразился. Эти люди и сами не могли бы себе объяснить, до чего отрицали они бытие непонятого Хлебникова. Одна только фраза Золотницкого: «Приведи сюда Хлебникова», спасла бы Алексея, вернула б ему человеческий облик. Один бы кивок... Золотницкий молчал, оставляя место действия родственникам.

— Где же он? — продолжала сестра, уже понимая, что Хлебникова нет, и за это почти прощая Алексею вторжение, как бы включая его отчасти в их круг.

— Он остался на пристани... Там, — махнул Алексей рукою в пространство.

— Что же ты не садишься? Так, значит, в Самару нельзя? — воспрянул вдруг Золотницкий.

— Хлебников остался на пристани, — сказал Алексей, покупая отречением снисходительность, выменивая Хлебникова на место за чайным столом.

6

«Может быть, и другое... Все случилось иначе! Случилось со мной. Конечно. Именно я предал Хлебникова, и, так как подобные обстоятельства не следует оставлять нераспутанными и недомолвки лишь множат неясности, разрешите мне по порядку.

Если все сначала, то я бежал из Москвы. В Нижнем издавался журнальчик. Мой приятель выпросил пару стихов. Но я боюсь погрузиться в детали. Меньше слов. Я знаю власть речевого орнамента, заслоняющего содержание мысли, придающего ей особый наклон. И мысль потечет в обрат-

ную сторону. Станет ручьиться, блеснуть, обольщать. Подлая мысль в чешуе согласных и гласных будет приманкой, полной достоинств и вкрадчивой. Убегающий и лепечущий с видом нарядной невинности. Я к словам недоверчив. Нужны факты. Я вынужден дать показание.

Утром с Хлебниковым мы приближаемся к Нижнему. Зеленые выступы берега расставлялись навстречу столами. На зеленых складчатых скатертях белела посуда домов. Я вглядывался в горы, накрытые городом. Я не имел ни малейших решений. Пароход заворачивал, чуть накренясь. Пристань шла навстречу ему. Я попал, очевидно, впросак.

Дальше — все, как по писанному. Пароход замолчал, привязанный к пристани. Знаете, мокрые, массивно-скрученные канаты, на концах завернутые петлей. И петля накрывает толстую тумбу. Пароход притянут канатами к тумбам на пристани. И тогда, грохоча, выдвигаются сходни. Люди спешно жмутся на берег.

Что касается дня, то он удивительно ясен. Остановка парохода отразилась на всем пространстве пейзажа.словно пароход был осью вращения неба, и сейчас оно прекратило свои продвижения. И во всю глубину замерло.

Пассажиры, сбегаящие клубками по сходням, прекращались, стихали. Пароход остался порожним. Клубки расцеплялись на группки. Дальше люди тянулись редкой цепочкой. И потом в одиночку, кто на извозчике, кто пешком по закраине берега.

Не сойти ли и нам? Я не смел оглянуться на Хлебникова. И вот он ушел за вещами в каюту. Тогда-то вороватым движением (я не в силах ему объяснить, что нас вместе не пустят к товарищу) я поднял свой портплед.

Говоря напрямик, здесь не было переживаний. Ничего подсознательного, неодолимого, этакго инстинкта самосохранения, тайников души и помутнений рассудка — ни одной из подобных причин. Говоря напрямик, чувства были на месте; голова работала, как часы. Сначала с палубы внутрь пароходного кузова, после — на мостик, на берег.

За трамвайный билет я не мог доплатить. Заинтересованный в кратчайшем пути, я внимательно взвешивал улицы. Думаю, я не ошибся, избрав направление правильно. Экономно с точки зрения затраты энергии.

...Я не видел лица Хлебникова, и это меня беспокоит. Беспокоит. Лица, с каким он вернулся на палубу. Может, он хотел предложить мне великодушную жизнь, неожиданную участь грузчиков или бродяг. Дружбу щедрую, как звездное небо. Я этого никогда не узнаю. Я не видел, как лицо его изменилось, когда он меня не нашел. И главное, когда он понял (а он, вероятно, понял достаточно скоро), что я не вернусь. Что случилось с лицом его? Кто мне расскажет об этом? Но я должен знать, товарищи, должен, каковым же было лицо, чтоб понять, какою монетой нужно мне рассчитываться с судьбой за вес моего поступка!»

ГЛАВА ШЕСТАЯ

1

Утро. Курский вокзал. Алексей вышел из поезда. И асфальтовая тарелка площади под ногами, и скверик с обезличенными пылью деревьями, несколько порожних трамваев с лениво вынесенными наверх, неподвижно прислоненными к проволоке дугами, и мысль о конце. Ветер тащил обрывки газет, подсолнечную шелуху, раздавленные спичечные коробки, неизвестно из чего образовавшийся мусор по шершавой корке асфальта. Бумаги подскакивали, становились на ребра, вдруг начинали вертеться, и мусор завивался низенькими спиралями. Воздух желтоватый и мгlistый, словно в нем рассыпан песок, и частицы песка отлагаются в легких, непрестанно царапая их.

У вокзала сидели торговки. На их коленях обосновались лотки, где поверх полотенца лежало по пирожку. Остроконечные картофельные веретенца. Те, что продавалась лишь эта дразнящая снедь, было лучшим свидетельством голода. Алексей забрался в трамвай. Нужно сыскать местожительство. С прежней комнатой он рассчитался.

Кондуктор дернул дверь с таким звоном, что трамвай снялся с места, загудев всеми стенками. Вокзал приподнялся на цыпочки и, зашатавшись, отстал, не решаясь бежать за трамваем. Бесконечный рукав Садовых замотался с обеих сторон.

Путешествие кончилось. Кончился год. Кончилось нечто значительное. Может, то, что отходило сейчас, определялось названием — юность. Алексей не искал определяющих слов. Ему казалось, кончается жизнь. Какая смертельная сдача позиций...

Алексей безотчетно слез на Покровке. Лишь почувствовав под ногами панель и увидев переулок, изменившийся (будто прошли года), будто переместивший дома и расставивший несомненно те же дома, но в ином обратном порядке, Алексей перед этим состарившимся, как человеческое лицо, переулком понял, что думает об Ирине. И странно, не о прошлой Ирине, которой, пожалуй, и не было (он забыл ее внешность, выражения, голос), но об Ирине будущей и незнакомой, которую еще надлежало узнать. Он думал об их отношениях, не состоявшихся и не начатых, зарытых в грдущем, как нематериальные зерна. Если б только какое-нибудь грядущее еще ему предстояло.

Ему показалось, что Ирина вернулась в Москву. Сегодня. С другой стороны и с другого вокзала. Тот же самый желтоватый воздух, когда солнце загашено тонкими, быстро летящими облаками и все же за ними ясно при-

сутствует, то же освещение обнимает ее. Она входит в переулок, будущая Ирина, с противоположного конца и рассматривает его так же пристально и удивленно, так же уловив изменение в нем. Их взгляды падают на одни и те же предметы, ну, хотя бы на мыльный пузырь фонаря, парящий над тротуаром. Пути их взглядов окрестились внутри стеклянного шара. Это было осязаемым счастьем.

Ничего подобного не было.

Это было ошибкой.

Алексей побежал к дому Ирины и понял, что происходит неладное. Он не сразу установил соответствие между открытыми воротами и грузовыми платформами, загородившими переулок. Лошади в упряжи крепко стояли, помахивая головами. Люди, покрикивая и пригибаясь, тащили мебель наружу. Вот, тяжело ступая по воздуху, до платформы добрался комод. Вот туалет нежнейшего теплого красного дерева. Странно видеть предметы с изнанки, с оборотной неотшлифованной стороны. Не связанная в одну формой комнаты, не поддержанная полом, не накрытая потолком мебель выглядела на улице маленькой и нарочной. Ножки кресел, расставленных на тротуаре, казались ломкими, готовыми треснуть от прикосновения к плитам.

Грубейшая плотность камня отрицала резьбу непрочного дерева.

— Что здесь происходит? — спросил Алексей все того же ветхого сторожа.

— Забирают, въезжают.

— Кто въезжает?

— Отдел. Народного. Образования, — отчеканил старик.

— А коммуна?

— Коммуну всю разогнали. Что тут было! Стреляли.

— А барышня?

Алексей шагнул за ворота.

— Вам куда? Мне приказано не пускать. — Старик вцепился в рукав Алексея. — Никого там нету, а мне отвечать,

Рабочие вынесли длинное зеркало. Переулок перекаtywало вдоль гладкой стеклянной поверхности. Дома, пятно неба, все летало то кверху, то книзу. В этом пляшущем переулке, беззвучно льющемся по стеклу, на той подскакивающей стороне тротуара Алексей увидел в зеркало Маркова. Он двигался по тротуару.

Зеркало, в последний раз обдав Алексея мигающими домами, отъехало в сторону.

— Это вы? — сказал Марков, подходя к Алексею.

Они поздоровались, не зная, о чем говорить.

— Вы похудели, — наконец, произнес Алексей.

— Чепуха. Я уезжаю на фронт.

— Куда?

— Воевать. Под Казань, — оживился Марков. Он не мог спрятать новость, его наполнявшую.

— Я недавно видел Казань, — сказал Алексей.

— Вот как! Ну, чего мы стоим? — Марков подхватил Алексея под руку. «Он совсем расхворался, — пришло в голову Алексею. — Какая у него тонкая шея. Туберкулезная шея в широком воротнике».

— И, знаете, я очень рад. Я был убежден, что мирно не кончится. Пусть — откровенная схватка. Прямая борьба не словами, не саботажем. Ведь это же сволочь! Они нас обсели повсюду, — яростно выкрикнул Марков. Глаза его прыгали в слишком широких орбитах. — Но ничего! Пусть отбирают Казань, пусть ломаются в Нижний. Пусть останется двадцать верст за революцией. Но этот круг в двадцать верст мы зальем железом. Расстреляем трусов! А в тыл пошлем агитаторов. Подрывная работа в подполье. И они подавятся нами. Мы их просто расплющим. И тогда развернем такого напряжения жизнь, что все прежнее покажется грязным, гнусным корытом!

«Как он вырос, — подумал Алексей. — За эти несколько месяцев. Он физически вырос. Почему я считал его маленьким?»

— Понимаете? А они нам мешают. И видят в этом геройство. Кичатся своей независимостью. — Голос Маркова полон брезгливости. — Они охраняют корыто, когда им предлагают дворцы. Я иногда не знаю, что это — идиотизм или трусость. Но молодежь должна же быть с нами! Ей-то за что цепляться? То есть, я понимаю, конечно, купеческие сынки, белопокладочники. Но остальные, что им дорого в прежней России?

— Вот я совершил преступление, — забормотал Алексей.

— Я говорю не о личном, — Марков сделался добрым. — В личном все мы хромаем. Я говорю о республике в целом. Ведь она же — для нас. И мы для нее. Республика наша — за молодость. Молодая республика. И республика молодых, если не по признаку возраста...

— Что? — закричал Алексей.

— В чем дело? Вы испугались?

— Нет, нет, я сейчас объясню.

— Хорошо, хорошо, — перебил его Марков. — Я совсем позабыл, я подошел к вам по делу. — Он остановился. — Сходите-ка вы в Пролеткульт. На Воздвиженку. Я помню ваши доклады у Бортниковой. Там нужны работники, и, я думаю, вы подойдете. Скажите, что я вас направил. Там журнал и кружки по искусству. Есть молодежь с производства. — И прежде, чем Алексей подал реплику, Марков заторопился и начал прощаться. — Вы поняли все?

— Я схожу, — сказал Алексей.

Марков отошел шага на два и потом обернулся.

— Послушайте, вы не голодаете? Вот вам моя карточка в столовую на Тверской. Я нынче все равно уезжаю. Обедайте там первое время. — И он

протянул Алексею опрятный кусочек картона с отпечатанными на нем числами месяца.

2

Над Москвой стоит новая идеология. Я притащился в Москву и не могу отказаться от этого чувства. Оно сопровождает меня, как и переживание голода. Потому что я голодаю. Голод же бывает двух родов...

В Нижнем я пробыл недолго. Пили у Золотницкого, галдя, толкались по улицам. Вечером перед отъездом в саду литературного общества местные силы чтили прибывших художественников. Военный оркестр и зажженные фонари. Листва врывалась в электрический свет. Сад изнывал от вторжения электричества, уродовавшего его ночные раздумья. Белые пятна костюмов ключьями пены плескались в аллеях.

— Я, пожалуй, стану партийным, — пьяно толковал Золотницкий. — И тебе тоже советую. Нужно держаться за жизнь.

...О, как тошно я голодаю. Новая идеология молотком расшибает небо. У меня в ушах постоянное бряцание. Будто над головой чинят крышу. По крыше Москвы расхаживают мастера. Стук, стук, стук! «Да здравствует революция!» — кричу и, высовываясь в окно.

...Площадка посреди сада, редко вымытая брандспойтами двух фонарей. Песок под ногами кажется синим. Белые рубашки мужчин, сверкающие кофточки женщин выглядят скроенными ид алюминия.

— Вася, прочти нам «Тройку», нашу русскую «Тройку»! — кричит старик в чесучевом костюме.

Качалов вовсе не крупный, вопреки представлениям, весь — упрощенная копия своих собственных карточек, улыбается и поправляет пенсне. Он делает вид, что ему ничего, почти приятно быть названным «Васей». Но разводит руками и «Тройку» читать отказался. Люди топчутся на песке, глядя на знаменитостей. И тогда Золотницкий заявляет, что здесь левый поэт, и его надо прослушать. Распорядители смущены, артисты смолкают с достоинством. Я выхожу на середину площадки. В этот момент смолкает оркестр. Ночь освобождена от звуковых запасов. Огромная тишина раскинулась во всех направлениях. Голос мой дребезжит. Тишина давит на него, как на тонкую проволоку. Мне стыдно за свои слова, не достигающие до самых ближайших листьев. Слова, возможные только в кафе. Даже ручная городская природа пренебрегает моими словами. Она просто не заметила их, и слова лопаются у губ. Рот мой испачкан их липкими брызгами. Полное поражение перед лицом ночи, неба и Волги.

— Вы из Москвы? — любезно спросила Книппер.

— Да.

— Вы, верно, там выступали в кафе футуристов?

— Выступал.

— Это очень интересно, — говорит она, смотря на меня с сожалением.

...Я голодаю, и в этом есть справедливость. Голод бывает двух родов: естественный голод от недостатка продуктов. И голод воображаемый, сознание невозможности насыщения. Унизительный голод, от которого мозг начинает медленно гнить, и, пожалуй, хочется плакать. Переходящий в панику, граничащий с преступлением, падкий на подлость. И я, изучающий качества голода, клянусь, что в этом есть справедливость!

— Нам нужны статьи по социологии, о женском движении, об английской литературе, — обратился ко мне редактор журнала. — Мы хотим дать рабочим общие сведения по всем отраслям современной науки. Чем могли бы вы нам помочь?

Я молчал.

— Какова же ваша специальность?

Я чуть не ответил: поэт, но мне показалось дурацким существование поэта, не смыслящего ни в чем ничего.

— Может быть вы — корректор или знаете верстку?

— Я попробую корректуру.

Редактор оглядел мой опрятный костюм, блестящие туфли, лепесточек платка в верхнем кармане.

— Хорошо, — сказал он сомнительно. — Приходите завтра с утра.

...Какой легкой, презренно-доступной ко мне ластилась жизнь. И революция казалась моими подмостками. Первая наука, изучаемая мною всерьез, есть наука голодной смерти. Параллельной будет типографское дело.

Алексей поднялся в столовую. Шабельский отстал на Тверской. Он рассказал все, что когда-то выяснил у Абрама. Ирину с письмами анархистов задержали в дороге и вернули в Москву. Возможно, она до сих пор под арестом. Абрама взяли в день взрыва. Тогда же и остальных.

Алексей стоял в очереди.

— Значит, ты существуешь и, может быть, рядом через несколько улиц и зданий.

Алексей просыпался. Беспокойство открылось, как утро.

На прилавке, вдавленные одна в другую, белого металла чашки для супа. Служительница в белом халате отрывала каждую верхнюю и опрастывала в нее ложку щей.

Беспокойство брезжило в Алексее, рассветало, одаривало его будущим.

Существуешь, живешь. Я тебя разыщу. Республика молодежи — ведь это же частный, несостоявшийся вид любви к родине! — вдруг пришло ему в голову. — Вид, вынужденный измениться, потому что снова война. Нужна новая природа любви, образующая новую родину, населяющая ее новыми

породами чувств.

Ложка звякала о борт чашки, и чашка вручалась подошедшему. Другая служительница подала Алексею узкую плитку черного хлеба.

— Спасибо, — сказал Алексей, принимая кусок. — Спасибо. — Непонятно растроганный, что его не обделили. Кусок хлеба был ему, как «добро пожаловать»; независимо от заслуг и ошибок. Просто так, напрасно, на веру.

Он шел с чашкой в руке к столику у окошка. Тверская выдавалась в окне огромным выпуклым парусом. Алексей нес в вытянутой руке жестяную круглую чашку, как свою простую судьбу. За его плечами, за очередью к прилавку, за Ириной, за Хлебниковым, за всеми людьми в разных позах и положениях — вертикально стоял день революции, и потому разговоры каждого с каждым и даже каждого с собою самим могли быть только беседою с временем.

МАЯКОВСКИЙ И ЕГО СПУТНИКИ

Воспоминания

(1940)

СЕРГЕЙ
СПАСКИЙ

МАЯКОВСКИЙ

И
ЕГО
СПУТ-
НИКИ

ГЛАВА ПЕРВАЯ

1

Стихов печаталось много. Тифлисская библиотека новых книг достаточно выставляла их на деревянном щите. Многостраничные труды Бальмонта со сплошными потоками рифмованных строк. Брюсов добавлял к тому том, словно медленно воздвигал устойчивое, заранее рассчитанное здание. Появлялись книги Сологуба, одинаково ровные, написанные, казалось, на одну тему. Сборники акмеистов — менее обширные и внушительные. Наконец, многочисленная россыпь — книги авторов, выступавших в первый раз.

Впрочем, имена некоторых впоследствии повторялись и с ними связывались определенные признаки. Становилось известным, например, что Александр Рославлев обрек себя на подражание Брюсову. А Всеволод Курдюмов соседствует с Кузминым и составляет соответственные стилизации. Но большинство угасало, не вспыхнув, заявив о себе «утонченным» заглавием: «Мерцания», «Голубой ажур», «Чутких струн тоскующие звоны», «Облетевшие мысли», «Полуночные ветры», «Миражи», «Песни ночи», «Пленные головы».

Некоторые поэты выступали, главным образом, во всевозможных журналах. Здесь Влад. Ленский, там Яков Годин. Иные кочевали по изданиям, те связывали свою участь с каким-либо определенным еженедельником или ежемесячником. Так, некий «Поэт из деревни» появлялся лишь в приложениях к «Ниве», Алексей Липецкий обслуживал «Всемирную панораму», а бесследно исчезнувший потом Медведков избрал своим постоянным пристанищем «Женский журнал».

Для тех, кого не печатали нигде, все же существовала особая пристань. Известный в ту пору журналист Николай Шебуев выпускал журнальчик «Весна». Там специально публиковал он начинающих, заполняя широкие листы мелко набранными, густо примыкавшими друг к другу стихотворениями. Гонораров Шебуев не платил. Журнал раскупался сотрудниками и их знакомыми. Сам Шебуев в пределах собственного предприятия выступал в качестве бесспорного вождя. Он давал заочные уроки своей неоперившейся армии, обучал поэтов основам метрики. Предлагались курьезные задания — изложить отрывок Гоголя «Чуден Днепр» стихами. То ямбом, то хореем, то амфибрахией. Шебуеву посылались выполненные уроки. Он публиковал их, сопровождая пространными рассуждениями. От Гоголя при таких операциях не оставалось и следа.

Здесь говорится о предвоенных годах и об очень молодых моих впечат-

лениях.

Но из центров попадали не только книги. Иногда приезжали оттуда и сами поэты. Вероятно, в году двенадцатом или тринадцатом афиши возвестили о прибытии Бальмонта. Вернувшись из длительных странствий за границей, Бальмонт приготовил две лекции. Первая называлась «Поэзия, как волшебство», во второй излагал он впечатления от Океании.

Небольшой человек в длинном расстегнутом сюртуке был неуклюж, но подвижен. Казалось, оступится он на полу эстрады, когда вышел он не то прихрамывающий, не то танцующий. Длинные тусклые, чуть рыжеватые волосы свешивались гривой на воротник. Высоколобое, удивительно неправильное лицо, в котором совмещалось что-то львиное с птичьим. Бальмонт присел у стола, вынул листки, набросил пенсне. Не взглянув ни разу на публику, выгнул шею и вздернул голову. «Зеркало поставь перед зеркалом и между ними зажги свечу». Он произнес это очень протяжно и гнусаво, тряхнув волосами и оборвав последний слог. Таково было начало доклада. Дальше следовали соображения о том, как «одна бездонность отразит другую бездонность».

Доклад — полупроза, полустихи — странное мерцание неопределенных, малозначащих слов. Среди символистов Бальмонт был самым беспомощным теоретиком. Прославление «мгновений», эмоциональных вспышек, влюбленности, восклицания о магической заклинательной силе стиха. Вкусовая оценка каждого звука. («Л» — выражает ласку и влажность.) Элементарное нищезнание, — поэт стоит «за пределами добра и зла». Прославление «греха», романтические обращения к «дьяволу». Все это извергалось Бальмонтом на слушателей. Рассуждения перемежались стихами. «Красные кони, красные кони», — растягивал Бальмонт слова особенно медленно. И вдруг ускорял темп, будто добегал до заключительной гласной. «Красные кони, кони мои!» Носовое «н» рокотало гитарной струной. Публика сдержанно улыбалась.

Стихи читались и отдельно, после доклада, закончившегося заявлением о том, что именно он, Бальмонт, подхватил золотую или звездную нить, переброшенную от Пушкина к Фету. Между поэтом и аудиторией не образовывалось никакой связи. Бальмонт держал себя так, словно находился в каком-то особом пространстве. И читал не для людей, а для обступивших его видений.

Стремительной, но волочащейся походкой наконец ушел он с эстрады. Слушатели расходятся по домам. «Магия слов» ничего не изменит в их жизни. Посмотрели на Бальмонта, как смотрят на причудливых попугаев. Вечер был скучноват.

После Бальмонта приезжал Федор Сологуб с лекцией «Искусство наших дней». Внешне он выглядел проще. Лысая голова, малоподвижное бритое лицо, плотная невысокая фигура. Что-то почтенное, чиновное, размеренное было в этом проповеднике смерти. Он говорил, слегка растягивая слова, мягким, обволакивающим тенором. Читал стихи почти без распева с искусно выработанной, преподносящей каждую букву простотой. Он смаковал гласные, словно наслаждаясь их вкусом. Это чтение, даже вынесенное на эстраду, оставалось чтением: для небольшого круга почитателей. Утомленность, как бы многоопытная пресыщенность присутствовали во всем облике поэта. Казалось, сейчас закроет он глаза, остановится, забудет обо всех. Грезящий чиновник, предающийся мечтаниям петербуржец, вежливый и невозмутимый. «Этика родная сестра эстетике», — поучал он плавно и равнодушно. Он рассказывал о пробуждении волевого начала в поэзии. Цитировал Городецкого: «Древний хаос потревожим, мы ведь можем, можем, можем». Затем прочел он свои стихи о России. Плыли фразы медленные и прохладные. «Твержу все те ж четыре слова: какой простор, какая грусть». Застывшая мозаика из гладких камней. Буддийски спокойное лицо поэта.

Но этот вечер заключал в себе острую приправу в виде выводимого в свет Сологубом Игоря Северянина. Северянину предшествовала некоторая молва. Впрочем, радиус ее действия был ограничен. До широкой публики совсем не доходили маленькие сборники, настойчиво публикуемые Северяниным. Нужно было появиться ему на эстраде, чтоб сразу расшевелить обывателей. И нужно было, чтоб издательство «Гриф» выпустило первую его книгу, которой Федор Сологуб предпослал любезное предисловие.

И все же носились о Северянине смутные слухи. Юродствует. Поет стихи, как кафешантанный куплетист. И связывалось с именем Северянина новое, но уже подхваченное репортерами слово — футуризм. Что обозначает оно, в провинции не понимал еще никто. Мелькнуло известие в газетах о людях с позолоченными носами, явившихся на одну из питерских выставок. К такому сообщению примкнули другие, и все это были вести о скандалах, о молодых людях, устраивавших шумные вечера, обругивавших Пушкина и публику, выплескивавших в первые ряды чай из недопитых стаканов. Вести о раскрашенных физиономиях, о страшных одеяниях этих субъектов. О частых вмешательствах полиции. О том, что дело на некоторых диспутах доходило до драк.

И Северянин примыкал к футуристскому племени, выдавая себя за одного из вожаков. Правда, он вышел нераскрашенный и одетый в благопристойный сюртук. Был аккуратно приглашен. Удлиненное лицо интернационального сноба. В руке лилия на длинном стебле. Встретили его полным мол-

чанием. Он откровенно запел на определенный отчетливый мотив.

Это показалось необыкновенно смешным. Вероятно, действовала полная неожиданность такой манеры. Хотя и сами стихи, пересыщенные словообразованиями, вроде прославленного «окалошить», напигованные иностранными словечками, а главное, чрезвычайно самоуверенные и заявляющие напрямик о величии и гениальности автора, звучали непривычно и раздражающе. Но вряд ли публика особенно в них вникала, улавливая разве отдельные, наиболее хлесткие фразы. Смешил хлыщеватый, завывающий баритон поэта, носовое, якобы французское произношение. Все это соединилось с презрительной невозмутимостью долговязой фигуры, со взглядом, устремленным поверх слушателей, с ленивым помахиванием лилией, раскачивающейся в такт словам. Зал хохотал безудержно и вызывающе. Люди хватались за головы. Некоторые, измученные хохотом, с красными лицами бросались из рядов в коридор. Такого оглушительного смеха я впоследствии ни на одном поэтическом вечере не слышал. И страннее всего, что через полтора-два года такая же публика будет слушать те же стихи, так же исполняющиеся, в безмолвном настороженном восторге.

3

Тяга к стихам связывается с тягой к их авторам. Мне хотелось познакомиться с поэтами. Услышать советы, поговорить о своих опытах. Я навязал свое знакомство Сологубу.

Я был тогда в шестом классе гимназии. Писал, подражая символистам. Только что вышел сборник тифлисских литераторов «Поросль», где находились и мои стихи. Заглянув в артистическую после вечера, я увидел, что сборник преподнесен Сологубу.

Дождавшись момента, когда все разошлись, и сбивчиво объяснил, что участвую в альманахе. Просил Сологуба высказаться о моих вещах. Он предложил навестить его на следующее утро.

Сологуб встретил меня невозмутимо. Он уселся в кресло у окна. Закинув ногу на ногу, постукивая каблуком лакированной туфли, некоторое время он рассматривал меня молча. Сборник лежал на столе. Сологуб раскрыл его и посмотрел на стихи.

Свет из окна падал на его желтоватое, неподвижное, пожилое лицо. Сологуб начал говорить о поэзии. Моих стихов он почти не касался. Мимходом отметил, что одно из них — близкое подражание Вячеславу Иванову. А в другом, воспевающем сказочных принцесс, выражены чувства, вряд ли мною испытанные. И начал объяснять следующее.

Если человеку хочется изложить свои мысли и чему-нибудь научить лю-

дей, то стихи можно и не писать. Достаточно ограничиться прозой или заняться публицистикой. Поэт — тот, кому нравится форма стиха, кто любит рифму и ритмическое распределение слов. Так же, как хороший военный не тот, кто вообще готов защищать родину. Но тот, кто в детстве любит играть в солдатики, кому нравится военная форма и парады.

На такую парадоксальную тему Сологуб говорил долго и веско. Это был законченный формалистско-эстетский взгляд на искусство. — Решать вопрос, — продолжал Сологуб, — о способностях другого бесполезно. Пусть сам он, исходя из высказанного, определит, поэт он или нет.

Несколько разочарованный столь безличными высказываниями и фразой вроде того, что «в молодости все пишут стихи», я поблагодарил и простился. Мы пошли через смежный номер. Там находился Северянин.

Он полулежал на диване в старой тужурке, невыспавшийся, с несвежим, опухшим лицом. На столе перед ним — графин водки и тарелка с соленым огурцом. Отрывисто и важно он сообщил, что вскоре выйдет «Громокипящий кубок». Рядом с тарелкой лежали стихи Северянина, перепечатанные на машинке. Мне очень хотелось их прочесть, но я не решился обратиться к Северянину со столь смелой просьбой.

4

Однажды в витрине книжного магазина я увидел странную книжку. Белая плотная обложка. На ней нарисовано слово — «Трое». Ниже косо расставлены три фамилии — Крученых, Хлебников, Гуро. Потом — кубистический приземистый человечек, черный кружок и большая ни к чему не относящаяся запятая. Я приобрел книгу, не медля, и дома основательно ее изучал.

Фамилии — Крученых и Хлебников были уже известны из газет. Кроме них, застряли в памяти имена Бурлюков и Маяковского. Что они написали — неизвестно. По газетным отчетам выходило, что Бурлюки и Маяковский — главные деятели футуризма. О Маяковском было сказано где-то: красивый юноша с бархатным голосом. Желтая кофта была его отличием. Красивый юноша, ругательски разносивший публику.

Я узнал из предисловия к сборнику, что Елена Гуро умерла. О ней упоминалось тепло и внимательно. — Те, кто удивлялись, почему она с нами, не понимали ни ее, ни нас. — Дальше шло творчество троих.

Я исследовал твердые голубоватые страницы, стараясь обнаружить в них особый ускользящий при первом рассмотрении смысл. Большая поэма Хлебникова, начинающаяся словами «Где Волга прянула стрелой на хохот моря молодого». Поэма показалась мне длинной и скучноватой, не содер-

жащей ничего выдающегося. Полупрозаические, полустихотворные отрывки Гуро походили на пруды с тихой водой. В них отражались деревья и облака несколько причудливо, как это и свойственно при отражении. Отрывки трогательны и задумчивы, но слишком ясны и мягки. Вряд ли в них сущность футуризма. Или футуризм нечто более сложное, чем сообщают о нем репортеры? Даже Крученых с довольно унылой заумью, окруженный такими соседями, выглядел безобидным и ручным.

Книга удивила своим спокойствием, отсутствием боевого духа. Со всем этим можно спорить, но следует ли поднимать такой шум. Действительно футуристичны только иллюстрации Малевича — нагромождения разновеликих кубиков. Угрюмые одноцветные композиции, жестоко похожие одна на другую.

В книге нехватало твердого стержня. Не потому ли, что не участвуют в ней Маяковский и Бурлюки?

Следующий сборник был «Требник троих». Его я принес из библиотеки. Прежде всего там был портрет Маяковского, — набросок, сделанный не то Бурлюком, не то им самим. Молодой человек с закинутыми назад волосами, кстати сказать, одно из самых непохожих изображений. И два-три коротеньких стихотворения. Одно, кажется, кончалось строчками: «А вы ноктюрн сыграть могли бы — на флейтах водосточных труб». Стихи запомнились мгновенно. Тут нет преувеличения, столь присущего поздним воспоминаниям. После бесконечных повторений символистских образов и тем, какие встречались в множестве книг, в этих стихах была прямолинейная новизна, здоровая, крепкая свежесть. Если б Маяковский потом замолчал, те короткие строки все равно остались бы в сознании. Они не походили ни на что прочитанное, — несколько образов, рельефных и ярко окрашенных. В них чувствовалось то, что называем мы даровитостью, — слово неопределенное, но не требующее доказательств. Такие стихи сразу указывали на возможность новых путей. На то, что уделом искусства может быть повседневная современность и ее можно давать вещественно и богато.

Конечно, я не определял своих впечатлений тогда подобными формулировками, но чувство радости было несомненным. Радость, охватывающая всегда при встрече с новым явлением в искусстве. И присутствие такого материала обязывало. Маяковскому тянуло подражать.

Я тотчас занялся этим, потеряв вкус к прежним образцам. Теперь разыскивал я сборники с Маяковским. И мечтал когда-нибудь послушать его.

Но, прежде чем познакомился я с Маяковским, о нем пришлось немало поразговаривать. Мой собеседник был человек осведомленный в футуриз-

ме и вместе с тем «враг» Маяковского. Причем, в отличие от обывательской вражды, я столкнулся с оппозицией к Маяковскому «слева». Это сбивало с толку и ставило в тупик. Но в конечном итоге только усиливало к Маяковскому интерес.

В младших классах французский язык преподавал нам некий М. А. Зданевич. Было известно, что у него два сына: один — художник, другой — пишет стихи. Поэт Зданевич кончал гимназию, когда я ее начинал. Встречать мне его не приходилось, да и велика была разница в возрасте. И вот осенью тринадцатого года я узнаю, что молодой Зданевич, петербургский студент, — активный участник футуристского движения. В одном журнальчике я наткнулся на его фотографию с узорами на щеке и вокруг глаз. Сообщалось о прочитанной им лекции, закончившейся крупным скандалом. Приводились отрывки «Манифеста» с призывом к размалевыванию лиц. Его имя связывалось с Н. Гончаровой и М. Ларионовым, известными как художники крайне левые. Ларионов проповедывал тогда «лучизм» — живопись, сложенную из разноцветных штрихов и полосок. Зданевич также теоретизировал на эту тему.

Правда, обнаруживалось из газетных сообщений, что данная группа величает себя не футуристами, а «всеками». «Всечество» объявлялось дальнейшим шагом. Считалось, что и футуризм уже устарел. Разобраться во всем этом трудно. Так или иначе, Зданевич — первоисточник. Живой, обруганный печатью провозвестник новых форм. Он подолгу гостил в Тифлисе. Через его отца я познакомился с ним.

Поэт оказался чрезвычайно низкорослым. К тому же он сильно сутулился. Большая голова, довольно правильные черты лица, пристальные, едкие, отливающие синевой глаза. Был он аккуратно причесан на прямой, точно разделяющий светлокаштановые волосы пробор. Всегда очень строго одет. На всем облике его налет фатовства. Говорил, сильно картавя, резким, уверенным тенором. Фразы отчеканивал категорически, возражения принимал язвительно.

На нем стоит остановиться, чтоб показать всю пестроту тогдашнего «левого» искусства. Едва народившись, оно разбилось на школки, враждовавшие и конкурировавшие между собой. Люди переходили из лагеря в лагерь, иногда кляли друг друга, иногда объединялись. Таков был кратковременный союз Северянина, возглавлявшего «эгофутуризм», с «кубофутуристами» Маяковским и Бурлюком, — союз, закончившийся полным разрывом. Группки и подгруппки пытались одна другую перекричать, привлечь к себе внимание публики. Закон капиталистической конкуренции проявлялся в этой мелкой борьбе. Илья Зданевич числил себя в самых левых и, разумеется, отрицал всех, кроме своих. Это было для него тем удобней, что его группировка состояла из художников. Он, будучи в ней единственным поэтом, не боялся соперничества друзей.

Сидя в кресле, развалившись на тахте или разгуливая по комнате, засунув руки в карманы коротеньких полосатых брюк, похожий на странную заводную куклу, Зданевич любил основательно поговорить. Или на улице, когда выходил он прогуляться, казавшийся еще меньшим, чем в квартире, под серой шляпой, в широком пальто, в карманы которого иногда всовывал он купленные на углу фиалки. Или в восточных кварталах города, в персидском кабаке после острейшего «кябаба», посасывая мундштук кальяна, стеклянная башенка которого была почти такой же высоты, как сам Зданевич, — всюду продолжал он свой ядовитый монолог. Может быть, рад был он, что обрел в Тифлисе слушателя, и ему все равно было кого поучать.

С тех пор я никогда не встречал столь законченного литературного нигилизма. Причем, в отличие от других, Зданевич казался искренним. Футуристы тогда многое отрицали, многих сбрасывали «с парохода современности». Чаще всего это был полемический прием, и тот же Маяковский в своей среде охотно цитировал классиков. Зданевич же при имени Пушкина кривился. Глубочайшее презрение проступало на выхоленном его, гладко бритом и запудренном лице. Солнце русской поэзии, — картавил он с отвращением. — Это солнце морочения голов. Дальше шло изощренное издевательство. Футуристы доказывали, что Пушкин устарел, что его язык не приспособлен для передачи современных переживаний и состояний. Такую позицию можно было понять. Для Зданевича же Пушкин был преступником, человеком, умышленно запятнавшим искусство. Поймать с поличным, вывести на чистую воду, поставить Пушкина к позорному столбу. До сих пор загадочно для меня, как могло произрасти и развиваться столь уродливое, извращенное воззрение.

Расправа с Пушкиным не требовала особых усилий. Зданевич производил ее мимоходом. Все последующее, вплоть до современников, разумеется, отвергалось также. Но предстояла и более животрепещущая задача — разоблачить тех, кого публика представляла соратниками. Обличить их в подделке и трусости, произнести заклеивающий приговор. С вдохновением призванного следователя Зданевич уличал и обвинял. Маяковский — жалкое подражание Брюсову. Ведь и Брюсов писал урбанистические стихи. Маяковский слегка освежает метафоры, оставляя нетронутым весь строй стиха. Те же размеры и рифмочки — старые, приевшиеся побрякушки. Стрельба холостыми зарядами. От Маяковского нечего ждать.

Однажды Зданевич вытащил только что вышедшую первую тетрадь стихов Пастернака. Наклоняя близорукое лицо над страницами, Зданевич потирал руки. Меня не проведешь. Перекрашенный символизм — таков был смысл его придиричьих высказываний. Знаю, откуда все украдено. Анненский — источник этих стишков. Устанавливая связь «Близнеца в тучах» с Анненским, Зданевич не был неправ. Но связь им считалась преступной. Тайная связь, и вот она обнаружена. Пастернаку не провести Зданевича. Злост-

ный обман раскрыт.

Только о Хлебникове стоит говорить, но и тот бестолков и расплывчат. Чего стоят его огромные поэмы, его архаика и наивная филология? Товар и тут не вполне доброкачествен. А Северянин — просто навоз.

Разрушать следует беспощадно. Все — и ритм, и прежние принципы рифмовки. Да здравствует заумь, но организованная, а не случайная, какую предлагает Крученых, В чем была положительная программа Зданевича — и теперь я не решусь установить.

Несколько позже, когда началась мировая война, Зданевич читал мне свою новую поэму. Она посвящалась памяти летчика, разбившегося на западном фронте. Стоя у конторки, до крышки которой едва достигал Зданевич лицом, он произносил, вернее выкаркивал резким тенором полузаумные, частью звукоподражательные фразы. В его чтении вещь производила некоторое впечатление. Это было что-то вроде ритмической прозы с внутренними рифмами и ассонансами. В задачу входило передать рокот моторов, взрывы бомб, треск ружейной перестрелки. Слоги сталкивались, скрежетами и лопались. Вещь была сухой, как скелет. Однако скелет двигался и жестикулировал. «Браво, Гарро!» — картаво выкрикивал Зданевич. Таков был единственный слышанный мною его опыт. Оставлял он неопределенное раздражающее впечатление. Куда двигаться после таких стихов? Неужели только заумь новый путь?

Через много лет, после революции, мне попалась изданная Зданевичем поэма. Или пьеса, сейчас трудно сказать. Читать ее было невозможно. Вереницы бессмысленных, непонятно по каким признакам сцепленных фраз.

Надо сказать, Зданевич был последовательным отрицателем. Именно в этом он себя находил. В первые военные месяцы германские пушки грозили Реймсскому собору. Зданевич ходил именинником. Хорошо, что уничтожают старье. Он, действительно, лично был доволен. Даже готовил он какой-то манифест, приветствовавший подобный акт.

Единственно, что признавал он, кроме себя, — несколько друзей своих, левых художников. Возможно, вообще он поэзию не любил, отдавая предпочтение живописи. В одну из самых первых наших встреч он стал натаскивать меня на картины Пиросманишвили. Он собирал и скупал по духанам холсты и доски этого прославленного теперь, замечательного мастера Грузии. В ту пору о нем не знал еще никто. Пиросманишвили пропадал в качестве трактирного и вывесочного живописца. Зданевич посылал работы его в Петербург на выставку левых «Трамвай Б». И прочел мне Зданевич свою статью о Пиросманишвили, помещенную в какой-то газете, полную несвойственных автору восторженных утверждений и похвал.

Живописные интересы в доме Зданевичей были, пожалуй, живее литературных. Тому способствовал и приезд брата Кирилла, художника, учившегося в Париже. Кирилл имел какое-то отношение к мастерским Пикас-

со. Первую настоящую «левую» картину я видел именно у Зданевичей. Называлась она «Танго» — большое оранжевое кубистическое полотно.

6

Ранней весной четырнадцатого года я натолкнулся на «Журнал футуристов». Почти одновременно в городе появились афиши, извещавшие о вечере Маяковского, Каменского и Бурлюка.

Как бы ни ворожил Зданевич, а стихи Маяковского захватывали целиком. «Я сошью себе желтую кофту из бархата голоса моего». «Послушайте, ведь если звезды зажигают, — значит это кому-нибудь нужно». Все остальное в довольно сумбурной книге отступало на задний план.

А тут еще эта афиша, приводившая своим видом в волнение. Причудливая помесь различных шрифтов, оглушительные тезисы докладов. Наконец-то можно увидеть Маяковского. Поэта, который сказал, например, так:

В ушах оглохших пароходов
Висели серьги якорей.

Василий Каменский приехал раньше других. Я постучался к нему в номер. Каменский жил в гостинице «Палас-отель» на тогдашнем Головинском проспекте. За столом сидел человек с кудрявыми светлыми волосами, пушисто стоявшими над высоким открытым лбом. Перед ним лежал лист бумаги. На листе виднелись крупно выписанные буквы. Около каждой мелко теснились слова. Слова начинались с буквы, поставленной впереди. Каменский решал задачу, не дававшую многим покоя. Подбирая слова на определенную букву, пытался уловить при сущий букве постоянный смысл.

О Каменском я знал очень мало. Возможно, потому разговор вышел поверхностным. Каменский показался величественным. Закинув голову, он мне сообщал:

— Футуризм обновит всю культуру. Футуризм не только движение в искусстве. Мы создадим футуристическую науку, новую физику, новую математику.

Он подарил мне пеструю тетрадь, отпечатанную на обороте ярких обоев. «Танго с коровами» — железобетонные поэмы. Авторы — Василий Каменский, Андрей Кравцов.

— Это неинтересно, — сказал Каменский, перелистывая творения неведомого мне Кравцова. И тут же выдрал половину страниц. Так о Кравцове я и не узнал ничего.

Что же касается до железобетонных поэм, то эти причудливо разграфленные листы, являвшиеся как бы планом описываемых в поэмах местностей, со столбиками слов, помещенных в разных графах, предназначались больше для рассматривания, чем для чтения. Для Каменского они были нехарактерны. Он скоро от них отошел.

Прошло несколько дней. Я возвращался из гимназии по проспекту. Маяковский вышел из гостиницы. Я увидел его с противоположного тротуара. Высокий, худой, молодой человек в лимонно-желтой кофте и красной феске. Он подозвал извозчика. К нему подплыл запряженный парой вместительный тифлисский «фаэтон». Прохожие удивленно оглядывались. Маяковский шагнул в экипаж. В усиливающем краски ярком весеннем солнце кофта отливала клейкой желтизной. Экипаж повлек по проспекту это веселое зрелище, напоминающее цветочную клумбу. Впечатление мое можно выразить в словах: сон сбывается наяву.

На следующий день я решил к нему пойти. Стукнул в дверь. Раздался голос: «войдите». Маяковский оглядел меня искоса. Я застал его перед уходом. Он расхаживал в жилете по номеру. Бархатный черный жилет, расшитый красными цветами. Он отнесся к моему появлению равнодушно и не задал никаких вопросов. Мне пришлось начать объяснения самому. Я интересуюсь футуризмом и знаю стихи Маяковского. Пишу стихи сам. Маяковский ничего не ответил. Лицо его было серьезно и озабочено. Казалось, он что-то разыскивает. Он вышел, оставив меня одного.

Я находился в небольшой пронизанной солнцем комнате. Я увидел желтую кофту вблизи. Прославленное репортерами одеяние — легкий пиджак с черными шелковыми кантами. Она висела на спинке кровати, и я украдкой потрогал ее. С таким чувством впервые попадают за кулисы театра, в мастерскую, производящую фантастические представления. Мне было пятнадцать лет, и это во многом объясняет мои тогдашние переживания.

Я только что говорил с Маяковским. Если б он не вернулся совсем, я все же ушел бы удовлетворенный.

Но он появился опять. Очень высокий, немного сутулящийся. В номере было тесно для его размашистых жестов. Попржнему не замечая моего присутствия, он подошел к умывальнику. Растирая водой крепкие красноватые руки, заявил:

— Читайте стихи.

Маяковский закончил умывание.

— Подождите, — прервал он меня.

Открыв дверь в соседнюю комнату, он позвал Бурлюка.

— Додя, иди послушай. Стихи хорошие. Футуристов знает.

И одобрил манеру чтения.

Насчет стихов Маяковский ошибался. Стихи были слабым подражанием его собственным темам. Стихи действительно заключали в себе все при-

наки раннего футуризма. За эту преданность левой поэтике Маяковский простил все мои недочеты. Читал же я жестоко нараспев и впоследствии сам Маяковский выколачивал из меня эти фокусы. Давид Бурлюк протянул мне руку, любезный и обворожительный. Он был в малиновом тканом сюртуке с перламутровыми пуговицами. Он прикладывал к сильно напудренному лицу маленький дамский лорнет. Вместе с ним вышел Каменский. Сейчас он тоже был в футуристском обличье. Поверх обыденного штатского костюма на плечи накинута черная бархатная плащ с серебряными позументами. Я стоял, словно среди артистов цирка, готовых к выходу на арену.

Стихи мне пришлось повторить.

— Я беру стихи в журнал футуристов, — сразу распорядился Маяковский.

Впрочем, стихи не увидели света, так как начавшаяся вскоре война прекратила журнал.

— А вот это Ивнев прислал.

Вытащив из чемодана рукопись, Маяковский громко прочел:

Будто молоко сквозь пропускную бумагу,
Сочился рассвет через мое окно.
Я зачем-то вспомнил королеву Драгу
И узорчатое морское дно.

Он был весь переполнен движением. Веселая жизненная сила переливалась в его высоком и тонком теле. Угловатые жесты были выразительны и рельефны. Он не примерялся к собеседникам и к обстановке, оставаясь самим собой до конца. Бурлюк сразу же пустился теоретизировать. («У меня на все своя теория», — впоследствии признавался он мне.)

— Читаете ли вы французских поэтов? Надо читать французских для овладения звучностью.

Бурлюк любил рассуждать.

Желтая кофта надета. Поверх нее Маяковский завернулся в вуалевый розовый плащ, усеянный маленькими золотыми звездами. Вместо фески на этот раз появилась фетровая широкая шляпа. Футуристы готовились к очередному проходу по улицам. Надо взбудоражить город. Через день предстоит выступление. Поэты раскрасили лица гримировальным карандашом.

Мы спустились на Головинский проспект. День полон тепла и солнца. Футуристы продвигались серьезно, словно совершая необходимую работу. Лицо Бурлюка под черным котелком окаменело от важности. Высоко закинута голова Маяковского. Прохожие расступались перед ними, не зная, как обращаться с подобным явлением. Люди отходили в стороны и потом смотрели в спины идущим.

— Это американцы? Правда? Это американцы приехали? — подскочил

ко мне гимназист, увидев, что я простился с поэтами.

7

В театры, на концерты, на лекции учащихся пускали с разрешения начальства. Не уверенный, что инспектор одобрит мои литературные вкусы, я получил у Бурлюка его визитную карточку, чтобы пройти за кулисы. На квадратном куске шероховатого, неровно обрезанного картона оттиснуто убедительным шрифтом без заглавных букв и знаков препинания: «давид давидович бурлюк поэт художник лектор». В назначенный вечер я торопился к театру. Навстречу прошел Маяковский. Он размахивал руками, разгребая толпу напрямик. Маяковского сопровождал гимназист, кажется, его родственник. Маяковский громко разговаривал, словно проспект был его личной квартирой. Вечерний город удивительно соответствовал его сразу запоминающемуся облику. Охваченный полосами электрического света, Маяковский прогуливался перед выступлением. Это входило в его привычки. Так мне объяснил Бурлюк, когда я добрался до сцены.

За опущенным занавесом на покато помосте казенного оперного театра стоял длинный стол. На заднем плане большой холст для демонстрации диапозитивов. На столе — веерами пестрые издания футуристов. Сбоку — нотный пюпитр, взятый, очевидно, из оркестра.

Бурлюк обольщал гостей. Это были две маленькие девушки, кажется, дочери персидского консула.

— Настоящие персидские принцессы, — с удовольствием заявлял Бурлюк.

В любом городе в кратчайший срок Бурлюк обзаводился знакомыми. В отличие от Маяковского он обладал поразительной приспособляемостью. Он извлекал нужных людей, заготавливал их впрок для использования. С девушками держался изысканно, томно мурлыкал, поигрывая лорнетом.

Маяковский вломился на сцену в криво заломленной феске.

— Тигр. Это наш тигр! — не преминул восторгнуться Бурлюк.

Я устроился в маленькой служебной ложе, расположенной над самой сценой, за занавесом. Занавес, громко шумя, двинулся вверх к колосникам. Футуристы сидели за столом. Бурлюк выдержал паузу. Потом он приподнял со стола огромный неизвестно где добытый колокол и, огласив зал его церковным звоном, предоставил Маяковскому слово.

Маяковский швырнул феску на стол. Не оправив сбившиеся, взлохматившиеся волосы, шагнул вбок и остановился перед пюпитром. Он говорил, раскачиваясь всем телом. Его голос широко разлился по залу.

— Милостивые государыни и милостивые государи. Вы пришли сюда

ради скандала. Предупреждаю, скандала не будет.

Его рука придавила пюпитр, толкала и мяла его. Маяковскому присуща была природная театральность, естественная убедительность жестов. Вот так, ярко освещенный, выставленный под перекрестное внимание зрителей, он был удивительно на месте. Он по праву распоряжался на сцене, без всякой позы, без малейшего усилия. Он не искал слов и не спотыкался о фразы. В то же время его речь не была замысловатой постройкой, образованной из контрастов, отступлений, искусных понижений и подъемов, какую воздвигают опытные профессиональные ораторы. Эта речь не являлась монологом. Маяковский разговаривал с публикой. Он готов принимать в ответ реплики и обрушивать на них возражения. Такой разговор не мог развиваться по строгому предварительному плану. В зависимости от состава слушателей направлялся он в ту или иную сторону. Это был непрерывный диспут, даже если возражения не поступали. Маяковский спорил с противником, хотя бы и не обнаружившим себя явно, расплющивая его своими доводами.

И, собственно, не в доводах суть, а в ярком одушевлении и убежденности.

Содержание его слов было достаточно простым и обозримым. Оно изложено в соответствующих манифестах, и нет нужды его воспроизводить. Там утверждалось городское искусство, обогащенное восприятием скорости. Мимоходом громились классики. В этих местах в невидимом мне зале вспыхивал испуганный смех. Маяковский представлял публике поэтов — Хлебникова, Бурлюка, Северянина.

— Вы можете не заметить на улице меня, вы пройдете мимо любого из нас, но если над городом зарокочет аэроплан, вы остановитесь и поднимете головы.

Так говорил он о Каменском, рекламируя его звание летчика.

Его речь опиралась на образы, на сравнения, неожиданные и меткие. И все-таки, изложенная на бумаге, она утратила бы половину энергии. Сейчас ее поднимал и укреплял горячий, мощный, нападающий голос. Голос принимался без возражений, и даже смешки в рядах были редки. Даже самые враждебно настроенные или равнодушные подчинялись этой играющей звуками волне. Особенно, когда речь Маяковского, сама по себе ритмичная, естественно переходила в стихи.

Он поднимал перед аудиторией стихотворные образцы, знакомя слушателей с новой поэзией. То торжественно, то трогательно, то широко растягивая по гласным слова, то сплющивая их в твердые формы и ударяя ими по залу, произносил он стихотворные фразы. Он двигался внутри ритма плавно и просторно, намечая его границы повышением и соскальзыванием голоса, и, вдруг отбрасывая напевность, подавал строки разговорными интонациями. В тот вечер он читал «Тиану» Северянина, придавая этой пустяковой пьесе окраску трагедии. И вообще, непонятный, ни на чем не обо-

снованный, опровергаемый его молодостью, его удачливой смелостью, но все же явно ощутимый трагизм пронизывал всего Маяковского. И, может, это и выделяло его из всех. И так привлекало к нему.

И когда его речь доходила до стихов, зал становился совершенно неподвижным.

Он прочел «Смехачей» Хлебникова и затем много своего. В его чтении заключалась еще одна особенность. Чтение доставляло ему самому удовольствие. Читая стихи, Маяковский выражал себя наиболее полным и достойным образом. Вместе с тем это не было чтением для себя. Маяковский читал для других, совершенно открыто и демократично, словно распахивая ворота и приглашая всех войти внутрь стиха.

— Я знаю, когда я кончу, вы будете мне аплодировать.

И действительно, после заключительной фразы грохотом хлопков ответил зал Маяковскому.

Следующим выступал Василий Каменский. В те времена он еще не вернулся. В крупного чтеца он превратился впоследствии. Читал свое и Бурлюк.

Второе отделение заполнилось докладом Бурлюка о новых течениях в живописи. Обстоятельное и блестящее сообщение, вскрывающее мастерство Сезанна, Гогена, Матисса и Пикассо. На сцене выключен свет, на полотне при помощи волшебного фонаря воспроизводятся снимки с картин. Чтобы поддразнить публику, Бурлюк умышленно спутал одну из рафаэлевских мадонн с рекламной журнальной фотографией. В остальном лекция была веской и добросовестной. Бурлюк — острый, находчивый докладчик-педагог. С упорством подлинного просветителя внедрял он в слушателей полезные сведения.

— Хорошо читал, Додя, — одобрил потом Маяковский.

Мы прощались, чтобы встретиться через несколько лет. Бурлюк давал мне советы. Дело касалось области рифм. «Стекол — около» — это звучит. Главное во всем — новизна.

Маяковский занялся персианками. Сурово посверкивая глазами, он наклонялся над крохотными девушками. «Как ангел небесный, прекрасна, как демон, коварна и зла», — гудел он над их головами.

— Я Лермонтова понял в Тифлисе.

Девушки делали вид, что это их не касается.

ГЛАВА ВТОРАЯ

1

«Облако» я приобрел в Москве осенью пятнадцатого года. Маленькая брошюра в оранжевом переплете. Текст изрезан военной цензурой, оставившей между строф пустые окна.

Война не касалась меня непосредственно. Я поступил в университет. Возрастом и льготами, предоставленными студенчеству, я до времени был огражден от призыва. Но война остановилась вокруг. Она приобрела невыносимую неподвижность, тяготила полной своей безвыходностью. Ей не предвиделось конца. Она словно затвердела, отыскав безразличное, ненарушаемое равновесие. Однообразные сообщения о мелких повседневных стычках. Списки убитых, набранные петитом. Списки награжденных. Крепнущая день ото дня разруха.

Поэзия жила приглушенно, как бы в полусознательном состоянии. Поток шовинистических строк в угодливых газетах и журналах. Как же дышит настоящее искусство? Чем освещает оно окружающее? На каких условиях мирится с ним, каким оружием борется?

Поэзия жила замкнуто, разделенная на иерархические круги. Мэтры не выступали публично. Общаться с ними не представлялось возможным.

В Москве державно господствовал Брюсов. Бальмонт мелькал падучей звездой. След Белого затерялся на Западе.

Сейчас молодой автор смело идет в любую редакцию. Его встречают секторы начинающих в издательствах и литературных организациях. Каждый зрелый писатель охотно берет шефство над младшим. Для всякого советского журнала — дело чести выдвинуть новое имя. Не говоря уже о многочисленных кружках, производящих первоначальный отбор, прививающих первые навыки к литературной работе.

Тогда начинающий был предоставлен сам себе. Как приблизиться к литературной среде? Где, собственно, обретаются поэты? Вдобавок такие, с которыми можно посоветоваться и объединиться.

Мне пришлось случайно попасть в «Свободную эстетику», литературно-художественную организацию, возглавляемую Брюсовым. Выступала главная плеяда московских писателей. Вечер был полузакрытый. Платный, но без афиш. Билеты распределялись между сравнительно близкими. Среди присутствующих я не знал почти никого.

В освещенных удобно обставленных комнатах циркулировали вежливые людские течения. Черные сукна мужчин охватывали минерально-твер-

дую белизну их рубашек. Впечатление светлой серебристости оставалось от душистых туалетов дам. Здесь разговаривали негромко и сдержанно, и смешанный шорох слов поднимался к лепным потолкам.

В этом помещении некогда разыгрывались литературные бури. Символисты завоевывали признание. Теперь добротная, холеная тишина. В длинном зале, окрашенном, помнится, в мягкий кремовый цвет, где по стенам — портреты работы Серова, люди рассаживались перед строгой эстрадой с кафедрой и маленьким столиком. Молчание образовалось раньше, чем появился первый выступавший. В это почтительно заготовленное молчание вступил поэт Балтрушайтис. Высокий, светловолосый и неподвижный. Усевшись за столик, глухо и величаво он преподнес холодные, ровные стихи.

Затем вышел Вячеслав Иванов и предложил какие-то варианты на начало «Слова о полку Игореве».

Я следил за золотыми искорками его пенсне, которое он сдергивал временами с круглого розоватого лица в редком венце седины и протягивал вперед публике. При его довольно плотной, хотя и горбящейся фигуре неожиданным казался тоненький голос. Ему в меру похлопали, как, впрочем, и всем остальным.

Выступали также и прозаики: Алексей Толстой и Борис Зайцев.

Еще во время чтения одного из рассказов Брюсов вдруг выглянул из-за кулис. Угловато нагнулся и скрылся, запечатлевшись в памяти скуластым желтым лицом. После прозы настала его очередь. Он стоял возле кафедры, опершись об нее правой рукой. Его тело было чуть скошено. Сюртук на нем — как твердый футляр. На деревянном, грубо вырезанном лице, как приклеенные, темнели усы, борода и брови. С механической точностью он рубил воздух короткими ударами левой руки. Стихи, докладываемые им, назывались «Ultima Thule». Они строились на сквозной однозвучной рифмовке. В них шла речь о пустынном заброшенном острове. Они ничем не обогащали уверенное огнеупорное мастерство поэта. И все же Брюсов производил впечатление.

Он был кровно родствен всей этой чинной, начитанной и благополучной среде. И, однако, он всем им чужой. Он, в сущности, должен путать всех собравшихся — и беспощадной деловитостью хирурга, расчленяющего слова, предъявляющего звуки, как связку сухопостукивающих обнаженных костей, и в то же время странным жаром спрессованной, консервированной страсти, дисциплинированно клопочущей в его картавом, словно ничем не окрашенном голосе.

И все-таки и этот человек, так жадно стремившийся быть современным, всегда выискивавший новые виды литературы, неиспользованные формы и имена, пытавшийся соединить пирамиды и фабрики и на основании формул алхимии, смешанных с вычислениями Эйнштейна, построить макет современной души и сейчас раньше других бросившийся объезжать за-

падный фронт, чтобы впоследствии с проницательной стремительностью раньше многих войти в ряды революции, — он теперь только берег свое состоятельное прошлое и не мог извлечь из себя мысли, объясняющей и себе и другим содержание данного дня. Он, владеющий неисчислимым запасом названий, по очереди прикладывал их к действительности. Но его обозначения отскакивали от событий, ломались при соприкосновении с ними. И Брюсов стоял, словно не на эстраде, а на том безжизненном острове, о природе которого так точно сейчас сам сообщал. Так должно было с ним продолжаться до тех пор, пока современность сама не назвала себя собственным именем, и ему, неустанному изобретателю определений, на этот раз пришлось покорно это имя принять и добросовестно подтвердить его подлинность.

Брюсов ушел. Пианист Гольденвейзер, сменивший чтецов, осторожно извлекал из клавиатуры стеклянные дребезги Скрябина.

В «Эстетике» не вздохнешь свободно. В лучшем случае — это специальный художественный университет. И, надо отдать справедливость, скучноватый.

Вот вечер, посвященный Верхарну. Жена Брюсова читает свой перевод Верхарновской статьи. Статья толкует о фламандской живописи. У стола президиума студент, племянник Брюсова. К нему тоже все относится с уважением. Поэт предлагает вниманию аудитории посвященный Верхарну сонет. Поэт — из молодых кадров «Эстетики». Но эти кадры, казалось, состояли из преждевременных хорошо одетых старичков. Они ловко упражнялись в стихосложении, оставаясь второсортными подражателями старших. После доклада вежливые вопросы и замечания. Присутствующие знают все обо всем.

С высот «Эстетики» в тогдашней Москве нисходила система кружков. Множество группочек и объединений, часто возникавших по случайному поводу. Иногда дело было в подходящем помещении, привлекавшем знакомых сочленов. Бывало, встречи тянулись из года в год, став бытовой привычкой. О некоторых кружках знали только их участники. В большинстве случаев они нигде не печатались. Совместно мечтали о коллективном сборнике. Подчас такая мечта осуществлялась. Еще одна книжечка попадала в магазины, взятая на комиссию, и лежала, пылясь, среди прочих. В каждом кружке был собственный вождь, удовлетворявшийся комнатным почитанием. Глубоко частные, лишенные и чуждавшиеся общественного сочувствия, такие организации встречали недоверчиво новое лицо.

2

В Москве не было ни Маяковского, ни Бурлюка. Я пустился странствовать по кружкам.

Вот один из них на Сивцевом Вражке. Хозяин — студент, недавно женившийся, владелец отдельной квартиры. День собраний был постоянный. Раз в неделю гости входили в просторную столовую. Белая скатерть чисто сверкала. У каждого прибора — листок бумаги и папиросы. Стаканы налиты, начинался доклад. Доклады были обязательной частью вечера, читались по очереди, касались вполне устоявшихся тем. Творчество Михаила Кузмина, обсуждение стихов Иннокентия Анненского. Иногда реферат о театре. Или о каком-нибудь художнике. Никакой последовательности в чередовании сообщений. Каждый выбирал себе тему по вкусу. Слушали, делали заметки, пили чай.

Прения стояли на уровне ученической добросовестности. С завидной старательностью и очень «культурно» исследовалось то, что давно известно и решено.

Хозяин подходил к стене и зажигал свечи, вставленные в бра. Тушил электричество, воцарялся желтоватый полумрак. К настенному зеркалу, смутно блестевшему между бра, приближался кто-нибудь из присутствующих. Тихим голосом, заглядывая в записную книжку, прочитывал он новые стихи. Если это был сам хозяин, то дарил он очередным сонетом:

Не так ли воплощал святой Флобер
Свои великолепные созданья.

Фразы падали сухие и безжизненные, без образов, без неожиданностей, без находок.

Другой поэт сильно заикался. Маленький, скромный фанатик, никогда не напечатавший ни строки. С печатанием связано слишком много волнений, признавался он, кивая добрым серьезным лицом. С трудом шевеля тяжело двигающейся челюстью, выталкивал он спотыкающиеся строчки. О соловье, распевавшем в клетке, закутанной в черный шелк. «В ночи искусственной своей». Или триолет по поводу окончания трамвайной забастовки, взбудоражившей в ту осень Москву. Впрочем, триолет не имел отношения к политике. Шла речь о голубоватой электрической вспышке, взлетевшей над трамвайной дугой.

Главным лицом был круглолицый, розовощекий символист, говоривший чрезвычайно быстро и сбивчиво. Он имел какое-то отношение к издательству «Мусaget» и, следовательно, соприкасался с небожителями. Сам Брюсов просматривал его стихи. Отчеркнув одну строчку синим карандашом, Брюсов пометил на полях: «хорошо». Это было надежным дипломом. Легендой, передававшейся из уст в уста.

Помимо нескольких совсем неопределившихся лиц, из которых, впрочем, впоследствии выросли один настоящий поэт и один даровитый актер и режиссер, сюда забегали две причудливых фигуры. Два брата, оба пишут

стихи, оба — студенты, оба сильно длинноволосы. Младший — неопрятен и лохмат, старший — аккуратно причесан. Младший вламывается в любой разговор и, трясая всклокоченной шерстью волос, воет стихи под Бальмонта. Старший не менее назойлив, но читает, томно полузакрыв глаза, о том, как «поблескивают сталактиты» в некой неведомой пещере. Оба графоманы и сплетники. Их терпят за последнее качество.

Они знают всю подноготную о жизни крупных поэтов. Носятся из кружка в кружок, представляя собою устную сенсационную литературную газету. Брюсова они прямо выслеживают, сладострастно разбалтывая всем, что он сегодня ест и пьет. Если Брюсов пошел на каток, братья мчатся с известием по всем знакомым. Вероятно, они врут напропалую, эти вьедчивые литературные приживалки. Их нельзя не принять, — они вползут в любое собрание литераторов. Они создают другим крохотную известность своими яростно работающими языками. За это их кормят, даже ухаживают за ними, и они нагло претендуют на внимание.

Стихи прочитаны, раздалось несколько замечаний с погруженных в сумрак диванов и кресел. Все прощаются, чтобы встретиться через неделю. Возвращаются домой московскими уснувшими переулками. На свете происходит война. Ряды войск угрюмо шагают сквозь город к Виндавскому вокзалу. Гул орудий не докатывается до Москвы. Поэты желают друг другу всего хорошего. Они довольны своими соседями и собой.

3

Другой кружок, в противоположность описанному, был беспорядочен и стихийен. Проходной двор, гостиница, открытая всем. Квартира в московском «небоскребе», что и сейчас торчит, как зуб, в Большом Гнездниковском. Хозяин квартирки, Василий Васильевич, давно умер от туберкулеза. Слабохарактерный и трогательный человек, днем он где-то преподавал литературу. В остальное время не принадлежал он себе. Изолированное, двухкомнатное его жилье находится недалеко от центра. Всякому удобно забежать туда по пути, подняться на лифте в один из верхних этажей. Повалиться на низкой тахте, отдохнуть, воспользоваться телефоном.

Василий Васильевич сам пробовал писать. Со стихами дело не клеилось. У него достаточно вкуса, чтоб отдать себе в этом отчет. Стихи никому он не показывает, разве приятелю с глазу на глаз. Впрочем, он поставил на них крест и переживает чужие успехи и интересы.

Поэты сваливаются к нему беспрестанно. Однако все же выделен день, когда собрания считаются законными. Сюда стягиваются совсем юные стихотворцы. Но и здесь имеется свой вождь.

Вождь — сухопарое существо, старше прочих, с острой бородкой, с длинными волосами. Одевался он — как по форме. Бархатная куртка, широкополая черная шляпа. Курит трубку и важно молчит. Это поэт, издавший книгу «Черное кружево». Скоро выйдет второй его труд. Мрачные изысканные стихи под названием «Серебряные паникадила». На друзей Василию Васильевичу не везло. Второй достопримечательностью был такой посетитель. Маленький человечек с тусклым приказчиным лицом. Вид невзрачный, если не считать черной крылатки, в какую завертывался он в подходящий сезон. Заглавие изданной им книги было просто: «Хохоchi, демон зла». На обложке — фигура Мефистофеля. Безграмотные стихи с обилием восклицательных знаков. Заявления о собственной гениальности, после Северянина утратившие остроту.

Эти люди, неизвестно где разысканные Василием Васильевичем, пытались задавать тон. Но случайно к Василию Васильевичу забрела футуреющая молодежь. Оба гения были низложены и с тех пор прятались по углам. Имя Маяковского явилось как бы заклятием, обезоружившим и повергшим их ниц. Безыменные, яростные футуристы превратили жилье Василия Васильевича в свой штаб. Притащили они и сравнительно старших — Шершеневича и приехавшего в Москву Асеева. Стали захаживать художники. Появилась массивная фигура Татлина, о котором стало известно, что он строит свои произведения из железа, стекла и проволоки. Устраивались внезапные доклады, стихи читались бессистемно, но горячо. Хозяин не вмешивался ни во что. Подчас гости и вовсе не знали, кто владелец квартиры. Сами кипятили чай на удобной газовой плитке. Притаскивали к чаю закуски с лежащей глубоко внизу Тверской. И устав от криков и чтений, выбирались на крышу дома.

Впоследствии, в нэповский период, на этой крыше существовало кафе. В годы войны крыша пустовала. Занесенная снегом плоская палуба, обведенная перилами по краям. Одна из самых высоких точек прежней Москвы. Ночь катилась над зимним городом, свежий ветер скользил по лицу. Огоньки Москвы далеко раскинулись вокруг. Глухо переливался шум города. Темное, ребристое море других, более низких крыш. Расселины улиц, отмеченные редкими цепочками фонарей. Удивительно спокойно было постаивать здесь, тихо переговариваясь со спутниками. И все же нет-нет — и проснется тревога. Кажется, если очень прислушаться, из-за горизонта докатится рокот орудий. Война. Неизбежно поджидающая всех участь. Кто на очереди? Кто уйдет туда прежде других?

4

Квартира Василия Васильевича — удобное место общения. Но самые живые разговоры безнадежны, если нельзя ни печататься, ни выступать. Ли-

тературная жизнь начинается с опубликованной строчки, скрепленной фамилией автора. Куда толкнуться, с чего начинать? О толстых журналах — смешно мечтать. Там находят пристанище «имена». Иллюстрированные еженедельники тоже окружены постоянными поставщиками поэзии. И требуют они шовинистических виршей, на которые не у всякого поднимется рука. Газеты не заинтересованы в стихах. И вся периодика в целом враждебна к футуристской продукции.

В общем заколдованный круг.

Были, правда, левые издательства, вернее, несколько скромных объединений, существовавших на добровольные взносы или на подачки состоятельных людей. Но и они захирели с войной, когда вздорожали бумага и типографии. Приостановился «Мезонин поэзии» — издательство московских эгофутуристов. «Центрифуга» выпустила альманах и одну-две книжки стихов. Появился сборничек некоего издательства «Пета», основанного купчиком Федором Платовым. А дальше этот Платов, владевший кинематографом на Таганке, принялся печатать только себя. Был он унылым графоманом. Выпускал тетради высокопарных афоризмов. По-библейски озаглавливал их «Послания от Федора Платова».

Обнаружился и еще поэт-делец из коммерческих московских кругов. Самуил Вермель, писавший стихи в несколько строк по образцу японских «танок». Он сколотил большой альманах, называвшийся «Московские мастера». Это предприятие, как и большинство ему подобных, зависело от воли того, кто давал на издание деньги. Всюду та же кружковщина и групповщина, стремление выскочить, покрасоваться и покомандовать. И, конечно, очень мало охоты поддержать начинающего поэта.

Так, вождь «Мезонина поэзии» любил разыгрывать из себя футуристского Брюсова. Сам еще достаточно молодой, он совмещал в своем облике денди и эрудита. Он приглашал в определенные часы в свой, обставленный по-профессорски, кабинет. Скрестив руки, покачивая длинным лицом, он читал отпечатанные на машинке строки. Правильный пробор, искусственный цветок в петлице, вождь чувствовал себя все время словно перед зеркалом. Жестоко подражавший Маяковскому, он боялся его и ненавидел. Всячески старался себя противопоставить Маяковскому, щеголяя своим знанием французских поэтов и Маринетти. Хронологии он придерживался особой: «Это было тогда, когда я написал «луна, как ссадина на коже мулатки». От собеседника требовалось почтение и должное удивление перед остроумием мэтра.

Идейный руководитель «Центрифуги» попросту ненавидел молодежь. Сам неудавшийся стихотворец, он избрал своей профессией желчность. Молодых он «уничтожал» с усердием, достойным царя Ирода. «Слишком много развелось футуреющих мальчиков», — высказывался он напрямик. С искривленным лицом, держась за щеку, словно у него болят зубы, вгрызался

он в прочитанные ему стихи. Оглушить, облить едкой кислотой, заставить человека разувериться в своих силах. Вероятно, он воспретил бы поэзию, если б это было в его возможностях.

Таким образом, даже в «левых» кругах молодому поэту нельзя было рассчитывать на внимание. В лучшем случае его терпели как ученика, покорно принимающего хозяйские щелчки. Подобное отношение со стороны старших соратников особенно удивляло после знакомства с Маяковским.

Вот почему с особенным интересом молодежь относилась еще к одному кружку. Он отличался от прочих тем, что объединялся вокруг настоящего журнала. Правда, журнал в ту пору не выходил, но поговаривали об его возобновлении. Журнал, целиком опиравшийся на молодые силы, весьма незаметный, называвшийся «Млечный путь».

Мне показывали широкие аккуратные тетради, украшенные рисунками и переполненные стихами. Под стихами — множество имен, которые ни в ту пору, ни теперь не сказали бы читателю ничего. Большинство стихов были чистенькими и ровными, словно выведенными блеклыми красками. И, однако, журнал не был пошл. Любовный вкус чувствовался в отборе таких акварелей. Грамотная и добрая рука занималась их окантовкой. Собирателем этих коллекций был редактор и издатель журнала. Звали его Алексеем Михайловичем. Происходил он из купеческой среды, но, судя по журналу, вряд ли отличался коммерческой хваткой. Жил скромно, в небольшой квартире в Замоскворечье. Неразговорчивый, по-своему упрямый, несомненно урезывал он семейный бюджет ради гиблого литературного предприятия.

Сам писал он тихие стихотворения фетовского или даже фофановского склада. Но оказался он широким в своих вкусах к немалой тревоге окружавших его друзей. Не боясь нарушить свой лирический замоскворецкий уют, начал присматриваться он к молодым беспризорным футуристам. Притянутые в его квартиру через общих знакомых, молодые почитатели Маяковского почувствовали себя там как дома. Алексей Михайлович понимал нужды гостей и угощал их не деликатесами, а множеством добротных бутербродов. Тактичный, внешне застенчивый и внимательный, он выслушивал громоносные, подчас очень резкие строки. Постепенно выяснилось, что он действительно собирается снова выкинуть деньги на ветер. Журнал предположено возобновить. И в нем первые места отведены для новых беспокойных пришельцев.

Два номера вышли в свет весною шестнадцатого года. Пестр подбор их участников. Имена их не вошли в литературу. Странное сборище несостоявшихся писателей. Некоторые погибли потом на фронте. Некоторые бросили литературу совсем. Журнал выглядит литературным кладбищем. И все же о нем стоит упомянуть.

Наряду с «акварелями», «райскими плодами», «горными утрами» там

находятся несколько вещей, написанных в манере Маяковского. Влияние Маяковского чувствуется не только на стихах, но, что неожиданно для того времени, и на прозе. На рассказах, перенасыщенных городскими сравнениями, составленных из необычно построенных фраз. Журнал — вещественное доказательство основательного воздействия раннего Маяковского на молодежь.

Воздействие это было огромным. «Облако» нельзя было отменить. Несмотря на твердыню «свободной эстетики», на недоверие к Маяковскому в мелких кружках и группах, на сопротивление больших и малых «мэтров», наконец, несмотря на враждебность многих завидовавших Маяковскому соратников и «друзей», «Облако» излучало из себя энергию, отбирало и перестраивало людей. Поэма была во всех своих элементах манифестом нового искусства. И будучи его развернутой программой, вместе с тем она являлась и реальным его образцом. Она учила иначе видеть, иначе сопоставлять впечатления. Она вводила в поэзию новый материал, повседневный, городской, «низменный». Она насыщена была конкретными метафорами — динамическими, вещественными, объемными. Образность в духе Маяковского стала надолго обязательной для поэзии. Но пользование образами было бы беспредметной игрой (как впоследствии в бесталанных руках имажинистов), если бы сквозь яркую форму не просвечивало новое понимание мира. В центре бешено сменяющихся явлений стоял живой обыкновенный человек. Каждое свойство его признавалось драгоценным и важным. Крайний урбанист, Маяковский не распластался перед машиной и городом. «Мельчайшая пылинка живого — важнее всего, что я сделаю и сделал». Вдобавок «человек», входящий с Маяковским в искусство, не был отвлеченным «все-человеком» символизма. Это — человек социальных низов, отрицающий буржуазный уклад. В пределах «Облака» склонный еще к анархизму, но высоко поднявший свои четыре «долы». Выступивший против прежних форм любви, искусства, против религии и государства. Поэма воспринималась не только как замечательный факт искусства, но и, действительно, как голос некоего «тринадцатого апостола», проповедывающего борьбу на баррикадах и близкую, неминуемую революцию. «Облако» делило людей на два непримиримых лагеря. За поэму или против нее, — так стоял тогда вопрос среди молодых.

Был вечер поэтов-студентов в огромной богословской аудитории Московского университета. Расположенные амфитеатром скамьи загрузились сверх всякой меры. Выступали поэты, записывавшиеся тут же. Предварительной программы не существовало. Выступало человек пятьдесят, а сотни слушателей тоже были поэтами. Вечер проходил чрезвычайно шумно. Шел бой из-за Маяковского. Сторонники Маяковского, о которых ему самому не пришлось, вероятно, даже и услышать, взбирались на кафедру, выкрикивали стихи, скроенные из материалов «Облака». Свистки, хохот, рев сочув-

ственных голосов. Читались произведения, непосредственно посвященные Маяковскому. На иных из его почитателей пестрели цветные кофты. Те, кто принял Маяковского, мгновенно становились друзьями. Люди знакомились, произнося вместо фамилий цитаты из «Облака». Фразы Маяковского раздавались в коридорах. И когда выше я упоминал о левой поэтической молодежи, я имел в виду именно тех, для которых Маяковский тогда был единственным вождем.

ГЛАВА ТРЕТЬЯ

1

Но где же сам Маяковский? В Петрограде, служит в автомобильной роте. Недавно выступил в «Бродячей собаке» с ругательскими стихами против тыловых спекулянтов. Крупный скандал, кажется, вмешательство полиции. Стихи докатились до нас.

Вообще ж выступать ему нельзя.

Попадались его стихотворения в «Сатириконе». Дошли слухи о новой поэме «Война и мир». Поэма, направленная против войны. Если б услышать ее!

В феврале шестнадцатого года я впервые выехал в Питер. Я чувствовал себя негласным делегатом от всех почитателей Маяковского.

Вот и Петроград. Длинный путь от вокзала в трамвае, привезшем меня на Зверинскую улицу, где я остановился у знакомых студентов. Серый мгlistый денек. Неведомые просторные проспекты. Но изучать город мне не хотелось. Я едва разобрался в главных магистралях, сонно воспринял широкую протяженную ложбину придавленной снегом Невы. Не удосужился зайти в Эрмитаж, прошел мимо прославленных театров. Заглянул только почему-то на отчетную выставку Академии художеств, подавившую унылым подбором жанровых сцен и исторических картин. Странно признаться, но даже Медного всадника я приметил только из трамвая с противоположного берега. Я по-дикарски обошелся с городом, но не ради города я приехал. Мне хотелось повидать Маяковского. Его адрес я выяснил в Москве.

Разыскал я его на Надеждинской. Он жил в довольно просторной комнате, обставленной безразлично и просто. Комната имела вид временного пристанища, как и большинство жилищ Маяковского. Необходимая аккуратная мебель, безотносительная к хозяину. Диван, в простенке между окнами — письменный стол. Ни книг, ни разложенных рукописей — этих признаков оседлого писательства.

Но так и должно это выглядеть. Маяковский «писал» в голове. Готовые стихи переносились на бумагу. Это не значит, что он добывал их легко. Отбор слов, их пригонка друг к другу осуществлялись с необходимыми трудностями. Но фразы отрабатывались голосом, перетирались одна о другую, когда бродил он взад и вперед, невнятно бормоча их про себя. Ритм стихов был ритмом его походки. И от такой неприкрепленности творчества, к месту, времени, бумаге, столу Маяковский никогда не казался отдыхающим, свободным от своей жестокой повинности. Он нисколько не удивился моему появлению, будто мы расстались вчера. Предложил сесть на диван. Не прервал дела, которым был занят. Он стоял перед наколотым на стену листом плотной бумаги и раскрашивал какой-то ветвистый чертеж. Это входило в его военные обязанности — поставлять для отряда графики и диаграммы. Вглядываясь в рисунок и прикасаясь кистью к листу, Маяковский вел разговор.

Он выглядел возмужавшим и суровым. Пропала мальчишеская разбросанность движений. Он двигался на ограниченном пространстве, отступая и приближаясь к стене.

Одет он был на штатский лад — серая рубашка без пиджака. Чтоб избежать надоедавшего козыряния, он разрешал себе такую вольность и на улицах. Но волосы сняты под машинку, и выступила крепкая лепка лица. Он разжевывал папиросу за папиросой, перекачивая их в углу рта.

Что делается сейчас в Москве? Это интересовало его в первую очередь. Я докладывал о московских общих знакомых. Появилась ли способная молодежь? Он проверял поэтические ряды.

Я отчитывался в собственных стихах. Маяковский немногословно оценивал. Беседа шла деловито. Я спросил его о «Войне и мире». Негромко, продолжая работать, без лишних слов, он начал читать:

Нерон!
Здравствуй!
Хочешь —
зрелище величайшего театра?
Сегодня
бьются
государством в государство
16 отборных гладиаторов.

Маяковский словно рассказывал. Была новая для него величавость в этом приглушенном комнатном чтении.

Чтение почти подпольное, чтение вещи, на опубликование которой нельзя рассчитывать в данное время, чтение стихов, заготавливаемых впрок, требующих для своего обнародования изменения социальных условий и все-

таки осуществляемых Маяковским в полной уверенности, что стихи пригодятся. Скоро он прервал себя и взял белую тетрадь с подоконника. На гляцевом твердом картоне черной краской фамилия — Маяковский.

Он надписал мне «Флейту-позвоночник», только что вышедшую и не добравшуюся еще до Москвы. Тут же сказал он, что бывает у Горького. Со сдержанной гордостью заметил, что Горькому нравятся его стихи. Затем предложил идти вместе.

— Поведу вас к моим друзьям.

Несколько раз я провожал его в тот приезд. В мягкой шляпе, в темном демисезонном пальто, опасаясь встретить военное начальство, Маяковский шагал, чуть сутулясь, не смотря ни на прохожих, ни на дома. Он шел как во враждебном лагере, где все недоброжелательно и опасно. Глядел исподлобья на город, наполненный офицерскими шинелями, тусклым блеском чиновничьих пуговиц.

Мы забежали в редакцию «Сатирикона». Маяковский сунул мне свежий номер со стихами, начинавшимися так:

Мокрая, будто ее облизали,
Толпа.
Воздух прокисший плесенью веет.
Эй, Россия, нельзя ли
Чего поновее?

— Печататься можно везде, — объяснил он, — если заставишь редакцию считаться с собой.

Мы пришли на Жуковскую к Брикам.

— Вот, Спасского привел, — объявил, вталкивая меня, Маяковский.

Две маленькие нарядные комнатки. Быстрый, худенький Осип Максимович. Лиля Юрьевна, улыбающаяся огромными золотистыми глазами. Здесь было все просто и уютно. Так показалось мне, может оттого, что и сам Маяковский становился тут домашним и мягким. Здесь он выглядел словно в отпуску от военных и поэтических обязательств. С трудом поворачиваясь среди тесно поставленной мебели, он устраивался на диване или в креслах. Его голос глухо журчал, невпопад внедряясь в беседу. Он пошучивал свойственным ему образом, громоздко, но неожиданно и смешно. Подсаживался к широкому бумажному листу, растянутому на стене, испещренному остротами, замечаниями и рисунками посетителей, и вносил в эту первую, вероятно, в природе «стенгазету» очередной каламбур. Здесь он обычно обедал. Здесь было его первое издательство. В издательской области хозяйничал Брик. Он мгновенно засыпал меня вопросами. Мне пришлось в более пространном виде повторить сведения, переданные уже Маяковскому. Брик перетряхивал все новости, как бы производя им точный подсчет. Что

успели приготовить поэты, где и как собираются печататься?

Брик разостлал на столе альманах «Взял», недавно выпущенный им и Маяковским. Брик разглаживал шероховатые страницы, с удовольствием демонстрируя содержание.

— Маяковского надо уметь читать. Обычно попросту не умеют прочесть правильно текст. А вы умеете?

Я доказал, что умею.

Брик весь был переполнен Маяковским.

Бурлюк организовывал футуризм в его первоначальном варианте. Маяковский перерос футуризм, используя его как трамплин для прыжка. В квартире Брик закладывалась школа Маяковского, та, что впоследствии поднялась на поверхность. Школа, чьи судьбы связаны не только с непосредственными продолжателями интонаций Маяковского.

За обедом продолжалась беседа о политических злобах тогдашнего дня. О Горьком, о его журнале «Летопись», об отношении Горького к Маяковскому. О московском нашем «Млечном пути», слухи о котором докатились сюда. Маяковский слушал и вмешивался. И в то же время в нем продолжалась его неустанная работа. Слова, проходившие над столом, будили в нем особые представления.

— Надо послать заказной бандеролью, — по какому-то поводу сказал Брик.

Маяковский вцепился в слово и медленно разжевывал его:

— Бандероль, — бормотал он, повторяя за слогом слог. — Артистов банде дали роль. Дали банде роль, — гудел его голос, ни к кому не обращаясь, извлекая из попавшихся по дороге созвучий новые возможные содержания.

2

И вот я возвращался в Москву из города, словно приснившегося мне. Город для меня остался чужим. Настолько далеким, что мне странно теперь совмещать его с найденным впоследствии и обжитым Ленинградом. Кажется, тогда я был в другом месте, — сумрачном, тревожном и тоскливом, несмотря на освещенную тесноту Невского и шум переполненных спекулянтами и офицерами кафе. И единственным до конца реальным явлением был в городе для меня Маяковский. Вот мы идем по незнакомым улицам. Лицо Маяковского озабочено. Он шагает очень крупно, так что за ним трудно поспеть. Мы оказываемся на пустом пространстве, на обширной площади, занесенной снегом. С двух сторон сухие деревья безлиственных мертвых садов. Вдали неясные здания. Площадь безотрадно гола.

— Марсово поле, — сообщает Маяковский. Тут нам нужно проститься. Он пересекает снежное пространство. Я стою на ветру.

Возвращаясь в Москву, я думал о Маяковском. Я переживал впечатление от всего облика его, ставшего более твердым и отчетливым. Без желтой кофты, переступивший через сумбурные лозунги первоначального футуризма, он опирался на свое внутреннее содержание. Насколько выше он был доморощенных московских мэтров, следящих один за другим из-за угла и сообща обвиняющих Маяковского в отступничестве.

— Помилуйте, «Новый Сатириконт», стишки вроде сатириконтца Горянского. А какая тяжелая рифма — ведет река торги — каторги.

— Все они сосут молоко из моей груди, — шутливо заметил однажды Маяковский.

А хлопотливый Брик тут же начал развивать идею:

— Надо издать сборник «Ученики Маяковского». Как вы думаете, они согласятся?

Брик назвал несколько фамилий.

Я ответил, что не согласится никто. Каждый из подражавших Маяковскому изо всех сил старается доказать, что именно он первый сказал — а.

Но, несмотря на сознание своего превосходства, Маяковский оставался чрезвычайно простым. Он радовался успехам товарищей и всячески готов был поддержать молодых. Фатоватая поза, вздернутая голова, самовлюбленные, процеженные сквозь зубы фразы, модное тогда кокетничанье собственной «гениальностью» — все это было глубоко враждебно ему. Прямо, без всяких предисловий, не желая выслушивать никаких благодарных восклицаний, подошел он к телефону, позвонил в журнал «Очарованный странник», опиравшийся на левую молодежь, и совершенно категорически предложил редактору назначить мне скорую встречу и напечатать мои стихи.

Как бы для того, чтоб наглядно ощутить разницу между людьми и течениями, существовавшими тогда под обветшалой вывеской футуризма, на обратном пути в Москву я встретился в поезде с Самуилом Вермелем.

Я упоминал уже об этом поэте-издателе. Им выпущен был в ту пору альманах «Весеннее контрагентство муз» с Маяковским, Бурлюком и Пастернаком. Вскоре должен был выйти большой сборник «Московские мастера» с Хлебниковым и Асеевым. Сам Вермель издал свои «Танки» — коротенькие стихотворения в духе японских поэтов. Худой, невысокий и чопорный, Вермель впоследствии занимался театром и даже играл Пьеро в «Покрывале Пьеретты» у Таирова. В высокой котиковой шапке, в темной шубе, отлично пригнанной к его сухой фигуре, Вермель сидел со мной за утренним кофе в Клину и потом в вагоне, подъезжавшем к Москве. Полузакрыв холодные, темные глаза, он говорил, главным образом, о себе.

— Мои стихи вызывают раздражение. Меня встретит еще большее недовольство, когда я напечатаю стихи из одной строки.

Действительно, такое «стихотворение» впоследствии появилось: «И даже кожей своей ты единственная».

Типичный эстетствующий буржуа, Вермель уловил, что левое искусство может быть прибыльным предприятием. И в деловом, и в материальном отношении он считал выгодным к нему присоединиться. Футуризму грозила опасность быть прирученным и использованным буржуазией. Несомненно, не произошли бы революция, многие бы «левые» пошли на эту удочку. И можно представить без труда, в каких яростных формах разыгралась бы тогда их борьба с Маяковским.

3

К подъезду Вермеля однажды пришли мы с Хлебниковым, одним из основоположников и крупнейшим поэтом футуризма. Говоря о Маяковском, нельзя не вспомнить об этом человеке, столь непохожем на Маяковского и так Маяковским ценимом.

— Вы-то понимаете, что Хлебников гениальный поэт? — спросил как-то Маяковский у одной знакомой.

Вскоре после приезда в Москву я познакомился с Хлебниковым. Хлебникову нужны были деньги. И мы отправились к Вермелю.

«Московские мастера» уже вышли. Сборник был изготовлен пышно. Впервые в истории футуризма появилась книга представительная и изящная. Чуждая футуризму всем своим обликом, книга соперничала с продукцией «Скорпиона». В книгу вклеены на отдельных листах цветные репродукции с картин левых художников.

Там были стихи Хлебникова, прозрачные и тихие:

Эта осень такая заячья,
И глазу границы не вывести
Осени робкой и зайца пугливости.

Была там и причудливая его повесть с коротким названием «Ка».

Денег Хлебникову Вермель не припас. Мы ходили к дверям его квартиры, не допуская Хлебникова внутрь.

— Кто спрашивает? — слышалось из-за цепочки.

Выпрямившись и стараясь сделать свой тонкий голос внушительным, Хлебников отчеканивал фамилию. За дверью удалялись и возвращались шаги. Хозяина не оказывалось дома.

Мы спускались по лестнице. Хлебников шагал, весь съежившись. Вдруг на лбу его что-то дрогнуло.

— Я понял, — сообщил он, обернувшись.

И высоким, отрывистым говорком, словно ставя между словами много-точия, он объяснил, что это судьба. Вер — мель. Мель — вер. Чего можно ожидать от человека, на котором стоит такой знак? Мель, подстерегающая веру. Хлебников улыбался находке.

Жилось Хлебникову всегда плохо. Он бедствовал и не имел пристанища. Лучшие друзья часто уставали от него, не будучи в силах справиться с его неприспособленностью и неорганизованностью. Как правило, у него не было денег. Случайные издатели запускали руки в разваливающиеся вороха его рукописей и, наугад, вытащив связку, россыпью печатали его стихи. Иногда раздавался его протестующий голос: «Давид и Николай Бурлюки продолжают печатать подписанные моим именем вещи, никуда не годные, и, вдобавок, тщательно перевирая их». Но голос терялся в пространстве. И к тому же, как видно из рассказанного, напечатанное не оплачивалось.

Деньги нужны ему были для путешествий, а не для обзаведения имуществом. Имущество Хлебникова ограничено. Оно помещалось в вещевом мешке. Туда укладывались накопившиеся рукописи, листки с мелкими значками и буквами. Буквы роились, как насекомые. Кроме бумаг, мешок содержал куски хлеба. Поломанные коробки папирос. Ночами мешок мог служить подушкой. Иногда добавлялся причудливый груз, вроде кустарных ящичков или игрушек.

С таким мешком он пришел ко мне, кажется, в марте шестнадцатого года. Я познакомился с ним на обычном сборище у Василия Васильевича. Хлебников сидел на подоконнике, согнувшись и разглядывая стену. Он недавно прибыл из Петрограда. Неизвестно, кто направил его сюда.

Во всяком случае, Василий Васильевич его не знал. И объяснил мне растерянно:

— Вот пришел, назвался Хлебниковым. Сел в углу и молчит.

Люди сновали по комнате, не решаясь к нему приблизиться. От него словно отделялась тишина, образуя запретную зону. Кое-кто говорил умышленно громко, стараясь привлечь внимание гостя. Хлебников не поднимал головы.

...И как нахохленная птица,
Бывало, углублен и тих,
По-детски Хлебников глядится
В пространство замыслов своих...

Молодежь разглядывала его со стороны: Хлебникову сопутствовала узкая, но отчетливая слава. Чудак. Самый крайний из футуристов. «Освободитель русского стиха», назвал его в фельетоне Чуковский. Написал: «О, рассмейтесь, смехачи». Слава, смешанная из ругани и восторга.

Я долго набирался духу, прежде чем к нему подойти. Вероятно, я рас-

спрашивал его, откуда он и надолго ли в Москву. Я получал ответы быстрые и односложные. Напоминающие текст телеграмм. Разговор не имел развития. Но я завладел адресом Хлебникова. Не помню, как Хлебников исчез. К середине вечера его уже не было. И, пожалуй, все упростилось вокруг, в освободившемся от его присутствия обществе.

На утро я отправился за город. Хлебников остановился в Петровском парке. Там проживал его брат.

Был один из тех мартовских дней, когда весна вдруг заполняет всю окрестность. Весна еще будет отброшена, ей еще не позволено укрепиться. Но пока, на небольшой промежуток, небо пропитывается слепительной голубизной. Снег сияющий и золотистый делается пористым и ноздреватым. Дачные домики, оттаяв, желтели.

Я разыскал бревенчатое строенье. Хозяйка впустила меня. Хлебников сидел в комнате перед столом. Самовар сверкал помятой оболочкой.

Хлебников пил чай, заваривая его упрощенным способом. Сыпал чайники в стакан и ожидал, пока они настоятся. Солнце запуталось в его пушистых волосах.

Хлебников не переменял положения. Не сказал полагающихся в таких случаях слов. Он объяснил мне только направление своего взгляда, указав на одну из стен:

— Вон — заяц... Я на зайца смотрю. Заяц. Это хорошо.

На стене висело чучело зайца.

И затем он показал свое достояние — кустарные коробки, вырезанные из белой липы. Хлебников вывез их из Сергиева Посада, куда ездил кого-то навестить. Коробочки, мягкое дерево которых обожжено простенькими узорами. Одна коробочка служила портсигаром. В другую насыпана денежная бумажная мелочь. Хлебников не пояснял, в чем их прелесть. Он не делал другого соучастником своих вкусов и склонностей. Он словно находился с коробочками наедине. Но по коридору бродила хозяйка. Лицо Хлебникова помутнело. Хозяйка бродит и ждет. Брат, оказывается, уехал совсем. Комната вперед не оплачена. На-днях окончится арендный срок. Хлебников брошен, и жить ему негде.

Это выяснилось из отрывистых фраз. Я предложил Хлебникову свою комнату.

4

Блуждание являлось его профессией, добавочной и примыкающей к литературе. Он жил словно на станции, сойдя с поезда и ожидая другого. Инстинктивная тяга к перемещениям, периодически охватывающая перелет-

ных птиц. Недаром летом семнадцатого года так отметил он свой душевный подъем: «Я испытывал настоящий голод пространства, и на поездках, увешанных людьми, изменившими войне, прославившими мир, весну и ее дары, я проехал два раза, туда и обратно, путь Харьков — Киев — Петроград. Зачем? Я сам не знаю».

И тогда, явившись ко мне, он готовился к выезду в Крым.

Денег на отъезд не было. Значит, надо ждать и работать. Работал он непрестанно. И, добравшись до моей комнаты, он вскоре оказался за столом. Бумаги вытрясены из мешка. Он сидел, сгорбившись, за столом. Замирал, втянув голову в плечи, вдвинув руки между колен. Вдруг надувались его щеки, словно разминал он набившийся в рот воздух. И затем, выбрасывал он воздух со звуком откупориваемой бутылки. Неожиданно словно падал вперед, перемещая затекшие ноги. И вскакивал резко со стула, останавливался у стенки, разглядывал пол. Внезапная мысль сталкивала его ночью с кровати, и одним прыжком он бросался к столу. И тогда можно было видеть его сутулую спину, будто согнутую постоянной кладью. Слышался тихий скрип пера. Буквы расставлялись колонками и узорчиками. Иногда он обводил их линиями и заключал в круглые ободки. Это было странное зодчество, до сих пор вызывающее недоумение. Воздвигалось огромное здание из самых разнородных материалов. Словесные слитки, тонкие и проницаемые, украшали его, как цветные стекла.

Где тонкой шалью золотой
Одет откос холмов крутой
И только призрачны и наги
Равнины белые овраги,
 Да голубая тишина
Просила слова вещуна, —
Там праздник масленицы вечный...

Но размер обязательно изменится. Рифмы переплетутся в неугадываемых заранее сочетаниях. А дальше окажется, что это совсем не стихи. Внимание автора как бы переместится в сторону. В строки вломятся числа и рассуждения. И вот уже стихи превратились в доклад, и рядом с обнаженными, раскрытыми во всю ширь горизонта образами вам сообщаются и сведения о буквах, из которых данные образы построены. Метафоры пойдут рука об руку с формулами.

Хлебников не утаивал своей лаборатории. Все бытует в стихах одновременно. И случайно пойманная фраза («хитрый, как муха», повторяла одна знакомая излюбленное свое выражение, и Хлебников вписывает в очередную поэму: «город, хитрый, как муха»). И черновая заметка из тех, что обычно прячутся в записных книжках. И свежая таблица словообразова-

ний. И числа, почерпнутые из всевозможных источников.

Здесь любопытно, например, такое сопоставление. Один из самых придрчивых к форме, самых сознательно вглядывающихся в процессы формообразования художников, во многих случаях совпадающий с Хлебниковым, — Андрей Белый работал над последними романами так: он окружал себя множеством папок, где заводились личные дела героев. Существовало дело — «Профессор Коробкин», расчлененное на множество рубрик. Внешность героя, герой в той или иной сцене. Словечки, жесты, движения, сопутствующий эпизоду кусок обстановки. Все, накопленное в течение подготовительного периода, вносилось в папки и занумеровывалось. Впоследствии, при работе над определенной сценой, материал извлекался на поверхность. Предварительная, предчерновая работа как бы подстилась под вещь. Это был многослойный фундамент. Том записей, если б его напечатать, перевесил бы том романа.

Произведения же Хлебникова — это и «папки», и черновики, и отделанные набело части. Причем все существует совместно.

Двум основным обобщающим мыслям Хлебников служил всю жизнь. Мысли о всечеловеческом языке и мысли о том, что история развивается ритмически, закономерно, и, следовательно, можно обнаружить и перевести в цифры этот ритм. И тогда, в комнате на Волковом переулке, он трудился над разрешением двух своих жизненных задач. Хлебников был проникнут ощущением, что некогда язык был единым. «Дикарь понимал дикаря». Впоследствии звуки, «изменив своему прошлому», стали служить «делу вражды». Новый «звездный» язык будет «новым собирателем человеческого рода». Тут начинались трудности, непосильные для целой армии гениев.

Хлебникову казалось достаточным найти ключ к звуку, обозначаемому той или иной буквой. Надо определить ее смысл. И тогда строить из этих общеобязательных по своему внутреннему содержанию звучаний новые общеобязательные слова. Хлебников полагал, что звук хранит этот неизменный смысл. Заключенную в звуке «вещь в себе» предполагал он извлечь наружу.

Смысл звука следовало раздобыть экспериментально. Путем сличения слов. Работа кропотливая и неисчерпаемая. Нужно внедриться во все языки. Хлебников же располагал преимущественно русским. Но и при полном охватах? Ведь звук меняется в окружении других. И какой звук в слове главенствует? Можем ли мы допустить, что словом «лодка» управляет звук «л»? И что именно его мы поймем, разглядывая данное слово?

Подобное сомнительное предположение Хлебников принял без оговорок. «Отдельное слово походит на небольшой трудовой союз, где первый звук слова походит на председателя союза, управляя всем множеством звуков».

Значит, надо накопить как можно больше слов, начинающихся с «л», чтобы разглядеть, что скрыто в этом «л» общее для всего запаса.

Исследования Хлебникова опирались на эту мысль. Это было титаническое задание, напоминающее неосуществленные замыслы Микель-Анжело. Работа изнурительная и гипнотизирующая, заманивающая обманчиво вспыхивающими удачами. Менее всего подходящая к страннической жизни, к отсутствию своего угла и сотрудников. И все же именно ее волок Хлебников на своих плечах. А не только свой мешок с почти невесомым имуществом.

И вторым стремлением его было уловить ритм истории.

— Мне нужны книги, где цифры, — говорил Хлебников одной знакомой.

Им владело инстинктивное убеждение, что развитие человечества диалектично и закономерно. Через определенный отрезок времени событие вызывает свой противополообраз. И, присматриваясь к хронологическим датам, можно эту закономерность исчислить. Такая идея в понимании Хлебникова не заключала никакой мистики. Хлебников был вполне позитивен. Он вносил лишь художественное воображение в свои чисто экспериментальные занятия. Рассуждал он так: есть периодичность природных процессов. От суточной смены до огромных астрономических колебаний. Ритм пронизывает все явления жизни.

Почему исключать нам историю?

Но и от этих спорных предпосылок до конечных выводов — глубокая пропасть. Хлебникову же требовался спешный результат.

И добивался он его с мучительной торопливостью. Больше цифр — и задача разрешится. Он выклевывал цифры отовсюду, как птица выклевывает зерно. Биографии великих людей, даты сражений, формулы физики. И число шагов, которое германский пехотинец должен отстучать в минуту. И число ударов сердца, и расчеты колебаний струны. Все возможные ритмы он пытался свести к одному. Чтоб найти центральное число, скрепляющее собой все явления.

Путем различных подсчетов Хлебников пришел к заключению, что основное число человечества — 317. Это значит, что событие через 317 лет или через число лет, кратное 317, перекликнется с другим событием, родственным ему, хотя и происходящим на ином историческом уровне.

Хлебникову, живому Хлебникову, а не кабинетному философу и исследователю, необходимы были спешные выводы. Не для того, чтобы на них успокоиться, но чтобы применить их к общему благу. «Когда люди науки измерили волны света, изучили их при свете чисел, стало возможно управление ходом лучей...» «Изучив огромные лучи человеческой судьбы... человеческая мысль надеется применить и к ним зеркальные приемы управления... Можно думать, что столетние колебания нашего великанского луча

будут так же послушны ученому, как и бесконечно малые волны светового луча».

Пора научиться управлять миром на незыблемых научных основах. Что мир устроен из рук вон плохо, кто знал это лучше, чем Хлебников, бездомный и нищий, вскоре превратившийся в «рядового 90-го запасного пехотного полка, 7-й роты, 1-го взвода», прогнанный и сквозь больницу для сумасшедших, и сквозь чесоточный госпиталь. Но дело касалось не только его одного. Ведь и «Пушкин и Лермонтов... были прикончены, как бешеные собаки, за городом, в поле». Как жадно хотелось Хлебникову крикнуть из смрадных погребов империалистической войны: «Клянусь кониной, мне сдается, что я не мышь, а мышеловка».

Хлебников медлить не мог. Надо «распутать нити человечества».

Наденем намордник вселенной,
Чтоб не кусала нас, юношей.

Этот одинокий, замкнутый человек глубоко принял в себя все беды действительности. Его написанные против империалистической войны стихи плечом к плечу стоят с тогдашними стихами Маяковского. Мысль о справедливом устройении мира падает лучом на цифровые выкладки Хлебникова. Важна эта горячая мысль, а не сомнительные расчеты его схем. Этот одинокий человек неустанно мечтал о сотоварищах. Он понимал, одному не справиться. Хлебников тоскует о союзах и организациях. Он учреждает их на бумаге. Вот общество «317», в него спешно вписываются все знакомые. Вскоре, обращаясь к Н. Кульбину из царицынского военного плена, откуда слышится самое страшное для Хлебникова признание — «благодаря ругани, однообразной и тяжелой, во мне умирает чувство языка», — он все-таки прибавляет в конце письма: «26 февраля в Москве возникло общество 317-ти членов. Хотите быть членом? Устава нет, но общие дела».

И время ли толковать об уставе? «Общие дела» вселенной в угнетающем упадке.

Из всех членов единственный Хлебников смотрел на общество не как на литературную шутку. Он верил в добрые воли людей. Верил в создаваемые им метафоры. Вот почему он величал себя повелителем мира — «Велимиром». И был «председателем земного шара».

И таким же председателем считал он и Маяковского.

5

Разумеется, тогда, в моей небольшой комнате, я не отдавал себе ясного отчета ни в размахе замыслов Хлебникова, ни в размерах его ошибок. Не

представлял я и того значения, которое Хлебников придавал своему недавно измышленному обществу, список членов которого берег он на одном из привезенных в мешке мятых листов. В этот лист Хлебников, благодарный за гостеприимство, немедленно внес и меня. В ожидании денег и выезда Хлебников задержался в Москве. Утрами мы усаживались за стол, стараясь не допускать случайных гостей. Оба работали, перебрасываясь короткими фразами, и показывали друг другу написанное. Перебирали общих знакомых, беседовали о петроградцах, с которыми Хлебников виделся позже меня. Мне вспоминались слышанные о Хлебникове рассказы, и я осторожно проверял их правдоподобность. И видел, что Хлебникову неприятно, что его считают чужаком. В своем собственном представлении он был иным — смелым, ловким, говорящим громко, ведущим толпу за собой, — словом, очень похожим на Маяковского, которого Хлебников безоговорочно признавал и любил.

Мы вместе отправлялись обедать в какую-нибудь вегетарианскую дешевую столовую. Иногда выбирались в гости.

— Пойдем сегодня к композитору А., — как-то предложил Хлебников.

— А вы знаете его адрес?

— Нет.

Но мы пошли. Шел Хлебников несколько впереди, иногда приостанавливаясь и вглядываясь. Район был ему известен.

— Я найду, — ободрял он меня.

Так охотники ищут путь в лесах. Тут должны быть высокие дома, затем уровень их спадает. В расположении и обликах зданий Хлебников пытался уловить закономерность. Он старался уловить ее во всем. Он словно вынуждал город распределением каменной ткани указать с полной точностью пребывание искомого человека. Вряд ли всегда это удавалось Хлебникову. Но композитора мы в тот вечер нашли.

Подчас днем выбегал он на улицу. И возвращался со свежими вестями.

— Вот. Я сегодня влюбился.

Он встретил на улице двух девушек, привлечших его внимание. И пошел их провожать.

Иногда мы ходили к Вермелю и безрезультатно возвращались назад.

Помимо отсутствия денег, Хлебникова томило и другое. Впереди маячил возможный призыв. Хлебников посматривал на него сумрачно. Он избегал о нем говорить, смутно надеясь на случайное избавление.

Однажды я застал его в комнате растерянным и озабоченным. Он стоял у зеркального шкафа, сбросив пиджак, и обхватывал грудь сантиметром. Сантиметр соскальзывал по рубашке, измерение давалось с трудом.

Быстро переступив с ноги на ногу, он стал мне объяснять:

— Размер груди. Буду ли голен?

Он выпрямился у дверцы шкафа и отметил на ней свой рост. Хотел из-

мерить отмеченную высоту, но, скомкав, отбросил сантиметр. Не знаю ли я, какой нужен рост, чтобы напялить шинель пехотинца?

Я не знал. Хлебников задумался.

Нет, войну не обмануть.

Мы выходили из мастерской Коненкова, расположенной почти напротив нашего переулка. Мы осмотрели там огромные деревянные тела, тихо желтевшие, кое-где тронутые синим и розовым. Постояли перед «Паганини» — грозной глыбой зернистого мрамора, от которой массивно отделялся профиль странного и могучего существа. У забора Коненковского домика мы остановились на Пресне. Ряды немолодых солдат проходили с невеселой песней.

Хлебников остановился как зачарованный. Но зачарованность была унылой. Он всматривался, вытянув голову, словно впервые видел эти свисающие сырые шинели, откидываемые одинаковыми толчками выбрасываемых вперед сапог. Солдаты шлепали по рыжей кашеце снега, по бурым, как пиво, лужам. Я не помню, сказал ли что-нибудь Хлебников или просто оглянулся на меня. Но он видел себя в этой трупке под низколохматящимся непогодным небом запущенной Пресни, и каждый шаг ему давался с трудом. И хотелось броситься к Хлебникову на выручку и прекратить это унижительное недоразумение. И уже забывшимися сейчас словами я принялся его утешать.

Но зато он весь обновлялся, когда отъезд становился достижимым.

Деньги прибыли рано утром по почте, и я еще не успел проснуться. Открыв глаза, я Хлебникова не застал. Вскоре влетел он возбужденный и сияющий. Руки переполнены свертками.

— Вот я купил.

Свертки упали на освещенный солнцем стол. Булки, масло, сахар, колбаса.

— И это, — показывал Хлебников банку сгущенного молока.

Он накупил продуктов наугад, готовый всему порадоваться, все одобрить.

Теперь он несомненно богат. В тот же день приобрел он новую верхнюю рубашку. Старую он скатал в клубок и вышвырнул вниз за окно. Довольный, прислушался он, как рубашка шлепнулась на двор. Отдавать в стирку длительно и хлопотно. К тому же предстоял отъезд.

За столиком кафе на Петровке Хлебников перебирал города. Он проедет в Харьков к Петникову. Оттуда в Одессу или прямо в Крым. Затем заглянет в Астрахань к своим. Все двери оказались открытыми.

А может, заехать еще в Питер? Хлебникову казалось, что денег множество. Он не только может сам путешествовать, но в его средствах обеспечить и попутчика. Он начал меня уговаривать посмотреть с ним южное солнце.

Вечером мы ехали в лифте. Лакированная кабинка с продолговатым зеркалом волокла нас наверх. Хлебников неожиданно сказал:

— Вам грустно? Вам хочется в Петроград? В Петрограде вы будете счастливы?

Я что-то пробормотал в ответ.

— Так поедem вместе в Петроград.

— А юг?

— На юг после.

Между тем на дорогу до Крыма едва достало бы денег ему одному.

И самым жестоким несчастьем было то, что перед посадкой в поезд его обокрали на вокзале. Не осталось ни билета, ни денег. Провожавший Хлебников поэт П. увез его к себе.

Когда я увидел его у П., Хлебников был измучен и потрясен. Словно после уличной катастрофы, когда тело в ранах и вывихах. Посерелый, еще более молчаливый, с глазами тревожными и обиженными. Что делать дальше? Что всегда под руками? Только труд, от которого не уйти.

Хлебников так и остался у П. Работает. Днем иногда выходит. Но больше прячется. Мир — западня. Работа перетягивается на вечер. Постепенно занимает всю ночь.

Работа над созданием «звездного» языка, который будет «собирателем человеческого рода».

Странная квартира, тоже напоминающая западню. Бродит хромой, мастерового вида, чернявый хозяин. У него недобрая, подстерегающая усмешка. Он возвращается поздно из чайной, что находится в том же доме. В эту чайную, в ее чадную, клубящуюся теплоту, бегаем и мы с П. за порциями крепкого кипятка. Хозяин рассказывает по комнатам, убранным с мещанским усердием. Он присаживается и вступает в разговор, рассказывает бредовые истории. Мимо шмыгает его усердная сестрица с тонкими поджатыми губами. Мы узнаем, она убила за что-то мужа и досрочно выпущена из тюрьмы. За обеденным столом засел Хлебников над неровно разрезанными листками. Схватится за горячий стакан, надопьет и забудет о нем. Хлебников набирает слова на букву «ч». Всматривается светящимися глазами в затененные абажуром углы.

Череп. Чаша. Чулок. Он иногда повторяет слова вслух. Начнет объяснение и замолкает. Высокий П. в красной рубахе дымит трубкой, постукивает сапогами. Басом подскажет еще слово. Напомнит о чоботах и челнах.

Хозяин опять добрался до нас. Улыбка щерит его цыганское лицо. Он повествует о приятеле, которому отправил он в подарок гроб. Заказал по телефону в бюро и с полным ассортиментом послал другу в день именин. Может быть, хозяин и врет, но он ждет от нас одобрений. Хлебников утомленно ежится. Его расширенные глаза пустеют.

И дальше в тот же костер все подкладываются хворостинки слов.

— Вот, — обращается Хлебников, смотря в наши бессонные, обесцвеченные усталостью лица. — Ч — означает оболочку. Поверхность пустая внут-

ри. Она охватывает другой объем. Череп. Чаша. Чулок.

Так продолжается, пока на собранные по знакомым деньги Хлебникову не удастся, наконец, оставить Москву.

Но, вместо Крыма, почему-то в Царицыне настигает его военная служба.

6

А где же еще один герой нашего повествования — Давид Давидович Бурлюк? После тифлисской встречи я его не видал. Обычно проводивший зиму в центрах, в военные годы он затворился где-то около Уфы. Там жила в то время его семья.

Бурлюк рассчитал, что война не благоприятствует его искусству. На военном фоне шумные выступления футуристов выглядели бы неуместно. Проповедь империалистической войны для русских футуристов, в отличие от западного их собрата Маринетти, была совершенно неприемлемой. Открыто же протестовать против войны невозможно. К тому же Маяковский не имеет права выступать. Бурлюк не мыслил своей работы без «Володички». Бурлюк почел за благо переждать.

В Москве говорили, что Бурлюк торгует сеном. Торговал ли он чем-нибудь — неизвестно. Коммерция его занимала, и, возможно, он и отдал ей дань. Но чем бы ни занимался Бурлюк, живопись была главным делом. Более светлую часть года он посвящал обязательно ей. Тогда поднимался он рано, и в помещении, а затем на воздухе обрабатывал многочисленные холсты по заранее намеченному плану.

Бурлюк был подлинным мастером, но слишком всеядным художником. Он не придерживался одной манеры, им созданной и для него необходимой. Он пользовался множеством приемов и каждым овладевал хорошо. Разложенные кубистически формы, лошади с добавочными ногами, якобы вызывающие в зрителе ощущение движения, народные примитивы и лубки и, наряду с ними, академически-добросовестные пейзажи. Наконец, каждый современный художник всасывался и перерабатывался им.

— Я ощупал холсты Ларионова копытцами своих взглядов, — как-то заявил мне Бурлюк. И далее рассказывал, что, бывая в Петрограде, изучает живопись Филонова. Проникая в кухни соседей по искусству, он варил похлебки по чужим рецептам. Он был словно особым бюро по изготовлению картин разных направлений. Практическим пропагандистом малоизвестных публике авторов. И, будучи даровитым, умелым живописцем, он не стал самостоятельным творцом.

Бурлюк оказался в Самаре, когда я приехал туда на весенние каникулы. Только что совершилась Февральская революция. Бурлюк мгновенно выплыл наружу. Он двигался из города в город с грузом запасенного товара. Товар уложен был в основательных ящиках. Товар — картины, написанные под Уфой.

Останавливаясь в попутных городах, Бурлюк устраивал выставки.

Я отправился разыскивать Бурлюка. Он стоял в витрине снятого им на главной улице небольшого торгового помещения и укреплял изготовленный только что плакат. На Бурлюке — высокая баранья шапка и добротный, из толстой материи, свободно свисающий штатский костюм. Бурлюк кивнул мне через витринное стекло. Я вошел внутрь его владений. Рамы с холстами частью были развешаны, частью стояли еще по углам. Бурлюк возился с гвоздями и молотком. Маленькая пожилая женщина хлопотала около него.

— Моя мамаша, — объявил Бурлюк. — Тоже художница.

Труды мамаша также выставлялись для обозрения.

— Мамаша, передайте мне сюда эту картинку, — грохотал Бурлюк неестественным басом. — Надо вешать картины тесно, чтоб проплунуть между ними было нельзя.

Густо промазанные, подчас топорщащиеся и шершавые от безжалостно наложенных красок, холсты изображали, преимущественно, пейзажи и портреты. Фигурировал, кажется, и один из многих вариантов «запорожца», написанного одновременно с разных точек зрения. Но общее впечатление от картин — они не были особенно левыми. Может, Бурлюк берег наиболее боевые работы для столиц.

Тут же объяснил он распределение ролей. Мамаша будет продавать билеты. Мне придется вместе с Бурлюком читать свои и чужие стихи во время выступлений, какие должны происходить периодически на выставке. И мамаша и я получим за это плату. Бурлюк не признавал бесплатных услуг. Тем самым оберегал он и себя от всяких поводов к благотворительности.

— Все человеческие отношения, — рассуждал он, — основаны только на выгоде. Любовь и дружба — это слова. Отношения крепки в том случае, если людям выгодно относиться друг к другу хорошо. Мы помогаем один другому из-за выгоды, и тогда все между нами понятно и просто.

По улице проходили многочисленные демонстрации. Сквозь витрину долетали еще непривычные революционные песни. Невдалеке, в маленьком сквере у памятника «царю-освободителю», шел повседневный непрекращавшийся митинг.

— А что, если раскраситься и пройти в таком виде по городу? — задумывался над сложившимся положением Бурлюк. — Неизвестно, как отнесутся к этому. Свобода коллективных выступлений достигнута. Неизвестно, в какой мере мы можем проявить себя индивидуально.

Бурлюк не склонен был лезть на рожон. Раскрашенные лица не вязались с революционным взволнованным городом. Такой способ саморекламы был Бурлюком упразднен.

Но из этого вовсе не следовало, что Бурлюк впал в несвойственную ему тихость. В свободное время он слонялся по городу, вмешивался в разговоры, заходил на собрания всевозможных организаций. Попав на любую сходку, даже не вполне разобравшись, что, собственно, здесь обсуждается, Бурлюк требовал слова.

— Выступать надо всегда. Это приучает обращаться с публикой. Быть оратором особенно важно теперь.

Большой зал театра «Олимп» переполнен солдатскими шинелями. Кричат с ярусов, выбегают на сцену. Продолжать войну или кончить немедленно — вот главный вопрос.

Бурлюк шествует по проходу между креслами в своей высокой бараньей шапке. Вскарабкавшись на помост, он яростно что-то провозглашает. Он потрясает кулаком и топает в доски сцены. Не помню, чего, собственно, он добивался, но речь была достаточно накаленной. Впрочем, пожалуй, слишком туманной. Народ нуждался в прямых, отчетливых политических формулировках. Бурлюку хлопали, но он вернулся несколько разочарованный. Он чувствовал, что речь его беспредметна. Очевидно, не так теперь надо говорить.

Жизнь выставки шла своим чередом. В помещение просачивались небольшие группы с улицы. Мамаша аккуратно отрывала билетики. Бурлюк водил посетителей от стены к стене. Голос его становился сладчайшим. Бурлюк умел переключать его из баса в тенор. Бурлюк импровизировал короткие лекции, имевшие целью убедить зрителей в совершенстве выставленных картин. Мгновенно заводились знакомства. Бурлюк прикидывал, кто годен стать покупателем. Что бы ни происходило на свете, а картины продаваться должны.

— Вы думаете, общество не тратит деньги на искусство? — распространялся Бурлюк, когда мы оставались одни. — Взгляните на этот дом, — он показывал сквозь витрину на противоположную сторону улицы. — Фасад дома сделан не просто. Сколько там розеток, каких-то бородавок, ненужных карнизов. Все это во имя красоты. Заказчик хотел, чтобы дом был красивым. Но он ничего не смыслит в красоте. Он зря тратил деньги на мастеров и маляров. А эти деньги он должен тратить на нас. На настоящих художников. Только надо научить его этому.

И Бурлюк наводил справки, кто из горожан обладает деньгами.

Перед выступлением, о котором объявлено было заранее в газетах, я застал Бурлюка во второй комнатке, примыкавшей к выставке и ничем не обставленной. Он сидел на табурете, облаченный в черный сюртук. Жилет из грубой желтой набойки был последним признаком несвоевременного

теперь футуризма. Бурлюк вглядывался в исписанный листок, и лицо его было озабоченным. Он готовился к своему докладу. Надо собраться с мыслями. Его импровизации были заранее взвешенными. Даже в таком скромном случае, когда предстояло «работать» перед небольшой кучкой людей.

— Заведите себе привычку записывать в книжку изречения великих людей. Это очень пригодится для выступлений, — мимоходом посоветовал он.

Говорили мы, стоя за маленьким столиком, находившимся в углу выставочной комнаты. Бурлюк распространялся о падении царского режима, о предстоящем свободном расцвете искусств. Публика слушала, стоя. Студенты и девушки, несколько забредших с улицы интеллигентов. Народ не интересовался тогда ни выставкой, ни лекциями об искусстве. Бурлюк говорил умело, но все выглядело скромно и по-домашнему. Маленькая группа принимала слова его без возражений, без недовольных реплик, столь обычных в прежние годы. Что такое был теперь прославленный футурист по сравнению с размахом событий? Не спорить с ним, а отдохнуть от тревожной всероссийской сумятицы забрели эти люди сюда, в блестящее холстами пристанище. Они тут прятались от политики. И Бурлюк их политикой не обременял.

Он читал после вступительного слова стихи, добросовестно выполняя обещанную программу.

— Маяковский — Гомер современности, — возглашал он, вскидывая лорнет.

Впрочем, стихи Маяковского он перевирали.

— Никогда не могу запомнить точно стихи. Приходится придумывать слова самому. У меня на этот случай есть лазейка, читаю, мол, неопубликованные варианты.

Только классиков Бурлюк цитировал правильно, щеголяя обширным знанием Пушкина.

— А вы читайте стихи, стоя прямо. Кто же читает, опершись о стол? — дал мне Бурлюк очередной совет.

Таких выступлений состоялось несколько.

После них Бурлюк откликался на приглашения. Отправлялись пить чай в самарские семьи. Враждебных оппонентов Бурлюк сметал беспощадно, но с сочувствующими был очаровательно-шелков. Люди сияли, обласканные его беседой. Молчаливый, пожилой купец на глазах добрел рядом с Бурлюком. Почтенные дамы находили его образцово воспитанным. Только что представившийся моряк весело похохатывал, словно обрел в Бурлюке задычного приятеля. После встреч Бурлюк подводил итоги — деловые и психологические.

— Этот художник живет одиноко, но в комнате его бывает женщина. А из того студента, сына купца, может получиться культурный меценат.

Главная цель — продать несколько холстов. Конечно, не из тех, что при-

пасены для Москвы.

И цель, разумеется, достигнута. Выставка запакована в ящики. Неизвестно, что принесет новое время. Надо приглядеться к обстановке. Вот Володичка пошел напрямик. Сразу связал себя с левыми партиями. Читает в Питере стихи о революции. Тут не без влияния Горького. Сейчас Бурлюк несколько сбит с толку. Какая завтра ожидает его аудитория? С чем следует обращаться к ней?

Пока же выставка прошла без убытков. Даже одна картинка мамыши продана. Бурлюк расхаживает по перрону, сдав свое имущество в багаж. В огромной бараньей папахе, в длинном, напоминающем армяк, пальто. В последний момент он продолжает поучать:

— Читайте исторические анекдоты Пушкина. Я их тщательно изучал. Сжатый язык, острый сюжет. Так должна строиться проза.

ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ

1

Маяковскому не приходилось нащупывать аудиторию. Он знал, куда обращаться после революции. И знал, какими словами о ней говорить. Стихотворная его «хроника» о событиях раздавалась на петроградских митингах. Кончилось молчание военных лет. Глава поэмы «Война и мир» появилась в горьковской «Летописи».

Незадолго до Октябрьских дней в Москву приехал Василий Каменский. Он устроил открытый вечер в большой аудитории Политехнического музея. Выглядел он бодро и весело. Напрямик заявил о своем сочувствии большевикам. Разумеется, в его формулировках многое отдавало анархическим бунтарством. Но в тот период у большинства деятелей искусства политическое мировоззрение только начало определяться. И часто важен был непосредственный отклик на события. За что ты стоишь? За кадетскую программу, за керенщину? Или против временного правительства, за свержение буржуазии, за немедленный мир?

Каменский читал «Стеньку Разина», приобревшего теперь новый смысл. Надо уничтожить социальное неравенство. Долой богатых, да здравствует власть бедняков!

Это не значило, что с прежним футуризмом покончено. Футуризм не столько перестроился, сколько почувствовал, что отдельные его установки совпадают с революционной действительностью. «Мы предлагаем свое оружие

большевикам», — так можно сформулировать тогдашнее настроение футуристов. Маяковский занял наиболее правильную позицию и вскоре повел за собой остальных.

Каменский объявил, между прочим, что в ближайшем времени в Москве откроется кафе поэтов. Там будут выступать футуристы. И пригласил публику туда приходить.

В тот же период в Москве подвизался еще некий деятель футуризма. О нем стоит упомянуть потому, что мы встретимся с ним в кафе. Он характерен как еще один образец людей, приспособившихся к футуризму и стремившихся использовать эту вывеску на первых порах революции. Афиши этого проповедника напоминали зазывания провинциального чревоугодника. Футурист жизни — Владимир Г. — русский йог, призывающий к солнечной жизни. На плакате выделялся его портрет — пронзительное лицо под вьющимися волосами. Голая шея, а иногда и голая грудь. Среди всяких оглушительных тезисов фамильярно упоминались в качестве друзей «четыре слона футуризма» — Маяковский, Хлебников, Каменский, Бурлюк.

Московская публика оказалась доверчивой. Аудитории заполнялись добросовестно. Проповедник выходил в яркой шелковой рубаше с глубоким декольте. Шея его действительно была крепкой. Да и весь он выглядел могуче. Брюки-галифе, желтые краги. Спортивный тренированный вид.

Долой условности, ближе к природе, загорайте на солнце, освободитесь от воротничков! Рекомендовалось вегетарианское питание, предлагалось ходить без шапки круглый год. Сам Г. поступал таким образом, нарушая лишь вегетарианский устав. В зимние дни он носился по Москве в открытых своих рубашках. Прибегал он к шерстяной куртке только в крепкий мороз.

Тут же на лекции демонстрировал он дыхание, позволявшее сохранять тепло. Совсем ни к селу, ни к городу читал стихи, преимущественно Каменского. Впрочем и одно свое, воспевающее его собственные качества.

Но главный, центральный номер преподносился в конце. Г. брал деревянную доску. Публика призывалась к молчанию. Г. громко и долго дышал. И вдруг хлопал себя доскою о темя. Все вскрикивали. Доска раскалывалась на две. Аплодисменты. Г. стоял гордо. Во всеуслышанье сообщал свой адрес. Желающих поздороветь просил обращаться к нему.

Публика хохотала и хлопала. Накрашенные женщины тянулись к эстраде. Одна прококаиненная актриса даже взобралась на стол.

— Владимир, мы больные люди города, верни нас к солнечной жизни!

В кольце поклонниц ловкий парень шествовал без шапки по Тверской. Там, в гостинице «Люкс», занимал он богато обставленный номер.

Кафе открылось без меня. Вскоре после Октябрьской революции я отправился месяца на два в Самару. Ремонтировалась моя комната, поврежденная случайно залетевшим снарядом. В Москву вернулся я в начале января.

Я знал от товарищей, что кафе действует.

Маяковский там бывает всегда.

Трамваи, работавшие с перебоями, окончательно иссякали часам к девяти. Постояв у Смоленского рынка, я двинулся на Тверскую пешком. Город освещался слабо. Подъезды наглухо заколочены. Изредка проскальзывали сани, подсакивая, торопился автомобиль.

Не связанная трамваями Москва представлялась расплывшейся и громадной. Расстояния приобрели первобытную ощутимую протяженность.

Сколько раз я проделал этот путь в течение ближайшего времени! Я выработал технику сокращений, пользуясь переплетениями переулков. Знал, где надо менять тротуары, под каким углом пересекать перекрестки. Выступы фасадов, впадины дворов, резьба на воротах и оградах, — осязаемым пешеходным знанием города я успел тогда овладеть.

Но в тот вечер я шел наугад. Торопился, боясь опоздать.

Кафе помещалось на Настасьинском. Криво сползающий вниз переулок глубоко уходил в темноту. Фонарь дремал на стержне, воткнутом в стену. Под ним — низкая деревянная дверь, прочно покрашенная в черное. Красные растекающиеся буквы: «Кафе футуристов». И пущена змеевидная стрелка.

Я пришел слишком рано, не зная местных обычаев. Дощатая загородка передней. Груботканый занавес — вход.

И вот — длинная низкая комната, в которой раньше помещалась прачечная. «Как неуклюжая шкатулка, тугой работы кустаря». Земляной пол усыпан опилками. Посреди — деревянный стол. Такие же кухонные столы у стен. Столы покрыты серыми кустарными скатертями. Вместо стульев низкорослые табуретки.

Стены вымазаны черной краской. Бесцеремонная кисть Бурлюка развела на них беспощадную живопись. Распухшие женские торсы, глаза, не принадлежащие никому. Многоногие лошадиные крупы. Зеленые, желтые, красные полосы. Изгибались бессмысленные надписи, осыпаясь с потолка вокруг заделанных ставнями окон. Строчки, выломанные из стихов, превращенные в грозные лозунги: «Доите изнуренных жаб!», «К чорту вас, комолые и утюги».

Между тем в кафе было тихо. Небольшая группа в углу. Кусиков, цепкий и тонкий, с маленьким горбоносим лицом. Елена Бучинская — актриса и чтица. Еще два-три завсегдатая. Я с ними тогда не был знаком.

Я уселся за длинным столом. Комната упиралась в эстраду. Грубо сколоченные дощатые подмости. В потолок ввинчена лампочка. Сбоку — маленькое пианино. Сзади — фон оранжевой стены.

Уже столики окружились людьми, уже появился и что-то прочел Владимир Г., когда резко вошел Маяковский. Перекинулся словами с кассиршей и быстро направился внутрь. Белая рубашка, серый пиджак, на затылок оттянута кепка. Короткими кивками он здоровался с присутствующими. Двигался решительно и упруго. Едва успел я окликнуть его, как он подхватил меня на руки. Донес до эстрады и швырнул на некрашеный пол. И тотчас объявил фамилию и что я прочитаю стихи.

Так я начал работать в кафе. В тот же вечер Бурлюк и Маяковский назначили мне постоянную плату. Шестьдесят три следующих дня я ходил без прогулов сюда.

3

Кафе поначалу субсидировалось московским булочником Филипповым. Этого булочника приручал Бурлюк, воспитывая из него мецената. Булочник оказался податливым. Он производил на досуге стихи. В стихах чувствовалось влияние Каменского. Булочник издал на плотнейшей бумаге внушительный сборник «Мой дар». Дар был анонимным.

Впоследствии, за спиной всех поэтов, кафе откупил Г. Это была одна из ловких операций проповедника «солнечной жизни». Он поставил всех перед совершившимся фактом, одним ударом заняв главные позиции. Помимо старшей сестры, оперной певицы, еще раньше подрабатывавшей в кафе, за буфетной стойкой появилась его мамаша, за кассу села младшая сестра. В тот вечер Маяковский был мрачен. Обрушился на спекулянтов в искусстве. Г. пробовал защищаться, жаловался, что никто его не понимает. Публика недоумевала, не зная, из-за чего заварился спор. Бурлюк умиротворял Маяковского, убеждая не срывать сезон.

Но кто бы ни владел предприятием, хозяйство строилось так: было несколько постоянных сотрудников, обслуживавших каждый вечер эстраду. Поэты — Маяковский, Каменский, Бурлюк. Вышеупомянутая певица, «поэт-певец» Аристарх Климов. В этот штат включился и я.

Публика съезжалась поздно. Главным образом, после окончания спектаклей. Программа сохранялась постоянная. Два-три романса певицы и Климова. От меня требовались два стихотворения. Маяковский — глава из только что написанного «Человека», «Ода революции» и отдельные стихотворения. Каменский демонстрировал «Стеньку Разина». Бурлюк — «Утверждение бодрости» и «Мне нравится беременный мужчина».

Таков скелет каждого вечера. Схема достаточно скудная. Но ни одно собрание не походило на предыдущие и последующие.

Маяковский и Бурлюк появлялись, когда публики накапливалось немало. Уже выполнены романсы певцами. Прочел загадочные стихи Климов. Кое-кто из молодых поэтов, поощренный лозунгом «эстрада — всем», поделился рифмованными чувствами. Но вечер не вошел в колею. Публика скучает и топчется, загнанная в это аляповатое стойло. Пожалуй, пора расходиться.

Но вот вошел Маяковский, не снимая отогнутой кепки. Иногда на шее большой красный бант. Маяковский пересекает кафе. Он забрел сюда просто поужинать. Выбирает свободное место. Если места ему не находится, он садится за стол на эстраду. Ему подано дежурное блюдо. Он зашел отдохнуть.

Иногда с ним рядом Бурлюк. Подчас Бурлюк и Каменский отдельно. Маяковский не замечает посетителей. Тут нет ни малейшей игры. Он действительно себя чувствует так. Он явился провести здесь вечер. Если им угодно глазеть, — что ж, это его не смущает. Папироса ездит в углу рта. Маяковский осматривается и потягивается. Где бы он ни был, он всюду дома. Внимание всех направляется к нему.

Но Маяковский ни с кем не считается. Что-нибудь скажет через головы всех Бурлюку. Бурлюк, подхватив его фразу, подаст уже умышленно рассчитанный на прислушивающуюся публику ответ. Они перекидываются словами. Бурлюк своими репликами будто шлифует нарастающий вокруг интерес. Люди как бы через невидимый барьер заглядывают на эту происходящую рядом беседу. Сама беседа является зрелищем. Но внутрь барьера не допущен никто.

И это для многих обидно. Многим хочется выказать остроумие. По столикам перебегают замечания. Бурлюк взвешивает — дать им ход или нет.

Особенно обидно тому, кто чувствует свое право на внимание. Кто сам, например, артист. Маяковскому следует его знать. Такое безразличие унижительно...

И вдруг Маяковский обернулся.

Он даже поздоровался с артистом, и тот польщенно закивал головой. Закивали головами и другие, ловя благорасположенность Маяковского. А тут поднялся Бурлюк и самыми нежнейшими трепетными нотами, с самым обрадованным видом делится с публикой вестью:

— Среди нас находится артист такой-то. Предлагаю его приветствовать. Он, конечно, не откажется выступить.

Публика дружно рукоплещет.

Артист восходит на трехаршинные подмости, словно приглашенный на лучшую сцену.

Отказов не бывало никогда. Посетители использовались целиком.

Вот забрел сюда тенор Дыгас, тогда гремевший у Зимина. Ограниченная коробка кафе не вмещает его массивного голоса. Вот извлечена балетная пара — и без соответствующих костюмов покорно силится себя проявить. Немного упрямится белесый, безбровый Вертинский, ссылаясь на отсутствие аккомпаниатора. Он мнетя под все сгибающим взглядом Маяковского и, наконец, замирает, сжав кисти протянутых вперед рук. Картаво, почти беззвучно декламирует, знакомя публику со свежим, еще не пущенным в продажу изделием:

Ну, конечно, Пьеро не присяжный поверенный,
Он печальный бродяга из лунных гуляк,
И из песни его, даже самой умеренной,
Не сошьете себе горностаевый сак.

А вот двинулась цирковая ватага. Или Хмара из Художественного театра читает «Пир во время чумы».

Бурлюк не ослабляет руководства, умело принаравливаясь к посетителям. Если налицо Виталий Лазаренко, — пущена в ход тема «Футуристы и цирк». Если пришел кто-нибудь из Камерного театра, — готов диспут о «Короле-Арлекине». Сидят за столиками несколько моряков, — исполняется Климовым «Песенка о мичмане». Публика подхватывает припев. Бурлюк дирижирует лорнетом.

Любить двух сразу
Нельзя никак,

громыхают нестройные голоса.

— Можно, — кричит Василий Каменский.

И под прикрытием освеженной беседы неизменный «Беременный мужчина» приобретал каждый раз как бы новые наружность и платье.

4

Маяковский читал в заключение. Наспорившаяся, разгоряченная публика подтягивалась, становилась серьезной. Каждый сжимался, как бы вбирая внутрь себя свои растрепавшиеся переживания. Еще слышались смешки по углам. Но Маяковский оглядывал комнату.

— Чтоб было тихо, — разглаживал он голосом воздух. — Чтобы тихо сидели. Как лютики.

На фоне оранжевой стены он вытягивался, погрузив руки в карманы.

Кепка, сдвинутая назад, козырек резко выдвинут надо лбом. Папироса шевелилась в зубах, он об нее прикуривал следующую. Он покачивался, проверяя публику поблескивающими прохладными глазами.

— Тише, котики, — дрессировал он собравшихся.

Он говорил угрожающе вкрадчиво.

Начиналась глава из «Человека», сцена вознесения на небо.

Слова ложились не громко, но удивительно раздельно и внятно. Это была разговорная речь, незаметно стянутая ритмом, скрепленная гвоздями безошибочных рифм. Маяковский улыбался и пожимал плечами, пошучивая с воображаемыми собеседниками:

«Посмотрим, посмотрим. Важно живут ангелы, важно.

Один отделился

И так любезно

Дремотную немоту расторг:

— Ну, как вам, Владимир Владимирович,
нравится бездна?

— И я отвечаю так же любезно:

— Прелестная бездна,
Бездна — восторг!»

И публика улыбается, ободренная шутками. Какой молодец Маяковский, какой простой и общительный человек, как с ним удобно и спокойно пройти за просто по бутафорскому «зализанному» небу.

Но вдруг повеяло серьезностью. Рука Маяковского выдернута из кармана. Маяковский водит ею перед лицом, как бы оглаживая невидимый шар. Голос словно вытягивается в длину, становясь протяженным и непрерывным. Крутое набегание ритма усиливает, округляет его. Накаты голоса выше и выше, они вбирают в себя всех слушателей. Это значительно, даже страшновато, пожалуй. Тут присутствуешь при напряженной работе. При чем-то, напоминающем по своей откровенности и простоте процессы природы. Тут же присутствуешь при явлении большого, ничем не заслоненного искусства. Слова шествуют в их незаменимой звучности:

Я счет не веду неделям.

Мы,

Хранимые в рамах времен,

Мы любовь на дни не делим,

Не меняем любимых имен.

И слушатели, растревоженные, затронутые в самом своем личном, как бывает всегда при встрече с подлинной поэтической правдой, тянутся, под-

чиненные Маяковским, благодарят его безудержной овацией.

Дальше шло в зависимости от настроения. Иногда разгон брался большой. Тогда читались хроника «Революция» или недавно написанная «Ода». Реже внедрялись отрывки из «Облака». Однажды, запинаясь, заглядывая в записную книжку, Маяковский произнес еще не остывшие, только что приготовленные: «Вот иду я, заморский страус, в перьях строф, размеров и рифм».

Иногда же все поворачивалось в сторону юмора. Ярко и звучно, с играющим веселым задором прочитывались «Критик», или «Железка», или «Сказка о кадете», или «Военно-морская любовь». Или ряд других мастерских пустяков, вроде «Вы мне мешаете — у камыша итти». Ценя неожиданно образующуюся рифму, Маяковский извлекал ее со сверкающей легкостью. Рифмы разрастались в эпиграмму. Иногда, наоборот, каламбур выращивал рифму. Маяковский разбрасывал рифмы щедро, подчас, как серпом, подрезая противников.

Есть много вкусов и вкусиков.
Одному нравлюсь я, другому Кусиков

или

Поэт Гурий Сидоров,
Не носи даров

или

Искусство строится на «чуть-чуть», на йоте,
Помните это, поэтесса Панайотти

или хлопнул однажды по Климову, когда в кафе пришел композитор Рославец, писавший музыку на тексты футуристов и оказавшийся Климову неизвестным:

Сколько лет росла овца
И не слыхала про Рославца.

Однажды кафе посетил Северянин. В тот недолгий период он «сочувствовал» революции и разразился антивоенными стихами. Это не помешало

ему вскоре перекочевать за границу и навсегда порвать с российской действительностью. Но тогда пожинал он здесь последние лавры, призывая к братанию и миру. В военной гимнастерке, в солдатских сапогах, он прибыл обрюзглый и надменный. Его сопровождала жена — «тринадцатая и, значит, последняя». Заикающийся, взлохмаченный ученик, именовавшийся почему-то «Перунчиком». И еще какие-то персонажи. Всю компанию усадили за столиком на эстраде. Маяковский поглядывал на них искоса. Однако решил использовать их визит.

Он произнес полущутливую речь о том, что в квартире нужны и столовая, и спальня, и кабинет. Ссориться им нет причины. Так же дело обстоит и в поэзии. Для чего-нибудь годен и Северянин. Поэтому попросим Северянина почитать.

Северянин пустил вперед «Перунчика». Тот долго представлялся публике. Читал стихи Фофанова и Северянина, посвященные ему самому. «Я хочу, чтобы знала Россия, как тебя, мой Перунчик, люблю». — Меня одобрили два гениальных поэта. — Все эти подпорки Перунчику не помогли. Опустившийся, диковатый и нетрезвый, читал он неинтересно и вяло.

Был пьян и сам Северянин. Мутно смотря поверх присутствующих в пространство, выпевал въевшийся в уши мотив. Казалось, он не воспринимает ничего, механически выбрасывая хлесткие фразы. Вдруг покачивался, будто вот упадет. Нет, кончил. И, не сказав ни слова прозой, выбрался из кафе со всей компанией.

Известный организатор поэтических вечеров Долидзе решил устроить публичное «состязание певцов». Вечер назывался «выборы короля поэтов». Происходил он все в том же Политехническом. Публике были розданы бумажки, чтобы после чтения она подавала голоса. Выступать разрешалось всем. Специально приглашены были футуристы.

На эстраде сидел президиум. Председательствовал известный клоун Владимир Дуров.

Зал был набит до отказа. Поэты проходили длинной очередью. На эстраде было тесно, как в трамвае. Теснились выступающие, стояла не помещившаяся в проходе молодежь. Читающим смотрели прямо в рот. Маяковский выдавался над толпой. Он читал «Революцию», едва находя возможность взмахнуть руками. Он заставил себя слушать, перекрыв разговоры и шум. Чем больше было народа, тем читал он свободней. Тем полнее был сам захвачен и увлечен. Он швырял слова до верхних рядов, торопясь уложиться в отпущенный ему срок.

Но «королем» оказался не он. Северянин приехал к концу программы. Здесь был он в своем обычном сюртуке. Стоял в артистической, негнувшийся и «отдельный».

— Я написал сегодня рондо, — процедил он сквозь зубы вертевшейся около поклоннице.

Прошел на эстраду, спел старые стихи из «Кубка». Выполнив договор, уехал. Начался подсчет записок. Маяковский выбегал на эстраду и возвращался в артистическую, посверкивая глазами. Не придавая особого значения результату, он все же увлекся игрой. Сказывался его всегдашний азарт, страсть ко всякого рода состязаниям.

— Только мне кладут и Северянину. Мне налево, ему направо.

Северянин собрал записок все же больше, чем Маяковский.

«Король шутов», как назвал себя Дуров, объявил имя «короля поэтов».

Третьим был Василий Каменский.

Часть публики устроила скандал. Футуристы объявили выборы недействительными. Через несколько дней Северянин выпустил сборник, на обложке которого стоял его новый титул. А футуристы устроили вечер под лозунгом: «долой всяких королей».

6

Жизнь кафе шла своим чередом. Вылазки в большие аудитории заканчивались возвращением в продолговатую раскрашенную пещеру. Выполнялась установленная программа. Публика принимала в ней участие. Внешне выглядело все веселым и согласным. Но все противоречия того времени отражались в этой капле действительности.

За столиками сидели непримиримые враги. Здесь находились представители той молодежи, которая завтра вольется в красноармейские полки. Скоро встречу я одного из таких поэтов на Арбатской площади в тулупе и с походной сумкой. «Надо сражаться, еду на фронт. Теперь не время писать стихи». С Арбатской площади он дошел до Брянского вокзала и в Москву не вернулся. Он остался на полях Украины с пулей, застрявшей в теле. И многие будут вспоминать потом голос Маяковского, лежа в окопах или читая лекции в холоде неотопленных красноармейских казарм.

Однако в кафе пребывают и те, кто завтра спешно будет выправлять документы, доказывающие их украинское происхождение. Кому будет казаться спасителем гетманский неустойчивый орел. Буржуазия, спешно спекулирующая перед тем, как оставить Москву. Молодые люди со следами погонов на шинелях, передающие друг другу новости о Корнилове. Один из них, лысоватый, затянутый в черкеску, втихомолку хвастает, что он адъютант великого князя. Подливая в чай водку из принесенного флакона, он посмеивается и пошучивает с соседями. Стрельба скоро начнется. Или они меня, или я их. А пока слушаем стихи.

Сюда просачивалась и мутная масса подчас выглядевших довольно решительно людей. С револьверами за поясами, обвязанные патронташами,

кто в студенческих тужурках, кто в гимнастерках. Они величали себя анархистами, проповедывали, шумели, приветствовали, зазывали в какой-нибудь захваченный ими особняк.

Уголовники, наркоманы, прожженная богема густо вмешивалась в такие «коммуны». На захваченных автомобилях они производили самочинные «реквизиции». Впоследствии в особняках обнаружались склады оружия, запасы продуктов и мануфактуры. Грозные с виду, с заломленными фуражками, с лихими чубами, эти ребята оказались робкими на деле. В одну ночь весной восемнадцатого года сдались большевикам их пышные гнезда. Но в ту пору они щеголяли в кафе, заставляя ворчать недовольного их засилием Бурлюка.

Один из таких вожаков зачастил в кафе регулярно. Прозывался он таинственно «Гуго», ходил в шелковой цветной рубашке на манер Г. Плотный брюнет южной наружности, не то бессарабец, не то грек. Иногда он таинственно исчезал в подкатившем автомобиле с потушенными фонарями. Ходили слухи, — Гуго отправился на «операцию». Какие-то нити его связывали с Г. О чем-то они шушукались в кухне. Что-то привозил Гуго «футуристу жизни». Вероятно, кафе было удобной явкой для сомнительных Гуговских затей.

И такая же двусмысленная пестрота была и среди выступающих на эстраде. Лозунг «эстрада — всем» давал простор для всевозможных вылазок. Вот читает поэт, автор сборника, называвшегося «Сады дофина». Сборник посвящен какому-то великому князю. Правда, наборщики отказались набрать титул. В посвящении значатся только имя и отчество, но они расшифровываются легко. В одном из стихотворений некий маркиз возглашает с эшафота «проклятье черни». Поэт картаво декламирует, перебирая янтарные четки. После выступления поэт посиживает со своим другом, журналистом вечерней газеты.

Журналист прекрасно одет и хвастается драгоценными перстнями. Довольно скоро будет обнаружено, что он крадет драгоценности у ювелиров. В результате выяснения его подвигов журналист кончит жизнь у стены.

По кафе бродит «поэт-певец» Аристарх Климов, покрашенный до отвращения. Он красуется то в пестрых халатах, то в странных рубашках, то размахивает настоящим кадилом. Шепелявящий, взвизгивающий, завитой, он любит напустить на себя таинственность. «Надо мной смеются, но обо мне еще узнают. В моем имени все буквы Христа».

Климов жил в Петровском парке, во главе совсем уже непонятной «коммуны». Коммуна состояла из нескольких девушек, вместе с Климовым приходивших в кафе. Девушки молчаливые, ничем не примечательные, одна из них училась танцевать. В дом Климова навещался Г., вся компания считалась его «учениками». Г. приглашал их к себе, в украшенный мехами

номер «Люкса». Неизвестно, чему Г. их обучал, но можно было догадаться, что вся группа спекулирует. Уже в году двадцать третьем или двадцать четвертом в последний раз попался мне Климов на глаза. На Кузнецком Мосту в морозные сумерки он стоял перед освещенной витриной. Довольно хорошо одетый, он был накрашен попрежнему. Он улыбался, что-то бормотал или напевал, не обращая на окружающих внимания. Лицо тихого помещанного, устремленное в ярко сияющее стекло.

7

Разумеется, и люди другого толка обитали в многослойной атмосфере кафе. Большая группа поэтической молодежи, восторженно влюбленной в Маяковского. Когда приехали друзья Маяковского из Петрограда, Маяковский устроил своей армии смотр. По очереди выпускал поэтов, каждого соответственно представляя.

— Вот человек не очень заметный на первый взгляд. Но его бледное лицо и футуристический воротник говорят, что он незаурядная фигура.

— Тарас Мачтет — стихи прочтет, — выговаривал Маяковский для рифмы «ё» как «е».

— А вот читает такой-то... Сей остальной из стаи славной Маяковского орлов. Только с размером неладно.

В один из метельных вечеров в кафе вошли продавцы газет. Студент и две девушки, по виду, вероятно, курсистки. Как выяснилось, это сторонники «Учредительного собрания», и газета их издана каким-то комитетом, агитирующим за разогнанного «Хозяина земли русской». Бурлюк купил все газеты оптом.

Затем он поднялся на эстраду, разорвал газеты, швырнул их и растоптал.

— Мы не станем поддерживать мертвецов.

Продавцы кричали, часть публики возмущалась. Маяковский одобрил Бурлюка, назвав себя безоговорочно большевиком.

И действительно, тогдашние высказывания и статьи с полной ясностью определяли: футуристы целиком за новую власть. «Мы — большевики в искусстве», — несколько упрощенно формулировал Маяковский. «Мы — пролетарии в искусстве». Но не была найдена еще связь с подлинной революционной аудиторией. В самом деле, обстановка кафе, в сущности, жалка и случайна. Можно громить старое искусство в среде падкой на фразу паразитической богемы. Можно издеваться над представителями еще не выкорчеванной окончательно буржуазии. Можно заставлять их петь хором (что и происходило в действительности) сложенное Маяковским тогда же и став-

шее знаменитым двестише: «Ешь ананасы, рябчиков жуй, час твой последний приходит, буржуй». Но все это не настоящее дело. От кафе до масс — целая пропасть. Надо выйти из этой коробки. Надо расстаться с последними лохмотьями никого не пугающих футуристских одежд. Надо пробиться к пролетариату. Говорить с ним лицом к лицу.

В марте группой, объединенной кафе, был издан номер «Газеты футуристов». Номер оказался единственным. В нем статьи, манифесты, стихи.

Это была первая газета, расклеенная на стенах Москвы. Маяковский, Бурлюк и Каменский заполняют ее на три четверти. Из стихов Маяковского — «Революция» и впервые напечатанный «Наш марш».

Декларации еще выглядят двойственно. Тут и обычная футуристская самоуверенность. «Мы — первая и единственная в мире федерация революционного искусства». «Мы вожди российского футуризма — революционного искусства молодости». Тут взаимное коронование в гении. Но рядом пробивается иное. Нечто вроде чувства растерянности. Попытки договориться с новой аудиторией.

Маяковский решительней всех. Бурлюк осторожно примеряет, что футуризму может дать новая власть. Маяковский поворачивается к рабочим, запрашивая их в «открытом письме»:

«К вам, принявшим наследие России, к вам, которые (верю!) завтра станут хозяевами всего мира, обращаюсь я с вопросом: какими фантастическими зданиями покроете вы место вчерашних пожарищ? Какие песни и музыка будут литься из ваших окон? Каким библиям откроете ваши души?»

Адрес найден, обращение послано. К нему присоединено объявление:

«Летучая федерация футуристов ораторов, поэтов, живописцев объявляет: бесплатно выступаем речами, стихами, картинами во всех рабочих аудиториях, жаждущих революционного творчества».

Футуристы ждут приглашений. Но послы не идут ниоткуда. И вот возникает удивление. Признания пока еще нет.

«Удивляемся тому, что до сих пор во всей демократической прессе идет полное игнорирование наших революционных произведений».

Очевидно, остается самим двинуться в массы. Расти вместе с пролетариатом.

Маяковский делает этот шаг.

Однажды в кафе приехал Луначарский. Он сидел в стороне за столом, как бы определяя полезность и пригодность происходящего. Центр всего совершающегося в тот вечер сам собой переместился к нему. Маяковский занял эстраду и долго с нее не спускался. Он показывал свою работу с достоинством и без всяких внешних прикрас. Он словно стоял за станком, объясняя свое производство. Перед одним из мастеров революции он раскрывал свое мастерство. И Луначарский встал отвечать.

Он говорил уверенно и логично, с полным спокойствием человека, вла-

деющего целостным мировоззрением. Он обладал всеми средствами убеждения и доказывал совершенно просто, расчлняя мысль до конца. Он говорил, вполне воздерживаясь от поучений, но вместе с тем выглядел знающим больше других. Он исследовал характер футуризма. Видел сложность явления и предостерегал от ошибок.

Это была деловая критика, с которой впервые встретился футуризм.

8

Вдруг в кафе обнаружился Хлебников. Он откуда-то ехал. Революция освободила его от солдатчины и дала ему возможность перемещаться. Мне рассказали, что еще летом семнадцатого года он мелькнул в Москве. Он подбивал друзей реквизировать типографию «Русского слова», чтобы печатать воззвания и манифесты от имени Правительства Земного шара. Грандиозные планы переполняли его. Он был подлинным художником-утопистом.

И, как всякий настоящий утопист, он верил в реальность своих предугадываний.

И разве так невероятны его утопии? Именно теперь, в периоды огромных переустройств, на многое, измышленное им, мы можем взглянуть без удивления.

Не правда ли, до чего просто звучит сейчас написанное Хлебниковым в тот период, когда мы не знали еще радиоприемников, а о телевидении можно было только мечтать.

«Радио решило задачу, которую не решил храм, как таковой, и сделалось так же необходимым каждому селу, как теперь училище или читальня», и дальше Хлебников повествует о том, как «все село собралось слушать».

Так слушают «новости дня: дела власти, вести о погоде, вести из бурной жизни столиц. Кажется, что какой-то великан читает великанскую книгу дня». Но откуда этот «серебряный ливень»? «Мусоргский будущего дает все-народный вечер своего творчества... в просторном помещении от Владивостока до Балтики, под голубыми стенами неба». А там проносятся «цветные тени». «Московская выставка холстов лучших художников», переданная «главным Маяком Радио... посетила каждую населенную точку». А постановка «народного образования»... по радио. «Ежедневные перелеты уроков и учебников».

А мысли об удивительных городах, на которые «придется смотреть сверху». Это написано было еще в четырнадцатом-пятнадцатом годах против «...современных домов-крысятников», построенных союзом «глупости и алчности». Город есть «достояние всех жителей страны». «Так были избегнуты ужасы произвола частного зодчества». И вот — «все походило на

сад». И вот — мы в необычайных домах, домах на колесах, домах-мостах, домах-пароходах.

Хлебников приветствовал революцию. Теперь, считал он, его мечты могут уплотниться в действительность. Но роль пропагандиста была ему не по плечу.

Он сидел в кафе в черной сатиновой куртке с высоким твердым воротничком. На воротничке лежала крупная его голова. Взбившиеся волосы. Внимательные и вместе с тем рассеянные, излучающие глубокое сияние глаза. Бурлюк сразу же поволок его выступать. Хлебников покорно вышел.

Он стоял на эстраде, словно загнанный в угол электрическими лучами. Он что-то бормотал про себя. Публика, оглянувшаяся на него, когда Бурлюк назвал его Председателем Земного шара, сразу же потеряла к нему интерес. Гремела посуда, перекачивались разговоры. Хлебников стоял, заложив руки за спину. Совсем замолк и задумался. Наконец, его увели. В кафе он больше не появлялся. Но задержался в Москве.

Один московский врач и его жена часто бывали в кафе. В их квартиру также заходили многие, во главе с Маяковским и Бурлюком. Жена врача, добрая и предприимчивая, переселила Хлебникова к себе. Через площадку, напротив своей квартиры, врач содержал небольшую лечебницу. Лечебница к тому времени закрылась, но территория ее числилась за врачом. Там отвели Хлебникову комнату, обеспечив его полным пансионом.

Хлебникову был выдан стол, за которым он мог работать. Вдоволь отпущена необходимая тишина, водворившаяся в безлюдном помещении. Появились необходимые книги, в частности книги самого Хлебникова. Это было совсем необычным. Хлебников никогда не владел собственными сочинениями.

Закладывался непрочный фундамент личной Хлебниковской библиотеки.

Вообще Хлебников приручался. Его приучали заботиться о себе. Например, по утрам причесываться. С этим Хлебников не справлялся. Ему вменили в обязанность являться за помощью к хозяйке. Хлебников вверял голову гребню, расплачиваясь послушанием за гостеприимство. В сущности, он ладил с хозяевами, вечерами посиживал в их гостиной. Неразговорчивый, словно с запертым ртом, откуда выбрасывались короткие, рассеченные частыми паузами фразы, он присаживался, как на насест, на краешек обитого зеленым сукном дивана. Он даже принимался рассказывать. Делился воспоминаниями о путешествиях. Подчас, сообщал о себе не совсем обыкновенные вещи. Например, что может спать на ходу. Идет по тротуару и спит, ступит на мостовую — проснется.

Иногда в зеленоватой гостиной Хлебников читал стихи. Чтение ему давалось трудно.

Он привставал у дивана и смотрел в сторону выпуклыми голубыми, потемневшими от сосредоточенности глазами. Ронял слова, комкая, подчас проглатывая окончания. Казалось, гортань не подчинялась ему, и каждый слог требует отдельных усилий. Это противоречие между внешним косноязычием и огромной внутренней языковой одаренностью лежит в ряду тех противоречий, наиболее явным проявлением которых была бетховенская глухота. Хлебников перебирал отдельные строчки. «У колодца — расколоться — так хотела бы вода». Или что-то о «душистой ветке млечного пути». Словно выламывал один за другим камешки из драгоценной мозаики.

Но и в этом мирном житье были поводы для замыкания и протеста. Дом жил бестолково и шумно. Люди толкались до утренних часов. Напрасно поварчивал хозяин, — художественный, театральный и литературный люд внедрялся во все помещения. На диванах, креслах, коврах — всюду обнаруживались неожиданные компании. Корректный доктор пожимал плечами, но выветрить гостей не удавалось. И все это соприкасалось с Хлебниковым, как ни держался он на отлете.

А главное, сама хозяйка подчас донимала чрезмерными заботами. Все делалось искренно и непосредственно, но Хлебников начал сопротивляться. Хозяйка мне как-то рассказывала, что пыталась вразумлять Хлебникова. Пора оставить неустроенную жизнь; возможно, шла речь и о бесцельных кочевьях. Хлебников упрямо ответил, что у него особенный путь.

«У гения своя дорога», — так были переданы мне его слова.

Возможно, они звучали иначе, но что-то близкое им было. И было нетрудно представить спокойное, но упорное лицо Хлебникова, когда пытался он выразить мысль, не гордую, но лишь выясняющую положение. Что же касается до гениальности, то что включает в себе подобное понятие? Если определяет оно полную несхожесть одного человека с другими, то Хлебников имел на него право. Ведь, вглядываясь в книги даже самых близких, он всегда мог убедиться, пожалуй, даже с недоумением и досадой, что сам выделяется из всего написанного, подобно тому, как камень выделяется из воды.

И Хлебников замыслил побег. Любая заботливость должна иметь границы. Когда, встретившись с ним впоследствии и зная, что ему негде обосноваться, я напомнил ему об обжитой квартире, он ответил непреклонным «нет».

От странствий он отказаться не мог.

Весной восемнадцатого года я присутствовал на странном собрании. Организовал его один партиец, как будто не только по своей инициативе. Ходили слухи, что в партийных кругах хотят выяснить настроение поэтических групп. Вероятно, нити вели к Луначарскому. Так или иначе, собрание состоялось. В числе прочих туда приглашалась и совсем еще неопределившаяся молодежь. Были даже какие-то нормы представительства, чуть ли не

по два человека от каждого возраста.

Собрание происходило в «Метрополе», где жил партиец-организатор. Было оно немногочисленным. Помню Хлебникова, Есенина, Кусикова.

Шла речь о выработке какой-то декларации. Предлагалось вносить пожелания.

Как будто Есенин тогда предложил написать декларацию прав поэта. Хлебников сидел и прислушивался.

Вдруг он поднял голову, и обозначился его высокий голос:

— Декларация прав — это не все. Вот объявлена декларация прав солдата. Из этого пока ничего еще не вышло. К декларации прав нужно прибавить декларацию обязанностей поэта.

И только к одному праву не мог он не устремиться:

— Пусть предоставят поэтам бесплатный проезд. По всем путям сообщения.

В конце апреля или в начале мая он исчез, предприняв объезд Поволжья. Начинаясь образовываться библиотека не вместились в вещевой мешок.

9

Период кафе проходил под знаком «Человека». Главы поэмы читались Маяковским каждый вечер. Знакомые, никогда не теряющие выразительности интонации. Они внедрились в меня навсегда.

Поэма не помещается в кафе. Маяковскому стали тесны эти ежевечерние неразборчивые скопища. Маяковский собирается прочесть «Человека» в Политехническом. Город оклеен цветными тоненькими афишами.

— Хожу по улицам, как по собственной квартире, — отметил Маяковский, поднявшись по Тверской, всеми фасадами повторявшей его имя.

В Политехническом он внешне очень спокоен. Приступает к подаче текста без всяких предварительных слов. Вступление. Глава за главой. Умело распределяет голосовые силы. Чем дальше, тем звук резче и горячее. Толпа слушает, почти не дыша.

Маяковский кончил. На эстраду вскарабкался Бурлюк. Ему надо закрепить впечатление. Увидя сидящего в первом ряду Андрея Белого, Бурлюк приглашает его говорить. Белый отнекивается, но от Бурлюка не спастись. Белый поднимается, потирает руки, оглядывается.

Белый и сам превосходный оратор, но держится, на первый взгляд, застенчиво. Он говорит, словно думает вслух, и передвигается вдоль эстрады легкими, танцующими шагами. Маяковский смотрит на него сверху вниз и слушает очень внимательно. «Уже то, что Маяковский читает наизусть целый

вечер, и так превосходно читает, вызывает в нас удивление. — Белый отмечает значительность темы. — Человек — сейчас тема самая важная. Поиски Маяковского — поиски новой человеческой правды». Белый хвалит. Бурлюк разжигает обсуждение дальше.

«Человек» читался и в домашней обстановке в той квартире, о которой упоминалось в связи с Хлебниковым. Было поздно. Кто-то из гостей не знал поэмы. Маяковский согласился прочесть. За окнами ночь. Купола Страстного монастыря смутно светлели, усыпанные снежком. В гостиной светила настольная лампа. Вся комната обтянута тенями. Чернел тяжелый выступ рояля. Маяковский стоял у кресла с высокой спинкой.

Читал он вполголоса и очень вдумчиво. Почти не двигаясь, словно беседовал сам с собой. Казался он очень высоким в сравнительно небольшом помещении. Угрюмоватым и почему-то одиноким среди сумеречного уюта комнаты.

Потом спускались мы по темной лестнице, не разговаривая. Третьесортный актер сунулся и Маяковскому с замечанием:

— Вы неправильно произносите слово «солнце». Надо говорить «сонце», а не «солнце».

Голос Маяковского раздался из темноты:

— Если я скажу завтра «сонце», вы все должны будете так говорить.

— Вот как! — опешил актер.

«Человека» удалось издать. Вышло и второе издание «Облака», на этот раз без цензурных пропусков.

Маяковский принес книги в кафе. Он смотрел на толщину корешков и радовался плотности томиков.

— Люблю, когда корешок толстый. И чтоб фамилия на корешке.

Он продавал их и здесь, и в Политехническом, мгновенно придумывая веселые надписи. Или просто надписывал фамилию и рекламировал возрастную от этого ценность книги. Несколько раз я помогал ему нести «товар». Из Политехнического или из гостиницы, где он жил. Номер гостиницы в Салтыковском переулке ничем не напоминал апартаментов Г. Голо, бесприютно и необжито. Ничего, говорящего о профессии и склонностях жильца.

Когда шли мы после выступлений по Москве, Маяковский, только что оживленно беседовавший с публикой, становился непроницаемо молчаливым. Он шагал, обернув горло шерстяным кашне, концы которого свисали на спину и грудь. Зажав сверток с книгами подмышкой, промеривал улицы широкими шагами. Невозможно было нарушить его молчание. Слова словно отскакивали от него. И, казалось, не бывает на свете более замкнутых, более суровых людей.

— Я никогда не оставался без денег, — однажды весело расхвастался Маяковский, — Вот, посмотрите, как я одевался.

Он вынул фатоватую фотографию, где стоял он, украшенный цилиндром.

— Я никогда никому не завидовал. Но мне хотелось бы сниматься для экрана.

И он со вкусом расписал с эстрады все удовольствия такого занятия.

— Хорошо бы сделаться таким Мозжухиным.

Возглас Маяковского был услышан хозяевами кино фирмы «Нептун».

Это было семейство Антик, издателя знаменитой некогда «Универсальной библиотеки». Семейство посещало кафе — отец, мать и сын. Они увлекались Маяковским и по-своему любили его.

— У него замечательная внешность для экрана, — убежденно говорил мне Антик. — Он мог бы сделать блестящую карьеру.

Маяковского пригласили работать.

Он сам соорудил сценарий по «Мартину Идену» Джека Лондона. Эту отличную, многим родственную Маяковскому и очень любимую им историю он перекроил на русский лад. Мартин превратился в футуриста и вел борьбу с академиками. В одном из кадров он врывался в их среду и свергал бюст Пушкина.

Вечерами Маяковский рассказывал о съемках. Приносил снимки, радовался, что его портрет в роли Ивана Новы помещен в театральном журнале.

Кусок действия происходил в кафе,

Нас пригласили на окраину Москвы, в расположенное там ателье. Нас ожидало там кафе поэтов, воспроизведенное из фанеры, расписанной соответственно Бурлюком.

Был ранний весенний денек, когда снег намокал и таял. Пропитанный водой, он лежал на незамощенной земле двора. Бучинская сбросила обувь и побежала по теплым проталинам. Всем было весело и необычно. Никто из нас не попадал раньше на съемки.

Маяковский чувствовал себя хозяином. Удивительно подходило к нему все это производственное неустройство обстановки. Дощатые экраны, попадающиеся на пути. Огромные шлемы «юпитеров» с толстыми проводами, путавшимися под ногами. Рабочие что-то сколачивали и передвигали. Часть навеса неожиданно обрушилась, едва не ударив одну маленькую поэтессу. Маяковский подхватил ее на руки и вынес, будто из горящего дома. Довольный, деятельный, ко всем расположенный, он наполнял своим присутствием павильон.

Режиссер рассадил нас за столиками.

Было забавным это повторение привычной обстановки, перенесенной в новую область. Будто события, которые вспоминаешь. Они и действительны, и вместе с тем не существуют. Напряженные голубоватые лучи с шипением накрыли столы.

Мы разговаривали, смеялись и чокались. Бучинская танцевала на скатерти. Чтобы не сбиться с ритма, она читала стихи Каменского под вламывающуюся сбоку команду режиссера. В кафе вошел Маяковский. Мы приветствуем его, размахивая руками. Наши голоса не попадут на экран, но мы и не нуждаемся в этом. Мы приветствуем живого Маяковского, а не выдуманного героя картины. Да и он сам в шелестящем огне прожекторов движется, нисколько не изменившийся. Он изображает себя самого. Та же кепка, тот же бант, папироса. Только разве чуть медленней разворачиваются жесты под все проницающим глазом объектива. Глазом, сосредоточившим в себе внимание будущих зрителей.

Потом снимали нас отдельными группами. Заставляли выступать на эстраде.

Картина называлась «Не для денег рожденные». Я в прокате ее не видел.

11

Программа в кафе оканчивалась. Разбредался народ. Задержавшись, потолковав о делах, мы направлялись по домам. Неотделимы от жизни кафе эти поздние московские путешествия. Темнота в городе настолько привычна, что когда однажды почему-то Тверской бульвар был освещен, было страшно итти по его дорожкам. Неприятно, что ты отовсюду заметен.

Иногда возле кафе на Тверской сразу же встречали прохожих конные патрули. Красная гвардия проверяла документы. И дальше идешь заглохшей Москвой мимо накрепко заколоченных, заваленных дровами подъездов.

Гулко звучат шаги. Неподалеку загрохотали выстрелы. Сани летят Спиридоновкой. Извозчик приостанавливается и предупреждает:

— Никитской не ходите. У Никитских ворот стрельба.

Но Никитскую нужно пересечь.

Настороженно пережидаете встречного. Кто знает, какие у него намерения. Может, этот набросится снимать шубу. А прохожий, верно, побаивается тебя.

Из-за угла выныривает автомобиль. Фонари потушены. Стремительный черный корпус. Может, Гуто это промчался мимо на одну из своих загадочных операций. Тишина. Неметеный снег под ногами. Огромные, словно вымершие дома.

И только прекрасный многоколонный особняк сияет на Новинском бульваре, как длинный фонарь. Кажется, что внутри бал. Тени скользят за желтыми высокими стеклами. Вчера особняк был темен и пуст. Значит, сегодня им завладели анархисты.

И снова узкие ущелья переулков. Иногда расступаются они, образуя площадь со сквериком. Все это районы недавних боев. Стены исколупаны пулями. Снаряды выгрызли облицовку и кирпич на фасадах. Стреляли вот отсюда, из-за угла, оперев винтовку о выступ подоконника. А здесь стояла в то же время очередь за продуктами и разбегалась, когда снаряды рвались вблизи. Тут над головой моей звякнуло фонарное стекло, и мелкие осколки упали на тротуар. И бои еще предстоят.

У Смоленского рынка вздрагивал костер. Сгрудились люди. Красные отблески на лицах, на папах, на ружейных стволах. Это красногвардейский патруль. Здесь можно остановиться и передохнуть.

ГЛАВА ПЯТАЯ

1

Кафе закончило свое существование. Последнее время все начали им тяготиться. Бурлюка потянуло на Урал, где привык он трудиться над холстами. Маяковскому надоела ежевечерняя повинность. Был устроен последний закрытый вечер, со стихами, танцами, разговорами до утра.

Однако кафе породило потомство. Почти сразу же после его закрытия начались выступления поэтов в кафе «Трамбле» на углу Петровки и Кузнецкого переулка. Затем в кафе «Десятая муза» в Камергерском, в кафе «Элит» на Софийке. Впоследствии в кафе «Бом» на Тверской. Образовавшийся осенью восемнадцатого года Союз поэтов на долгое время осел на той же Тверской в кафе «Домино».

Бумажный кризис, прекращение деятельности ряда издательств, разруха типографского дела в годы гражданской войны — причины усиления такой «устной» литературы. Но все эти новые предприятия сильно отличались от первого образца. Дух импровизации в них исчез, был снят лозунг «эстрада — всем». Исполнялась твердая программа, сборный литературно-музыкальный концерт. Выступали писатели разных направлений и возрастов, помещение ни для кого не было своим. И расчет в этих развлекательных заведениях был явно на другую аудиторию.

В кафе футуристов, при всей смешанности состава, господствовала ре-

волюционная молодежь. Представители буржуазии жались к сторонке. Они терпелись там, поскольку еще в Москве имели они условное право жительства. Не к ним обращался Маяковский, читая свои оды революции. Их искусство и сами они ни в какой мере не были там хозяевами. Их громили, над ними издевались.

Иное дело в «Музыкальной табакерке», как стало называться кафе «Трамбле». Круглая комната с плотно опущенными шторами наглухо отделена от улицы. На столиках лампочки под цветными шелковыми абажурами. Полумрак, уютная тишина. Перед началом программы тихое позванивание пианино — «Музыкальная табакерка» Лядова. Публика одета изысканно, — все так, «будто ничего не случилось». Певица исполняет «интимную» песенку об арлекине, отравившемся на маскараде. Актриса рассказывает фельетоны Тэффи с дамскими довоенными остротами. «И остров мой опустится на дно, преобразясь в жемчужные сады», воркует маленькая, вернувшаяся из Парижа, поэтесса. Напудренный поэт читает с кафедры в полумраке: «Поверх крахмальных белых лат он в сукна черные затянут. Его глаза за той следят, за той, которою обманут». Артист Раневский мелодекламирует о маркизах. Программы носят экзотические заглавия, увенчиваясь «вечерами эротики». Кроме бесцеремонной московской публики, здесь появлялись петроградские акмеисты. Впервые в «кафейной» обстановке выступил здесь и Брюсов.

Он держался в кафе точно так же, как и в апартаментах «Свободной эстетики». Прежний замкнутый литературный быт кончился. Брюсов был дальнзорок и умен. Его пригласили, он аккуратно приехал. Встреченный почтительными учениками, он прошел к одному из столиков. Сидел, помещивая кофе в стакане, в черном сюртуке, склонив голову набок. Слушал, как читает молодежь. Легким кивком выражал одобрение прочитанному. Сам поднялся на деревянную кафедру, сообщил свое новое стихотворение. Четко переписанное на небольшом листке, вероятно, приготовленное сегодня. «Ведь стихи надо писать ежедневно, как пианисту упражнять свои руки», — такова была одна из его заповедей.

Профессор поэзии, он и в кафе работал точно и добросовестно.

Он был таким же, каким видели мы его у черной школьной доски в студии поэтов. Эта студия, образовавшаяся тою же весной, вела случайное свое существование на Молчановке. Кажется, там находилась гимназия, и вечерами она пустовала. Поэты, большинство которых перезнакомилось зимою в кафе футуристов, рассаживались за низкими, не по росту, партами. Лекции читались Белым, Гершензоном, Вячеславом Ивановым. Брюсов преподавал метрику и ритмику.

Это было скучновато и беспощадно. И строго, как изучение математики.

Стук мелка. Брюсов выводит формулы. Строчки разрезаны по слогам. Четкие дужки, восклицательные значки, отмечающие ударные и неудар-

ные. Высокий гортанный голос лектора. Повернутое в профиль желтоватое неправильное лицо с темной бородкой. Ни одного лишнего слова. Невольная боязнь — вдруг вызовет к доске повторить. Казалось, это не имеет отношения к поэзии. К «вольному искусству», о котором говорит пушкинский Моцарт. И в то же время такие занятия представлялись необходимыми. Создавалась трезвая и чистая атмосфера труда. Возникало чувство: поэзия — труд. Счастливое ремесло — высокое и сложное. Искусство — профессия, не терпящая дилетантизма.

Атмосфера честности окружала Брюсова.

Та же атмосфера, которая, при всем различии внешних обликов, всегда ощущалась вокруг Маяковского. И странно сближаются через много лет в моем представлении эти люди.

Так вот таким практическим преподавателем «науки о стихе» оставался Брюсов и на эстрадах кафе.

В «Десятой музе» был устроен «вечер импровизации». Затея, рассчитанная больше на производство курьезов, чем на получение толковых результатов. Публика заранее подшучивала над «импровизаторами». В вазу на сцене опускались записки. В зале со столиками выключен свет.

Поэты действительно тонули на глазах. Вот поэтесса сбилась с размера и запнулась. Беспомощным жестом и обворожительной улыбкой пытается возместить она недостающие слоги. Поэт начинает развязно, но плетет распадающуюся на строчки бессмыслицу. Другой, обычно бойкий и едкий, после каждого слова застревает на мели. Из публики несутся остроты, мало способствующие творческому процессу.

Дело доходит до Брюсова. Он на сцене. Разворачивает записку. Тема — что-то вроде «любви и смерти» — слишком отвлеченна и обща. Брюсов подходит к рампе. Произносит первую фразу.

Медленно, строка за строкой, не запинаясь, не поправляясь на ходу, он работает. Тема ветвится и развивается. Строфа примыкает к строфе. Исторические образы, сравнения» обобщения, куски лирических размышлений. Вдобавок он импровизирует октавами, усложнив себе рифмовку и умышленно ограничив возможности композиции. Нельзя сказать, чтобы это давалось ему легко. «Вперед, мечта, мой верный вол». Запавшие глаза сухи и сосредоточенны. Зал примолк, люди боятся двинуться, чтоб не нарушить напряженную собранность поэта. Брюсов продолжает. Удивление переходит в восхищение. И вот облегченный жест рукой.

— Я дал вам девять правильных октав, — бросает он гортанным, картавым голосом все закругляющие последние строки. Смолк. Резко дернулась голова. Мгновенная улыбка и обычная серьезность в ответ на бешеные аплодисменты.

Продемонстрировав высокую степень словесного мастерства, профессор искусств сходит с подмостков.

В этих кафе Маяковский не выступал. Он был непреклонно тверд в своих литературных позициях. Он мог сохранять хорошие отношения с отдельными несогласными с ним поэтами. Но это не заставляло его идти на уступки. Человек, даже к нему расположенный, оставался его литературным врагом. Без всякой скидки на личные отношения, Маяковский его беспощадно громил. А в какой-нибудь «Музыкальной табакерке» и среди читавших и среди публики были и явные политические враги.

Иногда он заходил с улицы, громко здоровался и разговаривал со знакомыми. Он умел держаться хозяином среди молодежи, добродушным или резким, смотря по людям. Однажды на большой вечер в Колонном зале он пришел с опозданием. Читал поэт, близко знакомый Маяковскому. Маяковский медленно пересек зал. Публика оглянулась. Поэт остановился. Добродушным театральным жестом Маяковский протянул руку младшему товарищу. И, поздоровавшись, сел в первый ряд, разрешая чтение дальше.

Если в кафе публика подбиралась не враждебная и настойчиво требовала стихов Маяковского, он вставал и читал среди столиков.

Только на «вечере эротики» он разрешил себе подняться на кафедру. Он не слушал специально сервированной программы «от классиков до наших дней». Войдя с улицы, не снимая кепки, он занял место, вклинившись в номера. Сообщил, что прочтет экспромт, заглянул в записную книжку. Спокойно и неторопливо он обратился к тем, кто с вычурными жестами «тоненьких ручек» собрался сюда, чтобы славить наперебой

таинства соитий и случек.

Голос его издевался, хотя Маяковский был совершенно невозмутим. И только к концу выступления он отчеканил несколько громче свое заключительное пожелание:

Ни любви не знать,
Ни потомства вам,
Импотенты и скотоложцы!

2

Бурлюк собирался уезжать. Весна. Пора браться за кисть. Тщательно запаковывает он увесистую корзину, наполненную книгами, закупленными для семьи. Туда же погружаются газетные вырезки, афиши, всевозможные свидетельства о протекшем сезоне. И большие запасы красок, которые обильно переложит он на холсты.

Прощание с Москвой должно произойти в соответствующем футуристском лозунгам стиле. Недаром повсюду провозглашалось, что искусство должно выйти на улицу. Подхватив под локоть две картины, Бурлюк отправляется на Кузнецкий Мост.

В кармане пальто гвозди и молоток.

Подойдя к облюбованному дому, Бурлюк раздобывает у дворника лестницу. Лестница ставится на тротуар, верхний конец ее упирается во второй этаж. Бурлюк с трудом карабкается по перекладинам. Лестница слишком узка для него.

Зацепляясь о загородившую тротуар лестницу, публика задерживается, останавливается. Поднимает головы. Бурлюк, рискуя упасть, оборачивается лицом к собравшимся.

Он потрясает молотком и произносит короткую речь. Об искусстве, украшающем город. Призыв к художникам выйти из выставочных зал и музеев. Надо одеть фасады зданий картинами, раскрасить дома, расписать их стихами. Фразы, бросающиеся с пожарной лестницы., приобретают сейчас осязаемый смысл.

Москвичей в ту пору трудно было удивить. Слишком много в городе происшествий. И достаточно забот каждый день. Взять хотя бы усиливающийся голод. Плохо с хлебом, исчезают продукты. Случайная, наспех образовавшаяся толпа довольно спокойно относится к событию. Оно не выдерживает сравнения с начинающейся гражданской войной или даже с ночными налетами анархистов. Знакомые хлопают Бурлюку. Незнакомые молча его рассматривают. Мальчишки поддерживают лестницу.

Две картины прочно прибиты к стене. Одна — женский портрет. Другая — какое-то символическое шествие на фоне буро-красного пейзажа.

С тротуара картины кажутся небольшими и не слишком бросаются в глаза. Они провисят в течение ближайших месяцев, не смущая и не беспокоя горожан.

В подражание Бурлюку, через несколько дней Г. поставил себе собственноручно памятник. Небольшая гипсовая статуя обнаженного «футуриста жизни» простояла несколько часов в сквере перед Большим театром. К вечеру ее расколотили мальчишки.

Таково последнее выступление Бурлюка в Москве. Он не предполагал, что больше не вернется в этот столь знакомый ему город. Россию разрезала на части война. Бурлюк оказался на территории белых. Не имея возможности пробиться в РСФСР, опасаясь расправы со стороны белогвардейцев за футуризм, Бурлюк поехал с семьей в Японию. Оттуда перекочевал в Соединенные штаты, где находится и сейчас. «Отец российского футуризма», он издал там множество тетрадей с рисунками, манифестами и стихами. В доходивших до нас изданиях Бурлюк проявлял себя, как советский человек. Но уровень его представлений о нашей стране оставался тем же, что

был в год отъезда. И те же приемы работы, те же футуристские лозунги, безвозвратно отслужившие свою службу. «Человек будущего», он при жизни превратился в музейный экспонат. О нем вспоминают только в связи с Маяковским. Странная участь его — очередное доказательство, что вдали от родины трудно сохранить творческую жизнь.

3

Весною Маяковский устроил прощальное выступление. Оно происходило в кафе «Питtoresк» на Кузнецком, в этом последнем предприятии Филиппова. Продолговатый зал с высокой вогнутой крышей имел вид вокзального перрона. Якулов расписал его ускользающими желто-зелеными плоскостями и завитками. Плоскости кое-где сдвигались в фигуры. Раскрашенными тенями распластывались они по стенам. Над большой округлой эстрадой парила якуловская же, фанерная, условно разложенная модель аэроплана. Предсмертный всплеск буржуазного ресторанного «строительства», выдуманный «московский Париж».

Маяковский вышел на эстраду сильный, раздавшийся в плечах. Он будто вырос за эту зиму, проникся уверенной зрелостью. Он был в свежем светлокоричневом френче, открывающем белую рубашку.

Он объявил, что недавно читал на заводе, и рабочие понимают его. Он преподнес это нарядной публике как лучшее свое достижение. Его обвиняли всегда в непонятности. И вот оно — опровержение. Он читал твердо и весело, расхаживая по широкой эстраде. Это были много раз слышанные стихи, часто знакомые до последней интонации. И многое из прочтенного тогда я слышал от него в последний раз. Маяковский держался как человек, знающий свое место, своевременно живущий, правильно помещенный в сегодняшнем дне.

В нем ощущался мускулистый оптимизм, которому, казалось, не обо что разбиться.

Он прочел тогда и самое свое новое. О том, как лошадь поскользнулась на Кузнецком и ее окружила праздношатающаяся толпа. И Маяковский подходит и обращается к лошади.

— Детка, — говорит он мягко и убедительно, — слушайте. Вы думаете, вы их плоше. Знаете, все мы немножко лошади. Каждый из нас по-своему лошадь.

И лошадь, ободренная его доброжелательством, собралась с силами, поднялась, побежала.

Хвостом помахивала,
Рыжий ребенок.

Пришла веселая
И стала в стойло.
И все ей казалось, —
Она жеребенок.
И стоило жить
И работать стоило.

4

В конце мая я поехал в Нижний-Новгород. Там узнал я, что проезжал мимо Хлебников. Прочел несколько оставленных им манифестов. Манифесты были сочинены в сообществе с нижегородскими поэтами и предназначались для собиравшегося в Нижнем альманаха «Без муз».

Мне нужно было попасть в Самару. На пароходе шли различные толки. Стало известно, что до Самары добрались неведомо откуда взявшиеся чехословаки. Задержатся они или пройдут? Впрочем, билет до Самары мне был продан.

В Казани путешествие пресеклось. Розовые суда общества «Самолет», белые — «Кавказ и Меркурий», широкобокая, устойчивая «Русь» и множество других — буксирных, грузовых, пассажирских, — все они в несколько рядов стояли у пристаней, подняв черные, лоснящиеся, прочно склепанные трубы. Ехать дальше нельзя. Путь заперт на неопределенное время.

На утро я вышел на пристань, кишашую озабоченным людом. Передо мною с мешком в руке стоял задумавшийся Хлебников.

Я окликнул его, и мы вернулись на пароход. Мы сели в рубке третьего класса и прежде всего раздобыли кипяток. Мешок Хлебникова на этот раз был щедрым. В нем заключались баранки и яйца. Мы закусили, обсуждая положение. Перерезанная Волга была нам не на-руку. Для Хлебникова — Астрахань, для меня — Самара являлись единственными в тот момент материальными базами.

Этот день мы провели в прогулках, нельзя сказать, чтобы очень веселых. Мы отправились к пыльно серевшей Казани, расположенной поодаль от берега. Брили травянистыми полями, отдыхали, обменивались предположениями. Широкое волжское небо остановилось над нами во всей своей знойной ясности.

— Можно идти пешком, — боролся с преградами Хлебников. — Только лапти нужны.

Ближе к городу на рельсовых путях теснились раскрытые теплушки. Ими завладели цыгане. У насыпи трепетали костры.

— Можно жить с цыганами. Ночевать с ними в теплушках.

Мы обмеривали город, густо пересыпанный пылью. Хлебников тут жил у кого-то. Но хозяева, как водится, уехали. Мы пошли по другому адресу. Но и там никого не нашли. Горький расчет на чужие квартиры — всегда непрочный и ненадежный. Усталые, изголодавшиеся, вот мы снова на пристани.

Хлебников рассматривал лотошников, торговавших вроссыпь папиросами. У этих людей было твердое занятие.

— Можно и нам продавать папиросы.

И, наконец, вспомнив о своей профессии, он внес последнее предложение:

— Мы будем читать стихи. Нас за это будут кормить.

Пароход, привезший меня, собирался в обратный путь. Выяснилось, что с Самарой плохо. В последнюю минуту мы взобрались на палубу. По неиспользованным до конца билетам нас согласились доставить обратно в Нижний.

Мы сели на палубе, простились с Казанью. Достали листки, попробовали работать. По палубе прошелся дождь. Мы переселились и рубку. Там, сидя друг перед другом, мы провели ночь за столом.

Хлебников задумывался и молчал. Иногда голова его опускалась на руки. Я задремывал временами. Вдруг Хлебников вскидывал лицо и озирался, недоумевая. Темные зеркальные стекла. Вода шуршала вокруг парохода. Хлебников вздыхал и весь вздергивался, словно готовый куда-то бежать. И вламывался рукою в волосы, перетряхивая их пушистые пласты.

В Нижнем наши пути разошлись. Но однажды Хлебников встретился опять. Он пришел к поэту Ивану Рукавишникову, бывшему собственнику знаменитого в городе особняка. Рукавишников сам отказался от своих наследственных богатств. Местные власти, хорошо его знавшие, позволили остаться ему в нескольких маленьких комнатках.

Но так как дом вообще был свободен, Рукавишников пригласил нас в большую залу. Нижегородские поэты, сгруппировались вокруг стола. Неожиданно появился Хлебников в свалывшемся пыльном костюме. Быстро поздоровался со всеми, взъерошенный, воинственный и колючий.

— Я провел эти ночи... в обществе пристанских бродяг...

Он знал, что среди присутствующих находится человек, взявший у него стихи для сборника. Не заплативший даже гостеприимством, которое вряд ли могло быть ему в тягость.

Хлебников стоял, откинувшись, у стола.

— Я люблю. Людей. Слова, — отчеканил он без всякого повода. Но, впрочем, остался и молча сидел в кругу лиц, перебивавших кости поэзии.

Вскоре я вернулся в Москву. Маяковского там уже не застал.

ГЛАВА ШЕСТАЯ

1

Летом двадцать первого года я встретился непосредственно с Маяковским в последний раз. Годы гражданской войны я провел на службе в Самаре. Годы, полные напряженной лекторской работы в армии. В сыпнотифозном городе, настолько перегруженном, что люди жили в передних, на лестницах, по углам. В то же время это были годы учения, годы нового, более основательного знакомства с литературой. Встречи с «врагами» — классиками, удивление перед богатством «классического наследия». Враги оказались друзьями. Их пришлось полюбить и принять.

Это изменяло отношение к футуризму.

Я приехал в двадцать первом году в Москву в достаточно неопределенном состоянии. Естественно было бы сразу пойти к Маяковскому. Но не было прежнего безоговорочного признания всех его слов. Не так давно призывал он палить по музеям, свергать Пушкиных, расстреливать Рафаэля и Растрелли. Сейчас просто отметить крайности футуризма. Легко отслаиваются внешние полемические наслоения. Тогда многое воспринималось иначе.

К тому же я сделал ошибку. Я не учел резкой размежевки между поэтами, происшедшей в то время, когда я не жил в Москве. Я выступил в кафе «Бом», постоянном пристанище имажинистов. Выступление было случайным, обусловленным личными знакомствами с отдельными членами этой группы. Вскоре даже такие отношения были решительно прерваны. Но Маяковский узнал о выступлении. Мы столкнулись с ним на Арбате.

— Здравствуйте, имажинист Спасский.

Я почувствовал его недовольство.

И все-таки он дал мне свой адрес. Я пришел в квартиру Бриков на Водопьянный переулок.

Маяковский расхаживал по комнате, искоса поглядывая на меня. Я беседовал с Бриками, рассказывая о своей работе. Я выкладывал свои сбивчивые теории. Футуризм изжит, период полемики с прошлым кончен. Предлагал синтез между футуризмом и классиками. Маяковский вытянулся на диване. Выглядел он усталым и мрачным.

— Значит, получится что-то вроде академического футуризма, — прогудел он, глядя мимо меня.

Этой фразой была поставлена точка. Пришел Каменский. Исполнял поэму «Жонглер», состоящую из заумных звуковых фейерверков. Я простился и вышел на улицу. С тех пор я воспринимал Маяковского только извне.

Вот он спускается по Кузнецкому быстрой и размашистой походкой.

Широкоплечий, всегда резко и отчетливо отделяющийся от остальных. В слегка сдвинутой назад мягкой шляпе, в свободном сером костюме. Он не располнел, но как-то раздался вширь. Невольно оглянешься ему вслед. Маяковский серьезен. Он думает. Он работает. Трудно решиться его окликнуть.

А столбы и рекламные щиты оклеены свежими афишами. Его фамилия громыкает длинным рядом крупно отпечатанных букв. На афишу всегда тянет посмотреть.

— Афишу тоже надо составить умеючи. Я вот несколько вечеров думал, прежде чем нашел название, — так рассказывал он в Политехническом музее в 1921 году.

— И вот получилось — «Дювлам».

Слово «Дювлам» анонсировалось предварительно, въедалось в память. Потом уже появились пояснения: Маяковский справляет Дювлам — двенадцатилетний юбилей Владимира Маяковского.

В теплой куртке (в музее не топят), в круглой барашковой шапке он стоит на обжитой эстраде. Как всегда, эстрада переполнена слушателями и сливается с амфитеатром скамей. Маяковский отчитывается в сделанном, проходя по всему своему творчеству. Весело, в быстром песенном темпе читает он частушки о куме, попавшей к Врангелю, «Левый марш», отрывки из поэм. Кончает недавно написанным «Солнцем», подает его звонко, уверенно, радостно,

— А ведь замечательно, — оглядывается сосед.

И весь зал колышется, улыбается. Бодрое восхищение переполняет грудь. Сквозь все теории, над всякими футуризмами — живой облик самого живого поэта.

Умея говорить широко и просто, он не отказался от гиперболической метафоры, сквозь которую, как в лупу, разглядывал «мельчайшие пылинки живого». Он сберег и свободный стих и товарное погромыхивание всего звукового состава. Его средства выразительности только окрепли. Они «выполнились», как говорят о стратостате, когда он, достигая определенных воздушных слоев, наконец разглаживает все морщины и определяется как туго налитый законченный шар.

Его речь, даже в агитках, не имеет ничего общего с удешевленной простотой, какая часто предлагается на прилавках нашей поэзии. Это речь — тяжелая и резкая, речь основательная, рассчитанная на добросовестное внимание. Словно плуг, глубоко взрыхляющий наше сознание.

Это не речь, завещанная девятнадцатым столетием, иная, не пушкинская речь.

Пушкин был не только зачинателем нового, поэтического языка, но и величайшим завершителем восемнадцатого века. Он вобрал в себя весь прошлый опыт. Он очистил стиховое наследство от многих примесей и шлаков. Но Пушкина готовили и Батюшков, и Жуковский, и Державин. Пуш-

кин был художник, включающий в себя, впитывающий все мировые ценности, постоянно оплодотворяющийся ими. Пушкин — великий положительный ответ на раздавшийся за сто лет перед ним взрыв петровской реформы. Так и говорилось о нем.

Маяковский — только зачинатель. Первое слово, сказанное поэзией победившего пролетариата. Весь пафос его — в отталкивании, в уходе из «барских садоводств» до него осуществленной поэзии. И потому он не мог не быть новатором.

Маяковский устраивает «чистки поэтов» с точки зрения пригодности их для революции.

«Новое искусство — это не повторение пройденного», — вот первое его напоминание. Новое искусство — не только новая идеология, но и радикально обновленное мастерство. Стертая метафора — прохода ей нет. Расхлябанный стих — этому вход закрыт. Копеечные, выклянченные на бедность рифмы... Нет, напрасны, вплоть до нашего дня, попытки упрощителей, раскланиваясь, проскользнуть мимо Маяковского. Напрасны надежды умиловать Маяковского разговорами о том, что он и великий, и покладистый, и общедоступный. Глубокая поэзия всегда общедоступна, как земля, по которой каждый может ходить беспрепятственно. Но чтобы извлечь из земли все ее ценности, требуется проникнуть в ее недра. А это связано с некоторой работой, о которой хорошо знают шахтеры.

В теплой куртке, в круглой барашковой шапке Маяковский входит в кафе «Домино». Поздно. Во второй, почти пустой комнате он расхаживает взад и вперед. От стены к стене, о механической точностью маятника. Он бормочет что-то про себя. Он строит новую вещь. В такую пору ему не сидится дома. Весь город — его писательский кабинет.

Или он встретился с поэтом и не тратит времени на предварительные беседы. Столкнулся на улице с Пастернаком. Они не виделись в продолжение лета. Маяковский затягивает его в то же «Домино». В задней комнатке — правление Союза поэтов. Члены правления высказывают из двери. Вероятно, их попросили удалиться. Предстоит достаточно важное дело. Маяковский присаживается на диване. Пастернак читает недавно написанное.

Не стог ли в тумане? Кто поймет?

доносится через фанерные стенки его взволнованный голос.

Не наш ли омет? Доходим — он!
Нашли! Он самый и есть. — Омет.
Туман и степь с четырех сторон.

Маяковский не обсуждает прочитанного. Если стихи ему нравятся, он их

запоминает.

— И плавает плач комариный, — повторяет он, выходя.

За стихи надо уметь бороться. Их считают непонятными. Посмотрим. Стихи надо внедрять в читателя. Непрестанно и терпеливо их растолковывать. Они раскроются, если нет умышленного сопротивления, поверхностного пренебрежения к поэтическому труду. Но попадаются дешевенькие критики, бойкоречивые, бесхребетные «журналистики»... Тогда Маяковский беспощаден. Он высмотрел одного из них. Его голос рубит наотмашь. Руки сжались, лицо напряглось,

— Не спишь ночей, изобретаешь, придумываешь, а тут является такой паучок!

Рецензент стоит перед эстрадой. Возможно, он намеревался возражать. Но словно камни валятся ему на плечи.

Последнее впечатление. Вестибюль театра. В театре идет «Командарм 2» Сельвинского. Антракт. Маяковский стоит около лестницы. Волосы его заброшены назад. Весь он заметен, красив, рельефен. Естественная, свободная манера держаться. Свежий костюм, цветная шелковая рубаша. С ним женщина — высокая блондинка. Маяковский громко пошучивает.

— Что остается от всего действия? Только и остается: «Петров, подкиньте в печку дров». Скучно. У меня на «Клопе» веселей.

И вместе с женщиной движется к выходу.

2

Зимой двадцать первого — двадцать второго года я увидел Хлебникова на Арбате. Он отпустил небольшую бородку, придававшую мягкость и значительность лицу. Улыбался радушно и удовлетворенно, говорил со спокойной уверенностью. С этой встречей ладило все окружающее — неморозный, украшенный снегом, в сизых сумерках зимний Арбат. Я отметил неожиданную привлекательную степенность Хлебникова, а он добродушно принимал мои пошучивания. Он рассказывал на ходу о своих планах. В Астрахани его приодели домашние. Теплая круглая шапка, опушенный серый тулупчик.

Эй, молодчики-купчики,
Ветерок в голове,
В пугачевском тулупчике
Я иду по Москве.

Он сообщил, что много написано и многое надо издать. Мы встретились и в кафе Союза поэтов.

Там сидели и под Новый год, не зная, куда приткнуться на этот вечер. За маленьким столиком напротив эстрады, очень попросту, очень мирно, и, как всегда бывало при общении с Хлебниковым, — немного бесприютно и отъединенно от всех.

Под весну он оказался без жилья и перебрался в комнату моего брата.

К весне настроение Хлебникова сгустилось. Он становился все тревожнее.

Я не следил тогда за его делами, но, очевидно, дела клеились плохо. Что-то стопорилось, не выкраивалось с изданием. Выпустить же сборник представлялось ему необходимым.

Мне помнится одно возвращение в здание Вхутемаса, где Хлебников жил, по темным, путаным переулкам Мясницкой. Почему-то подумалось в тот раз, что пора Хлебникову упорядочить его сочинения. Я говорил, что вот все разбросано, ряд брошюр, затерявшихся в пространстве. Где все это? Нет настоящего сборника.

Он откликнулся с неожиданной страстью. Говорил озабоченно и взволнованно. Он не жаловался прямо ни на кого. Но шла речь о небрежном отношении к его рукописям. Досада на несбывшиеся планы. На в чем-то неподдержавших друзей.

В этот период люди, окружавшие Хлебникова, пытались настроить его против Маяковского.

К весне Хлебников устал окончательно. Хмуро посиживал в комнате брата. Бросался к столу, раскладывал рукописи. Затихал над ними и вздыхал. Выбегал к Брикам, зарядившись беспокойной решимостью. Однажды схватил и меня. Торопился, словно желая что-то объяснить. Резко выкрикнул свою фамилию на раздавшийся из-за двери вопрос. Бриков не было дома: Хлебников метнулся дальше. Будто разыскивал кого-то, чтобы поделиться неотложными соображениями.

Примерно, в мае он оставил брата и вскоре выехал из Москвы.

Летом пришло известие о его смерти.

Его образ как бы растворяется в пространстве. Последние встречи не сохранились в памяти. Хлебников словно удаляется постепенно, держа в руках вещевой мешок. Еще тянутся какие-то воспоминания, отрывочные и не прикрепленные к датам. Вот я вхожу в одну из комнат, где Хлебникову предоставлен ночлег. Весенний полновластный рассвет. В окнах розовые башенки Страстного монастыря. Я проговорил всю ночь и не ложился. Хлебников вытянулся, не раздеваясь, на диване. В этой удобно обставленной комнате он ночует, будто в вагоне, на диванной подушке, прикрытый осенним реденьким своим пальто. Голубые глаза его открыты, он смотрит на меня неподвижно.

— Вам не спится, Виктор Владимирович?

— Нет. Спится. — Он ныряет под пальто.

Я улыбаюсь. Мне почему-то весело. И я обрадован этим коротким раз-

говором.

Я жил в Ленинграде. Помню, попались мне американские стихи Маяковского. «Бруклинский мост» показался удивительным. Захотелось Маяковскому написать. С этой мыслью я долго носился. Представлялось, я пошлю письмо. И пусть Маяковский не ответит. Письмо, в котором я поблагодарю его за все то, что он вызвал в моей жизни. И как человек, и как поэт. Я думал об этом на его предсмертной выставке. Проглядывая выставку, я возвращался к юности. Собственная жизнь переживалась снова, освещенная огнями дат и событий. На выставке были даже те ранние плакаты, подобный которым привел меня в трепет в Тифлисе. Может, письма бы я так и не написал, но думать о нем было хорошо.

«Литературная газета», вышедшая в день смерти Маяковского, еще хранила в себе неоднократно повторенную его фамилию.

Газета оповещала о ряде выступлений, которые должны были произойти в ближайшие дни, о собраниях, на которых Маяковский будет присутствовать. Указывались часы и помещения.

До последнего момента Маяковский весь принадлежал настоящему — данному дню, текущим интересам, своей эпохе. Он не заботился о будущем. Ему не хватало для этого времени. Он был перегружен повседневной работой. Он презирал посмертную славу. Ему были смешны где-то поджидающие его бронзы и мраморы.

Посмертная слава, конечно, настает с той же неуклонностью, с которой после ночи наступает утро. С большими и мелкими следствиями. Со статьями, с исследованиями, с заучиванием наизусть в школах, со строчками, которые знают взрослые и повторяют маленькие ребята. Облик художника становится величав и спокоен, войдя в семью может быть и отрицаемых им предшественников. И тогда кажется странным, что этот художник был живым. Странно представить сейчас живым Пушкина. И понять, что на слово «Шекспир» некогда откликался обычного вида человек.

Но для тех, кто помнит еще Маяковского, образ его ценнее будущих легенд. И хочется снова подчеркнуть его прямолинейность, его верность и отчетливую внутреннюю честность, его деликатность под защитной напускной грубоватостью.

Большие руки сжимают стакан. Маяковский сидит за столом в кафе. Охваченный волнением и беспокойством, я говорю: нужно снимать поэтов для экрана. И не в ролях, а так, как они живут. Представьте, что мы имели бы кадры из жизни Пушкина.

Маяковский пожимает плечами:

— Что интересного? Встаем утром. Чай пьем.

И был он по-своему прав. Ведь только тех, кто целиком жил в сегодняшнем, охотнее всего отыщут завтрашние поколения.

Он был прост, этот большой человек. Прост и очень правдив.

ПРИЛОЖЕНИЯ

БЕЗ МУЗ.

Вышли в свет: «Контрагентство Муз», «Альманах Муз», на улицах куски афиш: «Идите в кафе 10-й Музы». —

Музы, Музы и Музы...

Довольно! — Смерть Музам.

Музы — умерли.

И с ними весь древний арсенал орудий пыток свободным сердцу и мозгу, созданный веками.

Века — тоже умерли.

На обломках размеров и рифм горбатым диссонансом высится город.

Мы, вскормленные молоком его площадей, не знаем, что такое Музы.

Это им — напряженным площадям — несем мы свое сердце, как дар свободный и щедрый. Сердце, переполненное мясом, кровью и солнечным светом.

Под нашими ногами стебли цветов — флейтами, каждая росинка — драгоценным камнем. Вся земля — оркестром, и крупинки наших голосов — золотом в футлярах ювелиров. На развалинах веков мы славим всепобеждающую жизнь, горячая влага которой струится в нашем теле вместе с кровью и минуту, вздрагивающую в нас большой и нервной звездой.

Пусть спят в гробах библиотек высохшие мумии подохших богинь.

Мы не антиквары.

Мы — сама жизнь

И с горячей эстрады этого листа мы бросаем в вас звонкие мячи наших свежих, великолепно-пульсирующих душ.

**Федор Богородский.
Предтеченский.
Сергей Спасский.**

**МЫ, ПРЕДСЕДАТЕЛИ ЗЕМНОГО ШАРА,
ПРИЯТЕЛИ РОКА, ДРУЗЬЯ ПЕСНИ И ПР. И ПР.**

1-го июня 1918 года признали за благо воплотить ныне мысль, которою до сего времени болели сердца многих: основать Скит работников Песни, Кисти и Резца. Схороненный под широкими лапами сосен, на берегу пустынных озер, он соберет в своих бревенчатых стенах босых пророков, ветром и пылью разносимых сейчас по сырому лицу Московии. Седой насильник Скиф удаляется в Скит, чтобы там в одиночестве прочесть волю древних звезд.

Это будет монастырь — или заштатный, или выстроенный нами — смотря по тому, найдет-ли сочувствие Пьерро, надевающий теперь на измученную голову покаянную скуфью и кожаный ремень на усталые чресла. Руководимые в своих делах седым Начальником Молитвы, мы, может быть, из песни выюги и звона ручьев построим древнее отношение Скифской страны к Скифскому Богу.

Мы зовем всех верноподанных нашей мысли явиться с помощью к празднику ее осуществления.

Письма с предложениями обращать: Нижний-Новгород, Тихоновская, 22, Летчику Феодору Богородскому.

Дано на распутьи всех дорог в 10 ч. 33 м. 27 с. по часам Предтеченского.

Присутство:

Велимир Хлебников.
Феодор Богородский.
Предтеченский.
Арсений Митрофанов.
Борис Гусман.
Ульянов.
Сергей Спасский.

О ПРИЕМАХ СОВРЕМЕННОЙ ПОЭЗИИ.

(Заметка).

I.

Современная поэзия находится в периоде образования новых форм. Ее проявления, часто странные и необычные, говорят о стремлении авторов разбудить, словно уснувшее слово наше и заставить его проблистать лучами новой выразительности. Где причины этого явления, откуда эта настойчивая жажда, неизведанных доныне эффектов? Но разве вся современность не отплыла в берегам грядущих достижений? Не устанавливая взаимоотношений, говорим мы, однако, о факте такого «великого переселения идей» и с этой точки зрения отмечаем очевидную законность всякого поэтического искания.

Но обратимся к достижениям. В общей сумме произведений, появляющихся на книжном рынке, постараемся найти некоторую руководящую идею, некоторое требование, обязательное для всех, если только возможно оно при разномолосии отдельных групповых определений. Вот два признания, исходящие от самых противоположных, в настоящее время, по своим задачам и стремлениям групп.

— «Образная девственность слова утеряна. Только зачатие нового комбинированного образа порождает новое девство, но уже не слова — звена, а мудро скованной словами образной цепи».

И второе:

— «Особенно мы задержались (и сейчас еще не ушли) на образе, как на могущественном орудии художественного творчества».

Первое — из недавно вышедшей теоретической книги Анатолия Мариенгофа «Буян-остров» — говорит нам о взгляде на основную задачу сегодняшнего искусства крайней левой поэтической партии, известной под названием **«имаженистов»**. Второе — выдержка из статьи пролетарского поэта В. Александровского — «О путях пролетарского творчества» («Кузница» № 4).

Мариенгоф более прямолинеен. Александровский более осторожен, но для нас важно одно: и та и другая партия, в настоящее время, работает над образом, считая его главнейшим средством современной поэтической выразительности. Не здесь-ли зная, собирающее вокруг себя, может быть, и

вопреки собственным устремлениям, все молодое и свежее в полях поэзии? Посмотрим на образцы художественных произведений. Может быть, они ответят нам еще более определенно и помогут разобраться в интересующей нас проблеме.

II.

Истекший год не был беден вновь выходящими книгами стихов. Технические затруднения не помешали имаженистам выпустить около 20 стихотворных тетрадей, пролетарским поэтам собраться вокруг журнала «Кузница» и там поместить значительное количество стихов и статей по вопросам искусства. И, действительно, как бы разнообразными по выбору тем и заданий нам не казались авторы отдельных брошюр, их настроение всегда ищет образного языка. Возьмем для примера, хотя бы несколько описаний, выбранных наугад из различных произведений.

«Зеленых облаков стоячие пруды
И в них луны опавший желтый лист».
(А. Мариенгоф — цикл «Слепые ноги» — сборник «Плавильня слов»).

«Закат запыхался. Загнанная лиса,
луна выплывала воблой вяленой».
(В. Шершеневич. «Лошадь, как лошадь»).

«Рыжий месяц жеребенком
Запрягался в наши сани».
(С. Есенин. «Преображение»).

«Сгребем мы лунною лопатой
С мундира неба ордена».
(М. Герасимов. «Октябрь» — поэма. «Художественное слово» № 1).

Можно было бы продолжать выписку примеров без конца, но мы отошлем любознательного читателя к произведениям, сами же постараемся разобраться, хотя бы в тех отдельных выражениях, которые пока попались нам на глаза. Несомненно, что каждый пример носит на себе индивидуальный отпечаток. Так, образ Есенина связан с той сельской обстановкой, которая насыщает его творчество, а образ Герасимова чем-то говорит нам о трудовом процессе и явственно революционен по настроению. Однако, основной характер рисунка одинаков во всех 4-х примерах: поэты

желают описывать отдельное понятие (луна, звезды, закат) через сопоставление его с другим, при чем это второе обычно берется из числа знакомых обыденных картин, но значительно удаленных по своему смыслу (луна — вобла, луна — лопата). Эта удаленность и производит несколько странное впечатление на слух неподготовленного читателя, но она же и будит наше воображение, заставляя его пробегать воздушные расстояния между предметами и формировать их в одно целое. Впрочем, мы умышленно воздерживаемся от качественной оценки данного приема, раскрывая перед читателем лишь его сущность.

III.

Современная поэзия сложна. В области звуковых сочетаний, в области ритмического рисунка, она являет нам постоянное искание неизвестного. Мы не будем касаться этих более специальных попыток и достижений. Наша задача — указать на основное, общее всем направлениям стремление. Мы убедились, что такое стремление есть, и что оно лежит в плоскости образотворчества. О чем говорит нам подобный уклон? Мы не ошибемся, если поймем его, как пробуждение живых сил в слове. Ведь образ всегда был полным носителем и выразителем художественных иллюзий. Выветривание образа всегда роковым путем приводило поэзию к трескотне фельетонного жаргона.

Это первое.

Во вторых, следует отметить, что, вращаясь среди реальных представлений, наша поэзия во всех своих проявлениях художественно реальна. Поэты, как бы перебирают предметы, их окружающие и, сопоставляя их один с другим, словно хотят полнее и лучше их оценить и разглядеть.

Этим мы хотим снять огульное обвинение в отвлеченности и в нежизненности, бросаемое некоторыми современными авторами, ибо редко господствовало в искусстве такое внимательное и настойчивое вглядывание в действительность, как это мы видим в стихах почти всех теперешних поэтов.

Несомненно однако, что строительство современной поэзии не определилось еще в ясные и достаточно твердые формы. На это указывает, хотя бы преобладание одного приема в образотворчестве. Будущее искусство возможно размножит приемы обработки материала. Будущее искусство восполнит и разовьет жадные искания настоящего. Но будем внимательны и чутки к каждой отдельной попытке, к каждому порыву, ибо сквозь них уже просвечивают грядущие возможности, сквозь них выйдем мы в знаменательные светлы нового дня человеческого творчества.

ИЗ ВОСПОМИНАНИЙ О ВЕЛИМИРЕ ХЛЕБНИКОВЕ

Я встретила его в квартире доктора Давыдова. Его приютила у себя Лидия Владимировна, жена доктора. Он спал в докторском кабинете, на одном из обширных диванов. Несмотря на прохладу, он решительно пренебрегал одеялом. Спал всегда одетый, лежа на спине, положив под голову диванную подушку. Глаза его были открыты — это нас удивляло.

— Велимирушка, вам не спится? — бывало, спросишь его.

— Нет, — отрывисто отвечал он, — спится.

Вообще его речь в музыке называлась бы «стаккато», она была через «тире» между словами. Он говорил, как бы спотыкаясь на ступеньках мысли. Забавно, что ночью, в комнате, он мог спать, не закрывая глаз, в то время как на улице он часто шел по тротуару с закрытыми «спящими» глазами, ни разу не споткнувшись на выбоинах: «Знаете, я хорошо выспался...»

— Как же вы не падаете при переходе с тротуара на мостовую?

— Нет... не па-адаю. Я... просыпаюсь.

Любопытно его знакомство с Лидией Владимировной.

Однажды Александр Петрович, муж Лидии Владимировны, поднимался по лестнице к себе домой. Сзади него шагал какой-то человек, который остановился у той же двери. Когда Александр Петрович отпер своим ключом дверь и вошел, этот человек тоже шагнул за ним в переднюю. В руках он нес холщовый мешок. Александр Петрович оглядел его сквозь очки и спросил:

— Вы к кому?

— Сюда... К Давыдовым... Меня прислал Маяковский. Сказал, что здесь я могу пожить...

Александр Петрович, ничуть не удивившись, приоткрыл дверь комнаты Лидии Владимировны.

— Лидок, это к тебе, — сказал он, просовывая голову в дверь, и прошел к себе в кабинет. Так состоялось знакомство Лидии Владимировны с Хлебниковым.

Именем Маяковского ему открылись двери квартиры Давыдовых, подобно тому, как на «Сезам, откройся» открылись Аладину двери пещеры.

Хлебников поселился у Лидии Владимировны, и она взяла шефство над ним.

По утрам Лидия Владимировна говорила ему:

— Пойдем причешемся.

Она вела его в свою спальню, сажала на край деревянной кровати и сама садилась рядом. Гребенка мелькала в ее руках, она тщательно расчесывала и подстригала его светлые волосы. Хлебников сидел не шевелясь, покорно предоставляя ей «обрабатывать» его голову, которую он смиренно поворачивал то в одну, то в другую сторону.

Мы тоже молча следили за этим ритуалом. Потом Лидия Владимировна деловито шарила в тумбочке, доставая мыло, брала полотенце и, взяв Хлебникова за руку, вела в ванную, где она намыливала и обмывала ему лицо и руки. Насухо вытирая их полотенцем, она приговаривала:

— Вот так. Вот так. Теперь мы чистенькие, свеженькие, теперь и позавтракать не грех.

Лидия Владимировна звала всех в столовую. Доктор был главврачом санитарного поезда. В пайке ему часто выдавали какао и молочный сухой порошок, муку и другие в то время ценные для всех нас продукты. Лидия Владимировна и доктор были щедрыми хозяевами. Они всем делились с нами, не тая запасов. Раздав все, зачастую Лидия Владимировна вместе с нами садилась (и доктор, если он был не в отъезде) на голодный паек...

Хлебников очень любил какао. Он радовался ему, как ребенок. Горячие оладьи, которые мастерски пекла Лидия Владимировна, и какао он называл «пищей богов», «нектаром» и «амброзией».

Когда наступали дни «голодного пайка», Лидия Владимировна и иногда кое-кто из постоянных посетителей сообща варили похлебку. Сварим и расходимся по своим делам, а попозже собираемся снова и с аппетитом уплетаем незатейливую еду.

Однажды, наварив этой похлебки целую кастрюлю, мы оставили ее на окне комнаты Лидии Владимировны. Вернувшись, мы застали Хлебникова мирно спящим на кушетке. Мы растормошили его и пригласили к столу. Каково же было наше удивление, когда, открыв кастрюлю, обнаружили, что похлебки осталось на дне. Хлебников так увлекся сочинением стихов, что не заметил, как съел ее. Нас не столько рассердило, сколько умилило его творческое самозабвение. К счастью, у кого-то нашлось пшена, у другого пяток картошек, и мы снова приготовили прекрасную похлебку, и крепкий чай с сахарином довершил нашу трапезу.

После завтрака все уютно рассаживались в спальне Лидии Владимировны и начинались «заковыристые» беседы на психологические и философские темы, касавшиеся духовной жизни человека или искусства, а также о событиях, которые совершались в стране.

Хлебников был молчаливым, но внутренне активным и своеобразным их участником. Он настороженно слушал, иногда внимательно вглядываясь в говорившего, и вдруг неожиданно вставлял свои реплики, иной раз, как нами воспринималось, совершенно на другую тему, но, очевидно, чем-то отвечающие его собственным мыслям по поводу того, что говорилось.

К сожалению, я не могу сейчас восстановить их в памяти. Нам тогда не казалось это настолько важным, чтобы сосредоточить на этом свое внимание. Все тогда в этой среде думали и говорили интересно и глубоко, забываясь в суть вещей. Мысли всех были полны широкого содержания и мечтаний.

* * *

В то время (да и впоследствии тоже, только состав менялся) у Лидии Владимировны бывало много разнородных людей. Это были трудные «голодные» годы. Лидия Владимировна многих поддерживала материально. Многих «питала», а многие приходили сюда «поспорить» об искусстве, поговорить, пылая, о «шагах» революции, почитать свои творения, посоветоваться о замыслах. Все это было кровно связано с нами и было существенно для нас.

Среди посещающих Лидию Владимировну бывали «именитые» и «неименитые» литераторы, художники, актеры и певцы и люди иных разнородных профессий. Тут часто бывали Маяковский и Бурлюк. Постоянно бывали С. Спасский и Константин Большаков, художники Осьмеркин, Чекрыгин и другие. Певец Большого Академического театра, в то время гремевший, Веселовский и актер эстрады Петровского театра А. Вертинский и т.д. и т.д. Перечислить всех невозможно.

Давыдовы жили в доме кн. Гагарина №4, на Пушкинской площади (в то время Страстной). Многие стремились сюда самоцельно, у некоторых все пути всегда сходились здесь. Иные после работы заворачивали сюда. Но никто из нас не проходил мимо гостеприимной квартиры Давыдовых. Целые дни поток людей не иссякал. Засиживались допоздна, и тот, кому было далеко идти (транспорта тогда почти не было), часто заночевывал тут. Места хватало всем. <...>

Против квартиры Давыдовых, через площадку, была лечебница двух братьев Давыдовых — Александра Петровича и Николая Петровича. В первые годы после революции она перестала существовать как лечебница и сделалась пристанищем бездомных поэтов и актеров из гостей Лидии Владимировны, засидевшихся за полночь, когда возвращаться домой было поздно. Из кабинета Александра Петровича Лидия Владимировна перевела сюда и Хлебникова. Он занял отдельную комнату, жил и работал там. В ней было нестерпимо холодно. Хлебников буквально замерзал, все оттого, что, открыв окно, он забывал его закрыть. А погода стояла зимняя. И когда говорили, что он может простудиться, он изумлялся и спрашивал:

— Надо закрыть окно? А я не догадался.

И это было очень характерно для Хлебникова. В быту он был рассеянным и неумелым.

В обширной квартире Давыдовых висело всюду много разнообразных картин. Тут был и Лентулов, и Машков, много Бурлюка, и, неожиданно, Айвазовский, и портрет Лидии Владимировны работы Келина (на мой взгляд, ужасный), и картины других мастеров.

Велимир странно относился к живописи.

Однажды он долго рассматривал Айвазовского.

Лидия Владимировна обратила мое внимание на это и заинтересовалась сама.

— Что ты так уставился? Очень, что ли, нравится? — наконец спросила она у Велимира.

— Нет, — отвечал он, — оно (море) совсем не мокрое. В нем совсем нет рыб.

— Кто же тебе нравится?

— Додя (Бурлюк), — показал он на цветущее поле, — его цветы пахнут.

С. СПАССКИЙ

Краткий биографический очерк

Поэт, прозаик, переводчик, драматург и критик Сергей Дмитриевич Спасский родился в 1898 г. в Киеве в семье публициста и общественного деятеля Д. И. Спасского-Медынского. Брат — художник Е. Д. Спасский (1900-1985). В 1902 г. семья переехала на Кавказ. Еще в гимназические годы Спасский увлекся поэзией, в 1912 г. опубликовал стихотворение в «Тифлисском журнале».

По окончании тифлисской гимназии поступил на юридический факультет Московского университета, который оставил в 1918 г. В 1917-1918 гг. входил в круг журнала «Млечный путь», выступал вместе с футуристами, в 1917 г. опубликовал первый сборник стихов «Как снег», вышедший с предисловием К. А. Большакова.

Видимо, в октябре 1918 г. Спасский выехал в Самару, где с середины 1910-х гг. жила его семья; в недавно освобожденном от восставших чехословацких отрядов городе он в ноябре 1918 г. вместе с Н. Павлович и М. Герасимовым устроил «Вечер революционной поэзии». Будучи мобилизован, читал лекции в Пролеткульте; здесь же женой его стала поэтесса Г. Л. Владычина (1900-1970), приехавшая в Самару из Москвы в качестве заведующей литстудией Пролеткульта.

В Самаре супруги входили в литературный кружок «Звено», публиковались в журнале «Понизовье». В 1920 г. Спасский опубликовал в Пензе отдельной книжкой поэму «Рупор над миром»; весной 1921 г. Спасский и Владычина уехали в Москву. В первые московские годы Спасский читал лекции в клубах по направлениям от Пролеткульта и выступал на поэтических вечерах; в 1926 г. вышла его третья поэтическая книга — «Земное время».

К тому времени Спасский успел разойтись с Владычиной (вышедшей замуж за поэта, художника, впоследствии краеведа Б. С. Земенкова). Его второй женой — брак был официально заключен в 1925 г. — стала скульптор С. Г. Каплун (1901-1962). Это, как и антропософские увлечения Каплун и Спасского, которые разделял и брат поэта Е. Д. Спасский, способствовало дружбе с А. Белым, хорошо знавшим семью Каплун (Софья Каплун была его близкой помощницей в Вольной философской ассоциации, ее брат, издатель и журналист С. Г. Каплун, печатал Белого в основанном им берлинском издательстве «Эпоха»).

В 1920-е гг. Спасский достаточно много публиковался в альманахах и коллективных сборниках, начал писать прозу, в 1929 г. опубликовал повесть в стихах «Неудачники», приведя в восторг своего друга и наставника Б. Пастернака (Пастернак часто с восхищением отзывался о стихах Спасского, а близость их поэтического видения, кажется, не отмечал только ленивый). Москву Спасский сменил на Ленинград, а также успел заявить о себе как либреттист («Орлиный бунт» на музыку А. Пащенко, 1925).

В начале 1930-х гг. книги Спасского выходили одна за другой: поэтические сборники «Особые приметы» (1930) и «Да» (1933), сборник рассказов «Дорога теней» (1930), повести «Парад осужденных» (1931), «Новогодняя ночь» (1932), роман «Первый день» (1933). Выступил Спасский и «организатором» книги «Четыре поколения (Нарвская застава)» (1933), в подготовке которой приняли участие К. Вагинов, Н. Чуковский и А. Ульяновский; с Н. Чуковским и Г. Куклиным Спасский ранее выпустил

десткую книгу «Остров Кильдин» (1931) .

В 1933 г. у Спасского и С. Г. Каплун родилась дочь Вероника (1933-2011), ставшая переводчицей и филологом-испанистом. Одновременно у Спасского завязался роман с Н. Д. Роскиной (урожд. Рабинович, 1901-1938), женой писателя А. И. Роскина; последняя разошлась с мужем и родила от Спасского сына Алексея (1934-1943), однако в 1938 г. попала под трамвай, потеряла ногу и умерла от эмболии.

С 1934 г. Спасский — член Союза писателей. Книги его продолжали выходить с прежней регулярностью: поэтический сборник «Пространство» (1936), сборник рассказов «Портреты и случаи» (1936), воспоминания «Маяковский и его спутники» (1940), роман «Перед порогом» (1941). Написал он также либретто опер «Броненосец Потемкин» (1937) и «Щорс» (1938).

Сталинский террор, однако, не обошел стороной семью Спасского. В 1937 г. был расстрелян его шурин, хозяйственник и инженер Б. Г. Каплун; в 1938 г. С. Г. Каплун была арестована и приговорена к восьми годам заключения.

Во время войны С. Спасский побывал в ополчении, пережил окружение и первую блокадную зиму. В осажденном Ленинграде работал на радио и в журналах «Звезда» и «Ленинград», писал тексты для агитационных плакатов. В 1942 г. был эвакуирован в Пермь; в Ленинград вернулся в 1944 г.

В послевоенные годы Спасский выступал с лекциями о советской поэзии военных лет, написал либретто опер «Молодая гвардия», «Севастопольцы» (совместно с Н. Брауном), новое либретто первой оперы П. Чайковского «Воевода», опубликовал в «Звезде» поэму «Всадник» (1946), работал старшим редактором Гослитиздата. Его третьей женой официально стала артистка оперы и оперетты, камерная певица А. И. Попова-Журавленко (1896-1981), роман с которой начался еще в Перми.

Вскоре над Спасским разразился гром в связи с печально известным постановлением ЦК о журналах «Звезда» и «Ленинград» (1946). Вплоть до 1950 г. Спасскому поминили и поэму «Медный всадник», где был якобы избран «неправильный» символ города, и хвалебный отзыв о военных стихах А. Ахматовой в статье 1945 г. «Письма о поэзии. Письмо первое».

В январе 1951 г. Спасский был арестован по обвинению в участии в контрреволюционной группе и антисоветской агитации и приговорен к 10 годам лагерей. Срок отбывал в Абезьском лагере в Коми. Освободившись в 1954 г., вернулся в Ленинград, работал редактором в издательстве «Советский писатель».

С. Спасский скончался 24 августа 1956 года близ Ярославля во время круиза по Волге. В 1957 г. была посмертно издана книга «Два романа» («Перед порогом» и «1916 год»), в 1958 г. вышла книга «Стихотворения», включившая поэму «Параша Жемчугова», в 1971 г. — составленный В. С. Спасской поэтический сборник «Земное время».

Помимо стихотворений, поэм и прозы, творческое наследие С. Спасского включает литературные и театральные критические статьи, а также поэтические переводы с языков «народов СССР», в особенности с грузинского.

ПРИМЕЧАНИЯ

Разговоры о необходимости публикации «полноценного» собрания стихотворений С. Д. Спасского идут уже давно. Никак не претендуя на подобное собрание, настоящая книга преследует иную задачу. Здесь собраны тексты, так или иначе связанные с авангардистским периодом творчества Спасского, когда он поочередно считался подающим большие надежды «младшим» футуристом и заигрывал с экспрессионизмом и имажинизмом. В числе их — поэтические сборники Спасского 1917-1926 гг., несобранные стихотворения из периодики, альманахов и коллективных сборников, а также две попытки прозаического осмысления прошлого, «двухголосая повесть» «Парад осужденных» (1931) и воспоминания «Маяковский и его спутники» (1940). В приложениях даны некоторые сопутствующие материалы.

Примечания сведены к минимуму. Вместе с тем, мы сочли безусловно нужным раскрыть некоторые реалии, стоящие за зашифрованным текстом повести «Парад осужденных».

Все включенные в книгу тексты публикуются по первоизданиям с сохранением особенностей авторской орфографии и пунктуации (за исключением Ъ, Ы и І). Исправлены наиболее очевидные опечатки.

Объявление на с. 24 взято из альманаха «Без муз». В оформлении обложки использован фрагмент картины К. Петрова-Водкина «Смерть комиссара» (1928), на которой в образе раненого комиссара изображен С. Спасский.

*

КАК СНЕГ

Спасский Сергей. Как снег. Предисл. Константина Большакова. М.: Изд. журн. «Млечный путь», 1917.

РУПОР НАД МИРОМ

Спасский Сергей. Рупор над миром. [Пенза]: Изд-во Пензенской Центропечати, 1920.

ЗЕМНОЕ ВРЕМЯ

Спасский Сергей. Земное время: Стихи. М.: Узел, [1926].

СТИХОТВОРЕНИЯ ИЗ ПЕРИОДИКИ, АЛЬМАНАХОВ И КОЛЛЕКТИВНЫХ СБОРНИКОВ

По руслам встреч и будто два крыла...

Альманах муз. Кн. 1-я: Песни любви. М.: Изд. Т-ва Н. В. Васильева, 1918.

Ни о чем не вспомню. Так лучше. Так тише...

Там же.

Серебряный узор тяжелых звезд привинчен...

Там же.

С. 57. ...*Дисиоконд* — так у автора.

Кафэ поэтов

Газета футуристов. № 1. М.: Тип. А. Гатцука, 1918.

Автопортрет

Без муз: Художественное периодическое издание. № 1. Нижний Новгород: Тип. «Красное знамя», 1918.

Г. В.

Там же. Стих посвящено поэтессе, драматургу Г. Л. Владычиной (1900-1970), первой жене автора. Приведем посвященное Спасскому стихотворение Владычиной, опубликованное в этом же альманахе:

С. С.

Как спит земля под стайей мгlistых городов,
Душа заснула под налетом ломких мыслей,
Созвездье странное заостренных углов
На длинных нитях снов медлительно повисла.

В запруды топких глаз, ресницами стесненных,
Я лью прозрачных дум струистый водопад;
На замшевых зрачках, насквозь просеребрённых,
Какия-то слова тиснит мой серый взгляд.

Ресницы шелестят, как мерные страницы,
Под поступью несущихся писем,
Как будто с цоканьем строй всадников струится,
С звенящим пением натянутых стремен.

Весне

Понизовье (Самара). Литературно-художественный ежемесячный журнал. 1921.
№ 1-3, январь-март 1921.

Посвящено Г. Л. Владычиной. В этом же «строённом» номере журнала — ответное стих. Г. Владычиной:

Из цикла «Вино весны»

С. С-----у

О, постой! Разверни. Разверни
Этих весен распевшийся свиток.
Средь ветвей зацветают огни
Над досчатой спиною калиток.

Тает дымное небо. Пора —
Голубые распахнуты двери.

На деревьях трепещет кора
Бурой шкурой продрогшего зверя.

И снега, надорвавшись ручьями,
Затопили гремя города.
Под тяжелыми вспухшими льдами
На реке задохнулась вода.

О, запомни сквозь буйные дни
Наше сердце в щемящей падучей
И густые живые огни,
Опалившие зелению сучья.

Там, где ветер крутил и крутил,
Там, где глыбы снега выросли —
Пролегли золотые пути
Прямо в настезь раскрытые дали.

Г. Владычиной

Экспрессионисты: Евгений Габрилович, Борис Лапин, Сергей Спасский, Ипполит Соколов. М.: Сад Академа, 1921.

Московская фантазия

Там же.

Памяти А. Блока

Там же.

Зима

Голодающим Поволжья. Лито Рязанского Губполитпросвета. Литературно-художественный сборник. Рязань: Государственное изд-во, 1921.

Из повести в стихах «Неудачники»

Спасский Сергей. Неудачники: Повесть. М.: Никитинские субботники, 1929.

Отрывок «В тот год хозяину любезней ... замыслов своих» — Красная стрела: Сборник-антология. Н.-Й.: Изд.-во Марии Бурлюк, 1932.

ПАРАД ОСУЖДЕННЫХ

Спасский Сергей. Парад осужденных: Двухголосая повесть. Л.: Изд.-во писателей в Ленинграде, 1931.

Как всякий текст «с ключом», повесть «Парад осужденных» нуждается в некоторых пояснениях, в особенности учитывая, что описаны в ней люди и ситуации более чем вековой давности.

Читатель без особого труда установит, что прототипами Курлыка и Никиты Морецкого стали, соответственно, Д. Д. Бурлюк и В. В. Маяковский. В лице Климина в повести описан поэт, певец А. М. Климов (Гришечко-Климов, 1890 — после 1966); в образе художника Золотницкого «выведен» живописец, поэт, летчик и чекист Ф. С. Богородский (1895-1959). «Елена Лучинская» повести — Е. В. Бучинская (1894-1957), дочь писательницы Н. А. Тэффи (Бучинской), актриса, танцовщица и художница, в 1917 г. участница футуристических гастролей В. В. Каменского (1884-1961) и «футуриста жизни» В. Р. Гольцшмидта (1886-1954, описан в воспоминаниях Спасского как «Владимир Г.»); с 1922 г. жила в Польше, где много снималась в кино, играла в театре, выступала с чтением стихов. «Наташа» — актриса, поэтесса Н. Ю. Поплавская (1890-е — ?), сестра поэта Б. Ю. Поплавского, со второй половины 1920-х гг. жившая в эмиграции и умершая в Китае.

Под масками «доктора Миши» с калмыцким лицом и его любвеобильной жены Веры Георгиевны скрываются московский врач Александр Петрович Давыдов и его жена Лидия Владимировна, чей дом на Страстной площади служил приютом В. В. Хлебникову (см. в приложениях отрывок из воспоминаний Г. Л. Владычиной).

В образе Ирины угадываются черты второй жены С. Спасского, скульптора С. Г. Каплун (1901-1962), сестры высокопоставленного члена Петросовета Б. Г. Каплуна и критика, издателя и журналиста С. Г. Каплуна, племянницы председателя петроградской ЧК М. С. Урицкого. Каплун, участница анархического движения и убежденная антропософка, была близко знакома с А. Белым и М. Кузминым. В 1938 г. она была арестована; отбыв восьмилетний срок, в 1948 г. вновь подверглась аресту и высылке в Красноярский край. После освобождения (1954) и реабилитации (1955) жила в Ленинграде. Как и героиня повести, С. Г. Каплун была арестована в начале октября 1919 г. в поезде у Брянска с письмами «легальных» анархистов единомышленникам. По свидетельству Т. Н. Милютиной, отбывавшей заключение вместе с Каплун, А. Н. Толстой расспрашивал Каплун об анархистах при сборе материала для

трилогии «Хождение по мукам» и частично списал с нее свою героиню Дашу (Милутина Т. П. Люди моей жизни. Тарту, 1997. С. 196). Не исключено, что именно выход первых двух книг трилогии Толстого в СССР (1928) вызвал к жизни «анархическую» линию повести Спасского, в которой явно прослеживается желание преуменьшить значение какой-либо анархической деятельности Каплун. Характерно, что в повести в результате устроенного анархистами взрыва была лишь ранена машинистка, тогда как при реальном взрыве в Леонтьевском пер. 25 сентября 1919 г. были убиты 12 и ранены 55 человек.

В целом эта «анархическая» линия повести наиболее зашифрована, однако идеи Алексея касательно создания «республики молодежи», как нам представляется, могут быть сопоставлены с работой Всероссийской федерации анархической молодежи (1919) и предшествующих организаций. Напомним, к ВФАМ был близок поэт В. Г. Шершеневич (1893-1942); как и другие имажинисты, а также С. Третьяков и Н. Поплавская, Шершеневич печатался в последних номерах еженедельника ВФАМ «Жизнь и творчество русской молодежи» (как и в органе Союза анархо-синдикалистов-коммунистов «Труд и воля») и вошел в редколлегия журнала. Возможно, один из героев повести Спасского неслучайно наделен фамилией секретаря ВФАМ и редактора «Жизни и творчества» Н. В. Маркова. Отметим также, что в статье «Искусство и государство» (Жизнь и творчество русской молодежи. 1919. № 28/29) Шершеневич назвал С. Спасского среди примкнувших к «анархическому имажинизму» молодых поэтов.

В остальном повесть достаточно документальна, что позволило Спасскому впоследствии использовать отдельные ее фрагменты (видоизменяя их по мере надобности) в воспоминаниях «Маяковский и его спутники». Таковы, прежде всего, описания литературных кафе — «Кафе поэтов» и «Музыкальной табакерки». Соответствует действительности эпизод с картинами, прибитыми Курлыком / Бурлюком к стене дома на Кузнецком мосту (15 марта 1918). «Голые танцы» Е. Бучинской и Н. Поплавской фигурируют в воспоминаниях Е. Т. Барковой (Воспоминания Екатерины Тимофеевны Барковой о В. В. Маяковском / Публ. Е. А. Снегиревой // Маяковский продолжается: Сб. научных статей и публ. архивных материалов. Вып. 2. М., 2009. С. 233) и др. источниках. Наконец, во время поездки на Волгу Спасский, как описано в воспоминаниях, действительно путешествовал вместе с В. В. Хлебниковым, однако в мемуарах совершенно опущен весь момент «отречения».

МАЯКОВСКИЙ И ЕГО СПУТНИКИ

Спасский Сергей. Маяковский и его спутники: Воспоминания. Л.: Советский писатель, 1940.

*

ПРИЛОЖЕНИЯ

Без муз

Без муз: Художественное периодическое издание. № 1. Нижний Новгород: Тип. «Красное знамя», 1918.

Мы, председатели Земного Шара...

Там же.

О приемах современной поэзии

Понизовье (Самара). Литературно-художественный ежемесячный журнал. 1921. № 1-3, январь-март 1921.

С. 250. ...«*имаженистов*» — так у автора.

Г. Владычина. Из воспоминаний о Велимире Хлебникове

Владычина Г. Л. О Велимире Хлебникове. [Публ. Е. Р. Арензона] // Вестник общества Велимира Хлебникова. 2. М., 1999.

ОГЛАВЛЕНИЕ

Как снег (1917)	6
Рупор над миром (1920)	25
Земное время (1926)	34
<i>Стихотворения из периодики, альманахов и коллективных сборников</i>	
По руслу встреч и будто два крыла...	56
Серебряный узор тяжелых звезд привинчен...	57
Кафэ поэтов	58
Автопортрет	59
Г. В.	60
Весне	61
Г. Владычиной	62
Московская фантазия	63
Памяти А. Блока	64
Зима	65
Из повести в стихах «Неудачники» (1929)	66
Парад осужденных (1931)	71
Маяковский и его спутники (1940)	169

Приложения

Буз муз	249
Мы, председатели Земного Шара...	250
С. Спасский. О приемах современной поэзии	251
Г. Владычина. Из воспоминаний о Велимире Хлебникове	254
С. Спасский: Краткий биографический очерк	258
П р и м е ч а н и я	260

Настоящая публикация преследует исключительно культурно-образовательные цели и не предназначена для какого-либо коммерческого воспроизведения и распространения, извлечения прибыли и т. п.